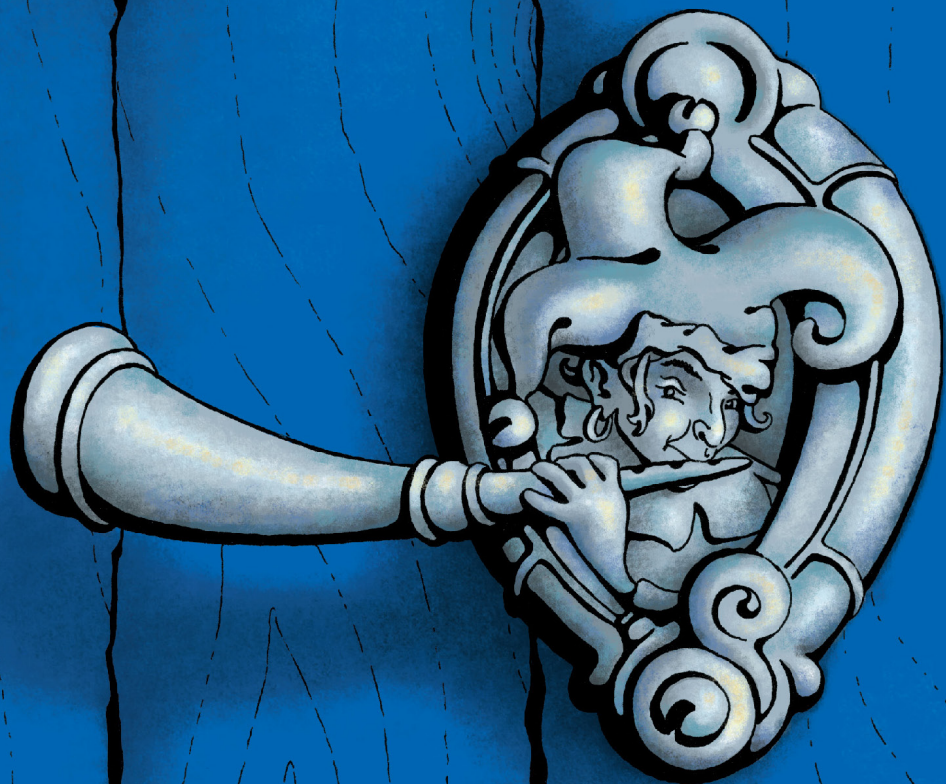


Ирма Трор · Саша Збарская

вас пригласили

роман с послесловием



ИРМА ТРОР
САША ЗБАРСКАЯ

ВАС ПРИГЛАСИЛИ

Роман с послесловием

Трор И., Збарская С.

Вас пригласили. Роман с послесловием. — М., *Sweet In The Morning Press*, 2011. — 288 с.

© *Sweet In The Morning Press*, 2011

© *Irma Tror*, 2004

© Саша Збарская. Перевод. 2004, 2011

© Саша Збарская. Послесловие, 2011

© Мария Юганова. Дизайн обложки, 2011

Содержание

От переводчика 5

Ирма Трор

**Повесть о том, как в моей жизни
произошла одна поистине замечательная
история. Перевод Саши Збарской** 7

Часть I 9

Часть II 122

Саша Збарская

**Долго и счастливо. Вместо послесловия
к переводу «Повести о том, как в моей жизни
произошла одна поистине замечательная
история» Ирмы Трор** 189

От переводчика

Книга Ирмы Трор была впервые опубликована в 2004 году в издательстве «Гаятри/*Livebook*». Семь лет спустя перевод потребовал серьезной ревизии; кроме того, у меня, наконец, возникло понимание, что именно для меня значила работа с этим текстом, что значат для меня люди, о которых идет речь в «Повести».

Саша Збарская

ИРМА ТРОР

**ПОВЕСТЬ О ТОМ,
КАК В МОЕЙ ЖИЗНИ
ПРОИЗОШЛА
ОДНА ПОИСТИНЕ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ**

Перевод Саши Збарской

*Всем герцогам,
которых мне повезло —
и еще посчастливится —
встретить.*

*Всем моим медам и медарам —
от сердца.*

Эта повесть есть некоторая переработка моих дневниковых записей, сумбурных, полубормочных, не всегда связанных и осмысленных для внешнего наблюдателя. Никакого складного текста изначально не существовало, он создан уже после того, как я покинула замок.

Глава 1

Рид милосердный, вот это гроза! Пару часов назад — или три? или сколько же? — я, кучер и две девчонки-служанки, благополучно проскочив навывлет где-то рядом с сердцем бури, едва уцелели в повозке, завалившейся на полном ходу. Для меня до сих пор загадка, что же так напугало смирных грузных лошадей — гром рокотал уже в отдалении, и молний меж дубовых крон было почти не видеть. Так или иначе, наши лошадки понесли по раскисшей осенней глине, и уже через несколько диких мгновений животные вырвались из упряжи, а покореженную повозку бросило боком на древесные стволы.

Какое-то время ничто не достигало моего слуха, а затем шорохи и шелесты вернулись: стало слышно скучный частый дождь и смутное бормотание леса, да еще стонал бедняга-возница — его порядком придавило; потом выяснилось, что голень сломана.

Очень скоро мы промокли насквозь, а до ближайших дружественных владений — имения герцога Колана — было никак не меньше пятнадцати миль. Служанки выбрались наружу и теперь жались друг к другу, пытаюсь согреться; Шон, возница полулежал неподвижно, боясь потревожить увечную ногу. У меня саднило колени, однако в рыдавшей вокруг тьме было невозможно разглядеть, насколько сильно я поранилась.

Едва я попробовала приподняться, левую лодыжку скрутило ржавой болью. Охнув, я осела на землю.

Хуже напасти не придумать: ненастная ноябрьская ночь, безразличный исхлестанный дождем лес, две перепуганные девчонки, покалеченный возница, разбитая повозка. И никому, кроме меня, ни утешить нас, ни спасти. Надо что-то предпринять — но для этого потребуется сначала спокойно подумать, а потом — встать. Ни на то, ни на другое, по чести сказать, я не находила в себе сил.

Но Рид не дал нам предаваться унынию слишком долго — напротив, почти немедля вверх нас в страх и надежду: с дороги, приближаясь, долетел громкий смех, по мокрой грязи хлопотали копыта. Из-за деревьев показались двое всадников — ехали не слишком быстро, беседовали и, похоже, не обращали внимания на дождь. Один верховой глухо басил, у второго голос был почти мальчишеский, и оба говорили... на высоком деррийском наречии! Ушам своим не верю... Люди дерри?! Их всех извели лет двести назад! Не призраки же решили посетить нас среди ненастья. Времени на размышления у меня не было. С трудом поднимаясь на ноги, я закричала что есть сил сквозь завесу дождя.

— Мне нужна ваша помощь! — На дерри, надо сказать, я изъясняюсь с ужасным акцентом и ошибками, но там было не до изысканности в речах.

Разговор на дороге тут же смолк, лошади встали, и один всадник сразу спешил. Его лица в бурную и безлунную темень я не могла разглядеть, но ростом он был с меня, коренастый, широченный в плечах. Нас разделяла дюжина локтей придорожной травы, ближе я пока не осмеливалась подобраться.

— Приветствую вас, фиона¹. — Человек сжалился и заговорил на моем родном фернском. — Право,

¹ Фион, фиона (*ферн.*) — вежливое обращение до официального представления или формального знакомства. — *Здесь и далее прим. переводчика.*

удивительно видеть молодую даму в такое время, под дождем, в лесу! Уж не эльф ли вы? — Улыбку проглотила ночь, скрыв ее от взгляда, но не от слуха. Она согрела — даже незримая. Я прикрыла глаза, приняла в себя волну этого голоса — он сразу успокоил и обнадежил. Этого человека не стоило бояться.

— Нет, фион, я не эльф — к моему и, быть может, вашему разочарованию. У нас случилось досадное приключение... — Кратко я пересказала события последнего часа, по временам ойкая и шипя от боли: лодыжка взялась меня мучить совсем уж всерьез. Когда я договорила, несколько мгновений царила полная тишина, подернутая лишь шелестом дождя. Затем незнакомцы перебросились парой слов на деррийском, и тот, что оставался верхом, сказал просто:

— Фиона нола², будьте гостьей герцога Коннера.

Краткая, но отчаянная попытка вспомнить это имя в Королевских списках не внесла никакой ясности, но выбирать было не из чего. Спешившийся фион-крепыш, почти гном — таким он мне вдруг показался, весь изрисованный древесными тенями, — шагнул ко мне вплотную. Я невольно отшатнулась, сердце заколотилось. Была не была, я в их руках. Меж тем мой собеседник вдруг беззлобно ухмыльнулся и... решительно подхватив меня на руки, понес к дороге! Мои спутники тихонько возроптали, но смысл их слов тут же размок и истаял. Оставшийся в седле фион — тот, что с мальчишеским голосом, — ловко принял меня из рук своего товарища и помог устроиться в седле позади себя. Коням дали шпоры, и мы с места перешли на нетряскую рысь.

Как тут поспеешь со здравомыслием и рассудительностью? Все произошло так быстро... Совсем не сразу я сообразила спросить, что будет с моими служанками

² Фиона нола (*ферн.*) — «пресветлая (знатная) дама», почтительное обращение к молодой женщине (обычно благородного происхождения).

и кучером, и тут наездник повернул голову и ответил на вопрос, оставшийся нерожденным:

— Я доставлю вас в замок, фиона, а за прочими приедут после. Надобны люди и пара свежих лошадей, чтобы тащить вашу повозку.

Мне более ничего не хотелось знать. А мы тем временем покинули основную дорогу и углубились в лес по совершенно незаметной тропе. Дождь меж тем повзрослел до ливня.

Плохо помню, сколько мы ехали, но путь был неблизкий. Деревья зажимали нашу тропу в тиски, набрякшая от воды листва осыпала меня каскадами ледяных брызг. Везший меня фион сдерживал поступь коня, чтобы не доставлять мне страданий тряской, но лодыжку, тем не менее, дергало не переставая. Может, через четверть часа, а может, через час мне стало все равно. Я очень устала и продрогла. Я грезила в призрачном тепле всадника передо мной, незнакомого человека, везшего меня сейчас неведомо куда, и я бы забылась без снов — но не свалиться бы на полном ходу.

Ворота замка мы проскочили не останавливаясь: нас пропустили, ничего не спросив. Мы пересекли пустынный двор и остановились у широких каменных ступеней перед высокими дверями, черненными временем. Мой спутник спешил и со всеми предосторожностями, как фарфоровую куклу, спустил на землю меня. Прозвучало несколько фраз, нам открыли, и мы оказались в сумрачном двусветном зале. Два факела озаряли проход к лестнице и ответвляющиеся от него коридоры. Здесь-то я наконец смогла разглядеть своего спасителя. Он был совсем юн — моложе, чем я предполагала по голосу, — высок, крайне худощав, румян и темноок. С длинных, почти черных волос, заплетенных в тугие косы, капала вода.

— Позвольте, фиона, проводить вас в комнату. Отдохните, переоденьтесь в сухое. Герцог ждет вас в гостиной

к горячему чаю и ужину. У вас пятьсот мгновений ока³. Но прежде позвольте мне прекратить ваши страдания. — Он неопределенно указал куда-то на подол моего платья.

Я бы, вероятно, порядком удивилась подобному педантичному гостеприимству и еще более — такому измелчанию времени, но мой — все еще безымянный — спутник, не дав опомниться, довел меня до нижней ступени лестницы и знаком предложил сесть. Я в онемении сделала, как велено. Он опустил на колени, взял мою ногу в ладони и слегка приподнял грязный и мокрый насквозь край юбки. Странно, однако мне все еще хватало сил смущаться:

— Фион... Простите... Я вся в грязи... А что вы собираетесь делать?

Сияющие глаза цвета старого янтаря удивленно взглянули на меня:

— Я хочу избавить вас от досадного подарка этой ночи — от хромоты. А грязь на вашем платье не имеет значения. Пожалуйста, *думайте* о своей обиженной ноге.

— Как? Что же прикажете... мне о ней?.. — Я путалась в словах от изумления.

Юноша уже закрыл глаза, лицо его разгладилось и прояснилось. Несколько мгновений спустя он, не глядя на меня, произнес:

— Думайте нежно.

Несколько моих — вдруг успокоившихся — вздохов спустя будто горячие острые иглы мягко погрузились, одна за одной, в ступню, в голень — выше, выше, одновременно и раскаляя, и холодя кожу. Я изо всех сил гнала от себя оторопь и пыталась «думать нежно» о своей лодыжке. То ли от морока сухого тепла, то ли от усталости, то ли от этого странного прикосновения меня почти затопило сном. Но мальчишеский голос скоро вернул меня к яви:

³ Мгновение ока — приблизительно 4 секунды, средняя частота человеческого смаргивания.

— Ну вот, кажется, все получилось. Вставайте, фиона!

Я осторожно поднялась, недоверчиво ступила на левую ногу — и не почувствовала никакой боли. Мой по-прежнему безымянный провожатый тем временем, не тратя времени на объяснения, повел меня вверх по лестнице и далее — полутемными коридорами, потом снова вверх... Мы оказались где-то в башне. Вдруг остановившись, юноша распахнул одну из бесчисленных совершенно одинаковых дверей и жестом пригласил меня войти. Я никогда сама не отыщу дорогу к этому коридору, не говоря уже о таинственной гостиной.

— За вами — теперь уже через триста мгновений ока — придут, фиона нола, и проводят к Герцогу. — Меня одарили новой уютной улыбкой. — А мое имя вам знать сейчас не обязательно. Герцог представит нас, если сочтет нужным.

Этих слов, как мой провожатый, видимо, решил, должно было хватить мне, дабы все сразу прояснилось и уладилось, и на этом откланялся и вышел. Дверь беззвучно затворилась за ним, и шаги медленно стихли в коридоре.

Голова моя работала до странности ясно. Уже давно должно было наступить послезавтра, столько всего успело произойти за эти бесконечные сумерки. Время заплелось в узлы, какие бывают только во сне. Я, наверное, сплю. От этой мысли все внезапно стало гораздо проще.

Я огляделась. Комната сочетала в себе келейную строгость — и сдержанную роскошь. Беленые стены сходились вверху четырехгранным сводом, по нему сновали блики от свечей в затейливом напольном подсвечнике. За тяжелыми темно-синими атласными драпировками угадывалось окно. На высоком помосте царило громадное ложе, накрытое атласом того же полуночного тона. Два высоких табурета, полка с книгами, ночной столик, весь уставленный непрозрачными склянками

и флаконами. Обстановка из снов людей, которые жили лет сто назад. На скамейке перед кроватью — чаша с водой, в ней горсть цветков лаванды. Напротив ложа — небольшой камин, и его, похоже, растопили задолго до моего появления. Нигде в этой «спальне» не видно было ни одного образа Рида, ни даже таблички с Вечной Печатью. Интересно, во всем замке найдется вообще хоть один верный? Ну да ладно, мое «Житие» всегда со мной. Я запустила руку в недра сумки, пахнувшей сырой кожей. Книга была на месте и почти не намокла.

Дремотная тишина этих стен, рыжеватый полусвет, моя усталость — все навевало отрешенный покой. Плотнее прикрыв тяжелую дверь и придвинув к ней на всякий случай стул, я с ленивым наслаждением сбросила насквозь промокший плащ, стянула накидку, платье и нижний батист и даже попыталась сложить их так, чтобы не замарать грязью ковер. Воздух укутывал — блаженный, почти горячий, — и я, нагая, стояла, закрыв глаза, неподвижно, слушая хрипловатый шепот пламени в камине и рваную приглушенную дробь дождя за окном. Потом опустилась на колени перед умывальной чашей, поднесла горсть благоуханной воды к лицу, вдохнула убаюкивающий аромат. Осторожно, чтобы не слишком лить на пол, отмыла грязь с разбитых колен, поплескала на тело. Перебрав флаконы на столике, нашла мазь — старинное знахарское снадобье от порезов и ушибов. Рид милосердный, какая забота... Но — время, время! Сколько там осталось от мгновений, что мне отмеряли?

На невысокой скамье у стены я заметила какие-то одежды и решила, что, видимо, в это мне предлагают облачиться. В полном замешательстве покрутив в руках бесформенное, как мне показалось сначала, одеяние, я скользнула в атласную тунику уже привычного сумеречного цвета — по росту мне, до самого пола, свободную настолько, что, когда я стояла неподвижно, ткань

держала меня только за плечи. Рукавов не было, зато пройма спускалась до самых кончиков пальцев. Ходить в этом «платье» и не путаться в складках я могла только очень медленно и осмотрительно, придерживая перед собой подол. Под той же скамьей нашлись и незатейливые ременные сандалии. На ложе, сливаясь по тону с покрывалом, сложенная вчетверо, обнаружилась огромная шаль, тяжелая и теплая. Никаких нижних платьев, юбок, туфель... Я же буду совсем голая — под этим синим атласом!

Но на раздумья совсем не осталось времени. Раздался стук в дверь, и я, неуклюже подхватив свое новое одеяние, отворила. На пороге стоял молодой слуга. Не говоря ни слова, он жестом предложил следовать за ним.

Мы шли неспешно, и я пыталась запомнить дорогу к своей комнате. На прохладных каменных стенах коридоров не было ни привычных картин, ни охотничьих трофеев, ни родовых портретов или гербов. Только зеркала. Всюду, в самых неожиданных углах, самых причудливых форм и размеров. Вывернув из-за очередного поворота, мы оказались у высоких приоткрытых дверей. Слуга поклонился и, оставив меня, растаял где-то в полумраке.

Сердце забилось, вдруг вспотели ладони. В полном смятении я взялась за драконьи шеи дверных ручек, нажала, и на бесконечный миг мне показалось, что чешуйчатый металл шевельнулся под пальцами. Я отдернула руки и скользнула внутрь.

Глава 2

— **Х**отя это и спорное замечание в вашем нынешнем состоянии, но, тем не менее, добрый вечер, фиона.

Дымный свет, еще слегка прыгающий от шалого дверного сквозняка, отраженный в нескольких высоких

зеркала, выхватывал из мрака лишь небольшую часть залы рядом с камином, оставляя бездонную черноту сводов почти не согретой. Я двинулась на голос — к камину, к креслу с высокой спинкой, не понимая еще, кому этот голос принадлежит. Второе — пустое — кресло стояло боком к огню.

Я приблизилась. Слегка скрипнув по каменным плитам, кресло чуть развернулось, и я впервые встретилась глазами с тем, кого здесь называли Герцогом. Сонные сполохи каминного пламени высветили левую половину лица — льдистый голубой глаз, высокий шишковатый лоб и гладко выбритый матовый череп. Остальное полностью вычернила тьма.

Герцог не отрываясь смотрел мне в лицо — и при этом словно разглядывал меня всю, с головы до пят. Безбрежное плотное темное платье, никак не обозначающее фигуру, будто немедленно истончилось, истлело под его взглядом — и вот она я, новорожденная, перед ним. Вспыхнуло раздражение: Герцог сам нарядил меня так, и теперь я, нола фиона, дочь графа Трора, выставлена бродячей комедианткой, ни дать, ни взять! Волна негодования накатила и схлынула, и я устыдилась собственной гордыни: люди этого фиона тьернана⁴ оказали гостеприимство, и мне хватит воспитания, чтобы держаться с достоинством в любом платье. Все это, вероятно, отразилось у меня на лице, и в глазах неотступно наблюдавшего за мной Герцога промелькнула усмешка.

— Фиона нола, прошу вас, разделите мое общество. Позвольте сразу отметить, что вы держитесь с завидным достоинством, даже в этом... хм... по особой моде скроенном платье. Мои комплименты ноле фионе!

Приметив, что Герцог повторяет вслух то, что я не произносила, и тут же забыв об этом, я повиновалась.

⁴ Фион тьернан (*ферн.*) — «пресветлый лорд», почтительное обращение к мужчине из знати.

Нам уже сервировали чай на столике рядом. Запахло мятой и еще чем-то пряным, сладким.

— Выпейте чаю, а нам тем временем подадут ужинать. Вы, должно быть, голодны невероятно?

Герцог говорил очень тихо, нараспев и как бы между прочим, но каждое слово его ртутью проникало между путанными моими мыслями. В горячем воздухе слышен был лишь треск поленьев в камине, деликатный стук чашки о столешницу — и голос Герцога. Он ничего у меня не спрашивал, и я вдруг осознала, что в стенах замка я пролепетала едва ли больше пары фраз. Кошка, я просто кошка на коленях у Герцога — вот как оглаживал меня этот голос. Когда я поставила на стол опустевшую чашку, Герцог, без усилий, но пристально следивший за каждым моим движением, заговорил вновь:

— Ну вот, вы немного пришли в себя и почувствовали, что вам здесь рады. Теперь позвольте представиться: герцог Коннер Эган. Для фионы — просто Герцог.

Он поднялся, и тут же слуги внесли еще с десяток зажженных факелов. Залу мгновенно затопило светом, и я увидела в глубине стол, полностью накрытый к ужину. На двоих.

— Прошу вас, Ирма! — Герцог протянул мне громадную молочно-белую ладонь. Изо всех сил сосредоточившись, я подала ему руку, прихватила подол и медленно заскользила к столу — я поняла, как надо двигаться в моем новом облачении. Меня не смутило, что хозяин знает мое имя: к этому времени, скорее всего, уже доставили моих слуг, и они сообщили подручным Герцога, кто я.

Проворно и в абсолютном молчании подали первую перемену блюд. Я наконец обрела дар речи.

— Фион тьернан Эган, благодарю вас за оказанное гостеприимство и помощь мне и моим людям. Мой отец, граф Трор, не забывает таких услуг. — Я постаралась придать своим словам всю возможную вескость.

Герцог небрежно махнул рукой, но глаза его загадочно блеснули.

— Ваших слуг доставили, но не сюда, а в мой охотничий домик. Он ближе к дороге, и туда уже выехал лекарь. О них позаботятся.

Хороши новости: никого из моего эскорта со мной не осталось. Я настороженно выпрямилась в кресле.

— Зачем они вам, Ирма? Откиньтесь, забудьте. — Герцог был сама безмятежность. — Мои слуги в вашем распоряжении, но и они вам не понадобятся. Вы будете спать, как дитя, обещаю вам. Правда, чуть погодя. А сейчас — угощайтесь.

Я вознесла короткую предтрапезную благодарность Риду Вседержителю, успев заметить краем глаза, что Герцог тоже прикрыл веки, но не серьезная сосредоточенность, подобающая этому особому обращению к Всемогущему, а сладостная, почти фривольная, игривая улыбка расплылась на его лице. Мы в молчании приступили к ужину. Запахи и вид блюд опьяняли. То была безыскусная, но превосходная охотничья кухня: жареная дичь, овощи, красное вино. О, как я была голодна, однако мне, безусловно, хватило воспитания не показывать этого. Но не успела я поднести вилку ко рту, как Герцог произнес вполголоса, глядя словно бы сквозь меня:

— Подождите, фиона, не спешите.

Я не нашлась, что на это сказать. И могла поклясться — ни одним жестом не выдала пылко желая съесть эту замечательную куропатку чуть ли не руками, так велик был мой голод, и такой чудесный дух поднимался над блюдом. Герцог же продолжал:

— Не упустите любовной прелюдии, дорогая Ирма. — Он почти не улыбался и произносил слова тихо и очень ровно.

Все внутри меня остановилось. Я не знала, что и думать, — и, главное, как сейчас вести себя с этим человеком? В подобной манере мужчине пристало говорить

с невестой после объявления помолвки — никак не с ед-ва знакомой девицей. Завороженно глядя на хозяина, я отложила вилку с наколотой на нее куропачьей ножкой.

— М-м, рассмотрите же то, что собираетесь принять в рот. Очень скоро вы соединитесь навсегда. Этот кусок мяса будет ближе вам, чем благородный граф Трор, чем ваш жених, которого вы, как вам кажется, любите... Проживите это. Услышьте, как зовет эту мертвую птичку ваше тело.

Я в смятении заметалась взглядом между вилок и лицом Герцога. Что-то подсказывало: хозяин дома говорит не о благодарении за ниспосланную трапезу. Рид Всесильный, что происходит? Я собралась с духом:

— Герцог, что вы хотите этим сказать?

— Чем, фиона? — Герцог глядел на меня поверх бокала с вином — слегка удивленно и, как мне показалось, насмешливо.

— Вы предложили мне... услышать этот кусок мяса... Если я правильно вас поняла. — Я чуть не поперхнулась тем, что произнесла.

— Вы ослышались, фиона Ирма. Я всего лишь пригласил вас отведать наконец куропатку — вы почему-то совсем не едите.

От усталости, похоже, начинают мерещиться совершенные нелепости. Я положила в рот злополучный кусок, и гастрономическое наслаждение ненадолго расплело время до простой прямой. Герцог — вполне игриво, как старый друг, — цокнул своим бокалом по боку моего.

— За ваш визит ко мне, драгоценная фиона нола! За ваш столь *своевременный* визит. — Последние слова были сказаны в том же странном отсутствующем тоне, и мне опять померещилось то, что не прозвучало. Мы пригубили вино. Прекрасное, несладкое, терпкое. Знакомый жидкий огонь обжег гортань, пролился глубже.

Мне захотелось воздать хотя бы словесно за удивительные радушие тьернана Эгана.

— У вас великолепный замок, Герцог.

— Вам нет нужды мне льстить. Ваше общество — мое удовольствие и мой выбор. Более того, замка вы еще и не видели почти вовсе, поэтому комплимент придется отложить хотя бы до завтрашнего утра.

Я вспыхнула: ну вот, меня уже уличают в грубой лести! Во второй раз за вечер я себе показалась невоспитанной плебейкой. Устала — я просто устала и переволновалась за этот вечер сверх всякой меры — так объяснила я себе свою неуклюжесть. Похоже, все-таки стоит помалкивать, отдать бразды правления беседой Герцогу. Он что-то негромко спрашивал — о моем отце, словно знал его давно и близко, о моей покойной матери, потом что-то о музыке, — а я продолжала, краснея и бледнея, отвечать невпопад, путаться в словах, мучительно запаздывать с ответами. С каждой следующей своей неловкой фразой я погружалась в дремотную оторопелость, постепенно растворяясь в темных водах голоса этого человека, теряя себя, засыпая. Наконец Герцог поймал маятник разговора в полете и, к моему несказанному облегчению, перешел на неспешное сольное говорение. Не объяснить, как, но фион Эган, даже не обмолвившись о сем, позволил мне совсем прекратить себя слушать. Я исподтишка разглядывала его — ум увлекся этой занимательной игрушкой и оставил меня в покое.

Герцог показался мне безобразным. Очень бледное лицо, большой рыхлый нос, светлые брови, огромный почти гротескно подвижный рот с крупными зубами, прозрачные серые глаза с острыми пронзительными зрачками. Как ни странно, я сама не заметила, как лик этого сатира приковал к себе мой взгляд намертво. Герцог меж тем словно не замечал, что я, глухая к его речам, бесцеремонно пялюсь на него, как на неодушевленный

предмет. Хотя именно невероятная, нечеловеческая одушевленность облика хозяина замка и завороживала меня более всего.

Между тем подали фрукты. В гигантской ярусной вазе я разглядела мои любимые фиги и выбрала себе одну, уже треснувшую.

— Красивый плод, не правда ли? — Герцог смотрел не в лицо мне, а словно бы разговаривал с моей рукой, с пальцами, в которых я держала figу за ножку.

— Да, пожалуй... — Я снова забеспокоилась.

— Как вы будете его есть?

Я вгляделась в серые глаза напротив. Доброжелательная небрежность. Чтобы выиграть хоть миг, я откашлялась.

— Очищу его от кожуры и съем мякоть...

— Прекрасно, фиона. Попробуйте же скорее эту figу, прошу вас! — В голосе Герцога прозвучало волнение и даже некоторая горячность.

Смущаясь под остановившимся взглядом Герцога, я взяла фруктовый ножик и начала осторожно счищать тонкую лилово-зеленую кожицу. Далее полагалось разрезать figу на четыре четверти и отправить их в рот. Ожидая подвоха, я взглянула на Герцога. Он широко улыбался.

— Ну же, Ирма! Не терзайте figу. — Подавив нервный смешок, я вдруг увидела себя очищенной figой на тарелке у Герцога. — Я бы съел ее целиком. Так больше вкуса, не правда ли?

С такими словами Герцог вдруг перегнулся через стол, и я увидела эти светлые, но совершенно непроницаемые глаза совсем близко — в них плясали очаровательные лихие бесы. У меня закружилась голова, я опустила выпачканный фруктовой мякотью нож и поняла, что сейчас эту figу мне не съесть. Повисла смятенная пауза. И тут Герцог, внезапно откинувшись в кресле, взялся меня выручить.

— Фиона нола желает почивать! — Я скорее почувствовала, чем услышала, как к моему креслу подступили сзади. — Фиона Ирма, вы устали, и вам нужно отдохнуть. Дерейн, проводите.

Я неуверенно поднялась. На формулы вежливости не осталось никаких сил. Кресло мягко отодвинули, мне предложили руку, и я неуклюже вцепилась в теплое крепкое запястье. Явь будто истлела, укуталась сизым дымом. Стоило поблагодарить хозяина за прекрасный ужин и беседу (Рид милосердный!), извиниться за невозможность далее составлять компанию, но все тот же тихий голос за моей спиной сказал:

— Не трудитесь, драгоценная фиона. Я сам себя благодарю, извинюсь и извиню. Сладчайших сновидений. Ах да... фигу, разумеется, вам доставят в покой незамедлительно.

Не помню, как провожатый вывел меня из гостиной. Я лишь ощущала всей спиной плотный неотрывный взгляд. В коридоре наваждение начало развеиваться, и я смогла наконец рассмотреть спутника. То был один из моих спасителей — худой юноша с заплетенными в косы мокрыми волосами, которые теперь почти высохли и небрежно рассыпались по широким плечам.

— Как прошел ужин, фиона Ирма? — В глазах молодого человека поблескивало озорство, но он не насмешничал, и я, хоть и все еще настороже, дерзнула ответить:

— Благодарю вас, фион Дерейн. Все было очень вкусно. Герцог — замечательный... хм... собеседник.

— Несколько эксцентрический, быть может? — Дерейн явно упивался моей растерянностью.

Я промолчала. Слишком много всего произошло за этот вечер, и я не склонна была плодить непонятности.

Мы прошли уже узнаваемыми коридорами и лестницами. А вот и моя комната.

— Спокойной ночи, фиона нола. Завтра меня здесь не будет, а вот чуть позже почту за честь вновь вас видеть.

— Благодарю вас, фион Дерейн. Спокойной ночи, фион Дерейн.

Лишь когда дверь затворилась и я, на ходу сбросив сандалии, упала прямо в платье на постель, в вожделенном уединении до меня наконец дошел смысл последних слов Дерейна: в этом доме полагают, что я останусь погостить. Вот уж нет, покорно благодарю, подумала я, вспомнив о закончившемся, слава Риду, ужине.

Герцог был не совсем прав: во сне я утонула не мгновенно.

Глава 3

Никакая усталость не отменяла вечернего Обращения к Риду.

Я извлекла из дорожной сумки потрепанный томик «Жития и Поучений». Как всегда, открыла наугад. И почти не удивилась, прочитав на развороте слева: «Речение Второе. О благовоспитанности». Я знала его наизусть — брат Алфин, мой наставник, выписанный из Святого Братства отцом специально для меня, начал с этой главы любые наши занятия. «Благовоспитанность — спасительный плот в море разговоров людских, убежище от сердечной смуты и корень воздержанности и благородства настоящего». Я привычно повторила эту — последнюю — строку Речения, представила, как слова одно за другим падают золотыми монетами в сокровищницу моей души. В точности как учил согбенный брат Алфин.

— «Рид Милосердный, Всесильный и Всезнающий, благодарю Тебя за науку и поддержание ума моего в покое и воздержанности». — Я прошептала Обращение — и не ощутила сердечного трепета, обычно сопровождавшего произнесение осененных временем слов.

Вторым обязательным священнодействием перед сном был ритуал общения с дневником. Я завела свой

первый альбом для записей, когда научилась начертанию букв. Поначалу я лишь запечатлевала произошедшее за день, и дневник долгое время был мне другом и советчиком, проводником, утешителем и даже учителем. Но после того, как между мной и этим ничем не примечательным альбомом впервые произошло нечто совершенно для меня необъяснимое, на свои писания мне пришлось посмотреть иначе.

Однажды поздним вечером, когда весь дом уже давно погрузился в сон, я записывала, как обычно, что происходило в тот день со мной, у меня на уме и в сердце. И вдруг — то ли благодаря случайному слову, проросшему в голове, то ли подвернувшемуся шалому обороту — словно потеряла сознание. Рука словно сама собой понеслась над бумагой, буквы натекали одна на другую, слова бились во мне, как обезумевшие; мне казалось, что я одержима чем-то внешним, бóльшим, чем я сама, и оно, истомившись, рвется наружу. Сейчас даже не помню, о каком событии шла речь, — может, о первом купании после стылых месяцев или о какой-то особенно дерзкой верховой вылазке с Ферришем... Само приключение потеряло всякую ценность в сравнении с той смутной неукротимой силой, что держала меня за кисть в те лихорадочные мгновенья.

Оно ушло почти столь же внезапно, как и явилось. В пересохшее русло ума хлынули мысли. Странно: не было мне ни страха, ни сопротивления. Я лишь ощутила горячечную слабость и гулкую солнечную пустоту внутри. А вместе с этой пустотой пришла грусть — такая навещает детей, когда их любимая птица улетает на зиму в теплые края. Я заскучала по этому прикосновению, едва успев его проводить. С тех пор я писала, втайне лелея надежду, что смогу приманить это чудо вновь.

И оно вернулось — и не раз! Если я бралась писать ежедневно, испещряя торопливыми завитушками букв

страницу за страницей, то хотя бы единожды в месяц незримый «друг» навещал меня в моем уединении. Ни одна живая душа (даже Ферриш!) не знала об этой моей тайной «дружбе».

И вот сегодня впервые за несколько дней я вернулась к дневнику. Сон, хоть и с некоторым опозданием, уже накрыл мне лоб своей властной дланью, и я не осилила и полстраницы, решила отложить подробный отчет до завтрашнего вечера, когда смогу спокойно расположиться дома в библиотеке и привести в порядок свои воспоминания обо всем произошедшем.

Задув свечи, я лежала, глядя на простуженные отблески догоравшего каминного пламени. Под прикрытыми веками заскользил ушедший день. Неожиданно меня посетила беспокойная мысль: как мало я знаю о себе и как смехотворно узко то пространство обстоятельств, в которых мне свободно и безмятежно. Всегда мнилось, будто мир принадлежит девицам на выданье — если на них не менее трех слоев батиста, под ними сытый смиренный конь, а за спиной всегда возвышается седовласый красавец-отец. Как же легко, оказывается, вышибить меня из седла, и вот уж я — беспомощный, глупый младенец. В подвздошь заворочалась обида, странная слепая тревога. Вскоре, однако, усталость взяла свое.

...Наступившее утро затопило мою спальню дымным сизым светом. Я не двигалась, не торопилась вдохнуть день, медленно собирая мир из вчерашних осколков и восстанавливая в изумленной памяти события, которые привели меня в эту комнату. Набросила на плечи шаль, выбралась из постели и подошла к окну.

Дождь, по-видимому, не прекращался всю ночь, но с приходом утра почти стих, и сейчас за окном не видно было ни зги: деревья обволакивал глухой туман. Угадывались очертания лесистых холмов, в эти ноябрьские дни — бурно-серых. Я попыталась определить, в какой стороне замок фиона Колана, и так понять, где же находятся

таинственные владения герцога Эгана. Но солнце не проникло сквозь одеяла тумана, и точку восхода было не угадать. Стены толщиной в четыре локтя и окно на высоте моей груди не позволяли высунуться наружу. Расспрошу-ка лучше Герцога за завтраком.

Ох, Герцог. Через силу пришлось самой себе признаться: любопытство мое ничуть не убавилось. Напротив, ослепленная сном, я рвалась исправить вчерашние оплошности, допущенные в разговоре с фионом Эганом, произвести благоприятное впечатление. И, не скрою, я жаждала отыграться за его словесные трюки — и желала подружиться с ним, в глубине души надеясь, что после того, как я сегодня покину пределы его владений, мы сможем даже приглашать друг друга в гости.

Одевшись, я выглянула в коридор. На высоком трехногом табурете у моей двери неподвижно сидел слуга с бесстрастным лицом: это он вчера сопровождал меня к ужину и теперь опять повел знакомым путем. Ни о том, сколько ему пришлось проторчать под дверью, ни о времени своего пробуждения я не имела ни малейшего понятия.

Мы проследовали вдоль высветленных рябым пасмурным днем коридоров. Из узких окон, расположенных на разной высоте — то совсем почти у пола, то на пару локтей выше моей головы, — сочился по каплям все тот же перламутровый, почти плотный свет. Мне дали довольно времени на умывание в жаркой ванной комнате, наполненной густыми эфирными ароматами. Духов я нигде не нашла — зато не было недостатка в маслах и душистых притираниях. Не осмеливаясь наносить незнакомые благовония, коих тут было намного больше, чем известных мне, я выбрала старые добрые корицу и лимонник — для волос и запястий.

Молчаливый провожатый терпеливо дождался окончания моего утреннего туалета, проследовал со мной до знакомых дверей с чешуйчатыми ручками и там

отклонялся. Безмятежный и, похоже, необычайно долгий сон сообщил моему сознанию пронзительную ясность. Теперь я заметила, что маленькая зала перед входом в гостиную — отдельная башенка с окнами в каждой четверти круга. Я начала привыкать к тишине и неподвижности замка. С веселым азартом изготавившись для словесных баталий, я вдохнула, выдохнула, умиротворенно улыбнулась и — толкнула дверь.

Вчерашняя зала, в ночной тьме почти зловещая, ныне показалась мне тихой, торжественной и бесстрастной. Прорезанная здесь и там серовато-жемчужными потоками ненастного света из заплетенных причудливыми решетками окон, она оказалась действительно просторной, но стены ее уже не прятались во мраке. Я сразу поняла — или даже почти по-звериному учуяла, — что Герцога здесь нет. Но менее всего сейчас мне хотелось суетиться, и я просто осталась ждать — сама не знаю, чего.

Я медленно обходила залу, и ни один звук извне не достигал моего слуха. Опять я подивилась отсутствию семейных портретов на стенах — только зеркала, зеркала, зеркала. Я созерцала два-три своих отражения одновременно и, как бы ни пыталась увернуться, неизбежно встречалась с собой взглядом. Стены и в этом крыле замка были необычайно массивны, но окна залы удобно располагались довольно низко от пола, и я, сбросив сандалии, с удовольствием расположилась в оконном проеме. Подложив под себя обширный подол платья и опершись спиной о стену, я подтянула колени к подбородку и принялась осматриваться.

Безусловно, я понимала, что веду себя при этом совершенно непозволительно фионе ноле. Но здесь, в этой зале, я вдруг ощутила... нет, не одиночество, но уединение, словно осталась одна в глухом лесу, — таким полым и безмолвным было все вокруг меня. И чувство это, и горькое, и сладкое, пронзило меня таким

небезразличным покоем, что я оторопела и какое-то время рассеянно переводила взгляд с одной макушки дерева, захлебнувшегося в тумане, на другую.

Окна гостиной с этой стороны смотрели во внутренний двор, и здесь стены замка возносились над землей локтей на двадцать пять — тридцать. Башня напротив и массивный флигель правее почти заслоняли вид на соседние холмы, а внешний карниз был такой досадно и нелепо широкий, что я при всем желании не могла взглянуть во двор.

— Здравствуйте, фиона Ирма!

Не сразу, совсем не сразу я поняла, что уже некоторое время совсем не одна. От неожиданности я попыталась немедленно спрыгнуть на пол, запуталась в платье и почти упала, но меня мягко, будто я ничего не весила, поймали и поставили на ноги. Как только я обрела равновесие, Герцог отпустил мои плечи.

Глава 4

Вот так идут прахом попытки исправить однажды произведенное дурное впечатление. Меня застучали за откровенным ребячеством: высунулась из окна, бо-соногая, обо всем на свете позабыв, не здороваюсь с мужчиной старше себя по возрасту первая. Стыдоба да и только.

— Так-так, моя драгоценная фиона нола. Вот, значит, как воспитывают девиц в благородном семействе графа Трора.

Все что я так хотела спросить у фиона Коннера о его замке, смешалось у меня в голове. Необходимо было немедля решить: в последний ли раз попытаться вести себя, как подобает даме, или уж наконец быть тем, что, без сомнения, видел во мне Герцог, — девчонку, бестолковую девчонку. Эх, была не была:

— Фион тьернан Эган, Герцог, что тут такого? Ну и подумаешь, что с ногами. Извините, что первая не поздоровалась, вы ходите слишком тихо.

Выбор сделан. Никакая я не благовоспитанная и не *взрослая* нола. И теперь мы никогда не сможем стать друзьями. Герцог меж тем перестал улыбаться, и в глазах его появилось нечто, отчего я похолодела: смесь спокойной решимости и легкости одновременно.

— Меда⁵ Ирма, именно потому, что вы не являетесь благовоспитанной нолой, у вас есть Настоящая Возможность.

Что он хочет этим сказать? Я тут же подумала, что это один из разговорных трюков, столь любимых Герцогом, но он смотрел на меня тихо и серьезно, и лицо его лишилось всякой игривости.

— Следуйте за мной. — С этими словами он протянул мне руку. Я не задумываясь вложила в нее свою, и двустворчатые двери бесшумно затворились за нами.

Мы двинулись по еще не знакомому мне коридору. Совсем скоро мы уже поднимались по крутой винтовой лестнице в дуле круглой башни, все выше и выше. Но вот лестница закончилась, и мы оказались внутри чего-то вроде гигантского фонаря. Герцог открыл несколько окон, и нас тут же спеленал пронизывающий осенний ветер.

Я с опаской приблизилась к распахнутой створке. Мы находились чуть правее того окна в обеденной зале, из которого я пыталась выглянуть во двор. Туман почти растянуло, и с этой высоты видны были косматые холмы до самого горизонта; невдалеке блеснуло озеро, несколько одиноких черных птиц расчертили бумажное небо над вершинами деревьев и растаяли в сизых облаках. Никаких шпилей, башен, стягов на ветру — лишь шершавое море осеннего леса. Но внимание мое почти

⁵ Меда (*депп*) — «особенная, единственная». Обращение, используемое в высоком деррийском наречии для обозначения любых особых, в том числе неназываемых, уз.

сразу приковал внутренний двор далеко под нами.

Словно в окуляре гигантской подзорной трубы, я увидела зажатый стенами со всех сторон внутренний двор замка, затейливо усыпанный ярким разноцветным гравием. Такие картинки, за умеренную плату, насыпают в парках состоятельных чудаковатых фионов бродячие блиссы⁶. Рисунок, открывшийся моему взору, изображал, похоже, Рида Милосердного и Всемогущего — но прямо на земле! И на моих глазах двор пересек, бестрепетно шагая по Священному Лику, какой-то слуга. К моей оторопи и ужасу, я не увидела у Рида положенных Канонном Благодати горящих разгневанных очей, сжатых суровых губ, квадратных скул с проступающими желваками. Не было ни тяжелого, всегда мокрого плаща⁷ на усталых напряженных плечах, ни ночной тьмы вокруг, что опаляла бы его полуденное сияющее гало. Блиссы не потрудились изобразить ни волшебного посоха или копья, с которыми всегда изображался Всемогущий, ни перевивающих оружие Всевышнего тонких золотых лент, на которых любой невежда Господень мог прочесть таинственные и столь непостижимо печальные слова Вечной Печати⁸. Я впивалась глазами в изображение, и оно, словно вуаль за вуалью, открывалось мне все больше с каждым ударом сердца. Рид, Господь Рид

⁶ Блосс (*ферн., дерр.*) — художник, одержимый живописью. Особая каста бездомных, часто немых, слепых или глухих художников, зарабатывавших случайными заказами.

⁷ Господь Рид всегда изображается борющимся со стихиями. Согласно легенде, он в осеннюю бурную ночь под проливным дождем воплотился из Чистого Понимания.

⁸ Вечная Печать — священная скрижаль фернов. Перечень из 17 слов на деррийском наречии, разных, не связанных друг с другом в единое предложение частей речи, которые, согласно легенде, остались гореть в пустом воздухе до захода солнца в тот день, когда Рид ушел от людей, растворившись в пространстве на глазах у трех случайных свидетелей. Пока надпись не развеяло закатным бризом, ее увидело 52 человека. Каждый Свидетель написал или продиктовал (многие Свидетели были неграмотными крестьянами) свое видение и трактовку смысла Печати.

улыбался тепло и радостно, глаза его были прикрыты, из-под век сочились темно-бирюзовые блаженные слезы. Фигура Всесильного будто парила, отсыпанная в гравии, распростертая, с раскинутыми руками. Плащ распахнулся, как от встречного ветра, и Всемогущий предстал передо мной совершенно нагим! Голый Рид!

Завороженная, потрясенная, я снова и снова разглядывала это восхитительное — и такое богомерзкое — изображение. «Житие и Поучения» с лютой скоростью пролистывались перед моим внутренним взором, и любая фреска меркла и осыпалась перед моим внутренним взором — в сравнении с тем, что постигал взор внешний. А потом мысли исчезли, и я утонула в этих чистых глубоких красках.

Десятки вопросов бесновались в моей голове, толкаясь и тесня друг друга. Что все это значит? Зачем здесь этот образ? Как вышло, что обитатели замка все еще живы и никого из них не преследует Святое Братство? Или преследует? Какое наказание понесу я сама — за то, что видела такое, делила трапезу с хозяином этой обители ереси и говорила с ним? Чем пришлось заплатить мастерам-блассам? Какие еще смертельно опасные тайны скрывает этот замок? К моему безграничному удивлению, ни возмущения, ни отвращения у меня не было. Никогда я не видела изображение прекраснее. Я смотрела на него, и этот образ неумолимо вытеснял все те лики Рида, что я привыкла созерцать за свои девятнадцать лет, с самого рождения. Он радовался, он прощал, он манил. Он жил.

— Смотрите, фиона, смотрите. Такое не показывают детям в благородных фернских семьях, верно? — раздался у меня за спиной голос Герцога. — Обескураживает? Пугает? Одно могу сказать вам без всякого сомнения: этот чудак Рид больше не даст вам покоя, и вы это знаете, моя любопытная фиона. У вас есть выбор. Вы можете решиться на невозможное и узнать тайну этого

Рида — или оставить эту мысль, сделать вид, что все забыли, и провести свою жизнь так, как распорядится ваша дальнейшая судьба.

Ветер утих, но в глазах вдруг зашипало, и изображение внизу помутнело. Голова осталась пустая и звонкая, как стеклянный шар-поплавок. Разом навалились немота и тишина, а я все смотрела и смотрела на Всесильного подо мной, впитывала его чистую новорожденную радость. Герцог молчал.

— Что нужно, чтобы узнать эту тайну? — Я будто со стороны слышала собственный голос, так тускло и низко он звучал.

— Все ваши силы. Все ваши устремления. Вся ваша страсть. Все ваше отчаяние. Вся вы. Не меньше.

— Сколько времени?

— Никто не знает.

— Где?

— В вас.

— Кто будет меня учить?

— Вы сами. И еще несколько человек помогут вам вспомнить то, что вы уже знаете.

— А вы?

— Я буду среди них.

— Как часто мне придется наведываться в замок?

— Вы не будете сюда наведываться. Вы будете здесь жить — столько, сколько будет вам отмерено Ридом.

С неслышным звоном мой стеклянный шар треснул и раскололся. Ураганный шквал мыслей обрушился на меня, сметая тишину и абсолютную сверкающую хрустальность, в которую я была вморожена один вздох тому назад. Как? Мне остаться здесь? А отец? А Ферриш, старый приятель и жених? Что скажут? Что подумают? Отец не перенесет. Позор на всю семью! А моя жизнь? Будущая семья, дети, замок, челядь, охота, балы? А потом тихая благородная старость и...

— И смерть, меда.

Этими словами Герцог словно захлопнул дверь, и шум в голове утих, словно его и не было. Остались лишь невыразимая печаль и какое-то непроглядное бессилие.

— Что мне делать?

Мы снова встретились глазами. В его взоре было столько безмятежности, что мне хотелось потеряться в нем насовсем.

— Я не смогу решить за вас, фиона Ирма, — неожиданно устало проговорил Герцог, — но у вас есть время подумать. До захода солнца. О еде и питье не беспокойтесь — о вас позаботятся. Через полчаса ваша повозка будет стоять под окнами. До заката вы либо покинете замок и вернетесь к отцу, либо... — Герцог развернулся и начал спускаться по винтовой лестнице.

Не сознавая себя, я обеими руками вцепилась в оконный переплет. Пронизывающий ветер забирался в складки шали и платья, ранил кожу жестокими ледяными пальцами, но я словно онемела изнутри. Я бесцельно, бессмысленно блуждала взглядом по заспанному лесному просторам. А снизу возносился мне навстречу свободно парящий Рид.

Глава 5

Я не помню, сколько времени провела с улыбавшимся мне Всемогущим, но мало-помалу оцепенение оставило меня. Сырой сизый туман расселся по швам, раздерганный поднявшимся борзым ветром, и в прорехи облаков глянула синева. Я смертельно замерзла, а ноги освинцовели.

У основания винтовой лестницы на трехногом табурете восседал знакомый слуга, невозмутимый и спокойный. Он довел меня до обеденной залы, а оттуда я уже знала дорогу к себе.

Скрывшись от ветра, от неба и от того Рида, я вновь погрузилась в пучину смятенных вопросов. Я металась от стены к стене, бессмысленно трогая и вслепую представляя что-то на полках. «Отец не переживет. Отец не переживет», — колотилось погремушкой у меня в голове. Я словно видела его: вот он одиноко сидит в библиотеке, постаревший, плечи горестно опущены... Стараюсь сдерживать слезы, в темных узловатых пальцах подрагивает на цепочке распахнутый медальон. В створках — мой портрет, мне восемь, и материн, сделанный, когда она была молода и весела. И жива. Я вижу отцову гриву совершенно седых волос, не ухоженных и не умашенных с того самого дня, когда ему сообщили о моем... да-да, о моем предательстве.

Меня вдруг пронзило видение: отец в гневе, и нет ничего страшнее, ничего кошмарнее стальных глаз его и раскаленного льда его голоса. Болезни и смерть — едва ли не химеры в мои годы, что значили они в сравнении с отлучением от сердца этого седого, красивого мужчины, лучше которого нет никого в целом свете? Хотя бы на миг... Тогда на чудовищный и дикий вопрос, чью любовь и защиту я боюсь потерять больше — отцовскую или Господа Рида, — я не задумываясь сказала бы, что отцовскую. Такова была моя богомерзкая правда.

Воображение уже услужливо подсовывает картины: вот меня предают семейной анафеме. Призраки горестных, негодующих, осуждающих меня братьев, кузенов и кузин, теток, дядьев заполонили комнату. Потрясенный и смертельно разочарованный Ферриш, отныне и навсегда — потерянный старый друг по детским играм, более не отец моим будущим детям. Гулкие голоса гремят в голове дюжиной злых колоколов. Предательница, обесчестившая имя Троров! Недостойная, падшая! Паршивая овца! Вычеркнуть ее имя из семейных списков и забыть как не рожденную!

Нет, такого не пережить. Никто больше не станет любить и защищать меня. Я никому не нужна в этом мире, кроме моей семьи. Я просто умру. Умру. Я оплакивала саму себя. Все внутри вздрагивало и сжималось, меня бросало то в жар, то в холод, платье, напитанное липким потом, прикипело к спине.

Ум-акробат вдруг совершил неожиданное сальто, и шарманка воображения сыграла мне песенку про то, что может ждать меня впереди, если я окончательно свихнусь и останусь в замке. Песенка получалась довольно бестолковая. Что я знала? Герцог и, по всей видимости, еще какие-то люди раскроют мне тайну еретического изображения. Вероятно, меня посвятят в какое-то темное апокрифическое таинство, за которое, вне всяких сомнений, мне придется еще неизвестно какой ценой заплатить. И для этого необходимо оставаться «гостить» у почти незнакомого, невообразимо странного человека. Неженатого, судя по всему, мужчины! Нелепость? О да, подтвердил холодный голос здравого смысла.

Но, каким бы очевидным ни казался выбор, блаженство его отсутствия было мне недоступно. Я почти слышала глубоко внутри тихий настойчивый зов, заглушавший базарную суматоху рассудка. Кто-нибудь, пожалуйста, решите за меня!

И тут меня осенило. Книга Рида! Я бросилась к «Житию и Поучениям», покоившимся на полу у самого локтя, упала на колени перед книгой, под пальцами замелькали страницы. Я искала ответ. Любой ответ. И ответ был дан мне — единственный, недвусмысленный: следует незамедлительно покинуть замок и первым делом рассказать отцу Алфину об этом гнезде ереси. Ну, в худшем случае забыть это все немедленно и навсегда. Так учил Господь Рид. И я впервые в жизни с ужасом осознала: мое «правильно» и «Житийное» «правильно» могут иметь очень мало общего. Впервые

в жизни незыблемая почва под моими ногами заходила ходуном. Кто-нибудь, помогите же! Я шатко поднялась на ноги и выглянула за дверь.

Коридор был пуст и тих. Но справа на табурете я заметила поднос, который позаботились разместить так, чтобы я сразу его увидела, но при этом никак не могла сбить, если бы вдруг бросилась вон из комнаты. На подносе — небольшая накрытая супница, сыр, хлеб, гроздь винограда и яблоко. Под табуретом, укутанный в синий войлок, стоял чайник.

Только взяв поднос в руки, я увидела: за супницей прятались крохотная синяя роза и песочные часы, а под ними белела записка. Я поспешно внесла поднос в комнату, поставила его прямо на полу перед камином и выдернула послание. В нем тонким почерком без наклона чьей-то уверенной рукой написана была одна-единственная фраза, начисто, как мне показалась, лишённая смысла: «Позвольте решению принять вас».

Я с тревогой взглянула на часы. Песок из верхней капсулы уже на две трети перебежал в нижнюю. Он сыпался тонкой, почти невидимой струйкой, но я знала, что солнце тем не менее сегодня сядет. И очень скоро.

Предложенные мне яства заслуживали куда большего гастрономического внимания, я же едва различала вкусы. Муки выбора незаметно утихли. Разумеется, я уезжаю.

Теперь все метания и колебания вызывали недоумение во мне самой, а истекшие сутки казались грезой. О нагом Господе стоит просто забыть. Я уезжаю.

Я поискала глазами платье, в котором вчера приехала в замок, и, к своему довольно умеренному удивлению не обнаружила его. Что ж, придется ехать в этом балахоне... По дороге придумая, как объяснить мой наряд. Поднявшись со своего бивуака у камина, я еще раз на прощанье оглядела спальню, на ходу подобрала с подноса цветок и вышла. Привычный слуга спрыгнул с табурета, и мы быстро и молча проследовали знакомым

путем до входных дверей. Уезжать не прощаясь — нагрубить, если не оскорбить гостеприимных хозяев, подумалось мне, но встречаться с Герцогом сейчас я почти боялась: я даже не сумею выдержать его взгляд, заговорить с ним — тем паче. Я замерла у порога. Всего один шаг — и я покину этот дом. И тут остро и больно сжалось сердце: как быстро и яростно пронзил меня этот странный фион Коннер, до какой-то очень потайной глубины. Вдруг более всего мне захотелось остаться рядом — еще говорить с ним, еще слушать этот голос. Но тут слуга церемонно набросил мне на плечи плотный и приятно тяжелый плащ с глубоким капюшоном. Точно такой, как был у Дерейна в минувшую ночь. Плащ герцогства Эган. Ночь герцога Коннера обнимала меня — и провожала.

Дыхание перехватило, к горлу подкатил горчичный комок. Онемевшими губами я прошептала слова благодарности. Повозка ожидала, как и было обещано, чуть поодаль от парадной лестницы, а на козлах сидел незнакомый человек, закутанный в такой же, как у меня, широкий плащ. Под капюшоном горели темные глаза, и резкая тень очерчивала губы и скулы. Ваймейн⁹! Ваймейн — и возница? Невероятно. Но мне-то что за дело? Главное, чтобы знал дорогу.

— Полез-з-зайте, фиона. А за дорогу не из-звольте волноваться, доvez-зу в лучшем виде. Хоз-з-яин раз-зобьяснил. — Я обмерла от неожиданности. Мой ваймейн не только разговаривает, но и на незаданные вопросы отвечает... Как и все здесь, впрочем.

— Как тебя зовут? — Меня накрыло сонным безразличием, и я сама не поняла, отчего я затеяла разговор, устраиваясь в повозке удобнее: путь предстоял неблизкий.

— Деррис, фиона нола, — сказал он и ухмыльнулся.

⁹ Ваймейн — небольшая замкнутая народность, обитатели плоскогорья Вайм на юго-западе от Фернских лесов. Объект скоморошких шуток за якобы буйный дикий нрав и нелюдимость.

Я прикусила губу. Деррис¹⁰! Тень беспокойства заглодила спину. Чего только не болтают об этих ваймейнах... Но у Дерриса на плечах — плащ герцогства Эган. Это обнадеживало.

Прозвенел разбитной клич на дерри, спел кнут, подушки дрогнули, скрипнули колеса, и повозка, раскачиваясь, выехала за ворота, а я начисто пропустила мимо ушей, что невежда-ваймейн разговаривает с лошадьми на высоком наречии.

Закатный свет озарял синий атлас на моих коленях. Кроме дробы копыт да редкого прицокивания Дерриса на козлах, ничто не примешивалось к топлому молоку насупленной вечерней тишины.

Я зябко куталась в подаренный плащ, тщетно пытаюсь избавиться от неизбывной горечи... утраты. Хрустальное прозрачное сожаление с неслышным звоном замкнуло меня в своем ларце. Словно невесомый плоский камешек, я соскальзывала в эту глубокую темную печальную воду. Что-то вдруг тоненько треснуло внутри, и по щеке сбежала первая жгучая слеза, а за ней еще... и еще... И не ведала я, что оплакивала. Долгие, как две бесконечности, годы уйдут на то, чтобы это понять. Мир рябил и дрожал в глазах, и сама я, прижимала руки к сердцу, боясь, что оно сейчас брызнет и разлетится на колючие осколки. Я не заметила, не увидела сквозь подслеповатую слюду тихих своих слез, как окошко в передней стенке приоткрылось, и голос Дерриса без всякого акцента, на чистом деррийском произнес:

— Улыбнитесь, меда Ирма.

Он протягивал мне что-то. Я с благодарностью приняла у возницы тонкий платок с серебристой искрой,

¹⁰ Деррис (*устар. ферн.*) — «безумный/одержимый»; по имени героя старых песен и сказаний о сумасшедшем юноше, уверовавшем, что он весь — живое горящее пламя любви. Некоторое время это имя было почти повсеместно запрещено Святым Братством Рида.

поднесла его к лицу и вдруг ощутила острый, обволакивающий запах. И через два вдоха мир уснул вместе со мной.

Глава 6

Я пробудилась словно в шаге от границы собственной памяти — чистой снежной равнины, не запятнанной вообще никакими воспоминаниями. Не разлепляя век, я осторожно покрутила головой. Она была легкой и, казалось, позвякивала изнутри при каждом движении. И тогда я осмелилась открыть наконец глаза. Ничего не поменялось: вокруг царила крошечная тьма.

Меня затопил вязкий ужас. Я ослепла? Где я? Что мне делать? Я бросилась лихорадочно ощупывать себя, поднесла руки к лицу. Веки открывались и закрывались, боли я нигде не ощущала, но этого оказалось недостаточно. Впервые в жизни мне потребовалось осмотреть себя под одеждой, и в полной растерянности, я попыталась представить, как выгляжу без зеркала — ноги, руки, бедра, грудь, шея, лицо, спина. Закрывать глаза не было необходимости — в чернильной этой темноте, — но они уснули сами. Мятный луч внимания обежал полую бутылку тела. Все на месте, я в том же бесформенном платье, но босая. Я села, прислушалась, поводила руками вокруг.

Очень хотелось не сойти с ума. Материя, грубая и простая, — вот что удерживает на грани безумия, не дает ее переступить. Мне было мягко и тепло. Везде, куда хватало рук, я нащупывала шелковистую ровную поверхность. Откуда-то сверху двигался теплый воздух с едва уловимым неопределенным ароматом. Движение это сопровождалось негромким ровным гулом — как в далекой печной трубе. Я осмелела достаточно, чтобы встать. Голова тут же закружилась, пришлось опять

сесть. Я двинулась вперед на четвереньках и почти сразу уперлась в мягкую стену.

Очень скоро я поняла, что нахожусь в некотором замкнутом со всех сторон пространстве, обитом чем-то мягким. Оно круглое, вроде колодца шагов пять в поперечнике. Наконец я смогла обратиться к вопросу, назойливо стучавшемуся в сознание: где я нахожусь? Память, как только ей дали волю, ринулась вперед вешним паводком. Ваймейн Деррис! Платок! Я в плену!

Меня прямо-таки подбросило на ноги. Где здесь дверь?! На волю! Спотыкаясь на мягком полу, я обежала пространство моего заточения несколько раз по кругу, ощупывая стены. Никаких оконных ниш, дверного проема, хотя бы какой-нибудь щели в стене или полу. До потолка, разумеется, не достать — даже в прыжке.

— Э-эй! Кто-нибудь! — возопила я. Мой крик утонул в обивке темницы. Даже эхо не вернулось. — Кто-нибудь! Выпустите меня! Именем Рида, немедленно, я требую!

Все звуки впитывались, как в вату. Я пленница — но чья? И зачем? Что им — кому? — от меня нужно? Сколько раз кувыркнулось солнце с тех пор, как я поднесла к лицу тот злосчастный платок? Что со мной делают? За какую темную неведомую семейную тайну я должна так страшно заплатить? Безответные вопросы безумным вихрем проносились в голове. Я не знала даже, чего мне бояться, и от этого бесформенное слепое ожидание делалось еще более тоскливым и тягостным.

Неосязаемая, неизмеримая, сочилась сквозь меня лава времени.

Иногда я вскакивала и принималась метаться. Несколько раз снова выкрикивала что-то, угрожала, просила, но сами звуки, рвавшиеся из горла, — бессильные, бессмысленные — заставили меня умолкнуть. Через небольшую вечность показалось, что рано или поздно произойдет хоть что-нибудь, и все прояснится. Но эта

уверенность прожила недолго — ее затопило новой волной страха, затоптало приступом лихорадочных метаний среди невидимых мягких стен. А еще чуть погода простая плотская потребность тела, начинавшая жечь промежность, затмила любые прочие порывы. Я не могу мочиться там же, где сижу. Рид Милосердный, какое унижение! Но тут сверху, с неосязаемой высоты, раздался человеческий голос, от которого у меня едва не выскочило сердце.

— Фиона нола Ирма, слушайте внимательно. — Говоривший произносил фернские слова с легчайшим акцентом, который я не могла распознать, как ни силилась. — Вы в полной безопасности, вам ничто не угрожает, здесь о вас заботятся.

Вопросы теснились у меня в голове, и я безуспешно пыталась выбрать один, самый главный.

— Я не отвечу вам, фиона нола, не спрашивайте — не отнимайте время у нас обоих. В этих покоях вы пробудете недолго... — (так он и сказал — *покоях!*) — ...но сколько — будет зависеть от вас. Еды и питья вам достанет. Сосредоточьтесь, я расскажу, как вы сможете утолить некоторые иные свои нужды. Пройдите вдоль стены покоя. Вы нащупаете, если поднимете руку повыше, небольшой участок, свободный от ткани. Надавите, и откроется ниша, где вы обнаружите необходимые туалетные принадлежности. Там же вы будете находить свежее платье и оставлять то, которое на вас. Туда же относите остатки ваших трапез. Ниша сама будет закрываться за вами. Добро пожаловать домой, меда Ирма... — Голос вдруг потеплел, утратил бесстрастность. — А сейчас отойдите к стене, вам доставят все необходимое.

Не предполагавший возражений тон моего тюремщика совершенно завораживал. Я сделала пару шагов в сторону и прижалась к теплой ткани. Пять вдохов и выдохов — и пол у моих ног мягко прогнулся: передо мной опустилось что-то крупное и тяжелое.

— Эй! Вы еще там? — крикнула я вверх без особой надежды. Мне никто не ответил.

Я осторожно приблизилась к предмету на полу. На ощупь это был большой увесистый сверток. Развернув его, я перебрала содержимое. Пара запечатанных круглых бутылей, кубок, россыпь фруктов и орехов, хлеб, обернутый в тонкую тряпицу с аккуратно обметанными краями, точно так же обернутый мелко нарезанный сыр. Слепое мое тело, способное лишь прикасаться и обонять, отозвалось попросту, едва ли не по-детски: я голодна! — и вдруг... Меня почти болезненно пронзил мучительный восторг: я — *живая!* Внезапно совсем не знакомая самой себе, я словно впервые раскрыла рот, неведомые пальцы положили на язык виноградину, чужой зев сомкнулся, и сладкий сок потек в бездонную пропасть заново разверстой гортани.

Глава 7

Шли дни — долгие или краткие, я не могла оценить, ибо ни один луч света не пробивался в мои «покои». Я не сразу поняла смысл этого слова, но со временем, хоть и не без сопротивления, покой проник в меня. Не знаю, сколько истекло часов, дней или недель, но я уже прекратила бесноваться, рыдать, бросаться на стены, колотить в пол и выкрикивать в незримый потолок угрозы, проклятия и мольбы.

Молчаливые стражи кормили и поили меня так, словно знали потребности моей утробы. Я засыпала и просыпалась, когда того желало мое тело. Я обращалась к Риду. Читала наизусть, вслух и про себя, из «Жития», но значение священных слов постепенно выветривалось, как духи из забытого флакона. Так рассеивается смысл много раз повторенной скороговорки. И я думала. Думала обо всем на свете, во всех мыслимых настроениях, в любых

выражениях и с любой силой, непрерывно, изнурительно. Невозможно вообразить такого безбрежного, неудержимого мыслиезлияния внутри обычной человеческой головы. Я, кажется, протосковала всю отпущенную мне тоску. Часами, бывало, под сомкнутыми веками царил образ моей матери. Ушедшей так рано. Как никогда прежде хотелось мне ее объятий, ее поцелуев, и мука этой потери жгла меня медленным, коптящим пламенем. Я видела отца, друга и сурового наставника, всегда такого нежного и требовательного — и вот он потерянный, с пустыми глазами, отвечает невпопад. Его руки закрывают маме глаза, бродят по ее восковому лицу, опустевшему в смерти. Угольно-черный бархат на всех зеркалах. Как тогда обходила я серые залы фамильного замка, наполненные безмолвными скорбными дядьями и кузенами, так сейчас я скользила по анфиладам пыльных, уже таких ненужных мыслей: любила ли меня мама, любила ли она отца... Я созерцала ритуалы родства, и сотни сентенций, одна другой запутаннее, натекали на позеленевший подсвечник ума. И самое тоскование сводило мне зубы.

Но и это длилось вполне конечную вечность. Мысли сначала были моими собеседниками, потом единственными друзьями, потом докучливыми гостями, потом надоедливими мухами, а потом затхлым, изжеванным в прах пергаментом. Как я скорбела, что прожила такую краткую жизнь. Но я не сожалела, что пленена во цвете лет, отнюдь; мне было жаль, до чего мало осталось мне мысленно обглаживать.

И вот, после многих снов и бодрствований, тишина и пустота в голове стали вожденнее, чем возня этих нескольких ветхих полых мыслей. Оцепенение сизым полупрозрачным дымом окутало мое тело. Сама не заметила, как я научилась пребывать в полной неподвижности: на границе сна и реальности наступало блаженство покоя и тишины, недоступные в суетливых жестах, в мелкой докуке. Манеры и приличия, обретающие жизнь и смысл

лишь под взором внешнего наблюдателя, стали казаться ничтожными, смешными: никто здесь не видел меня, и я раздевалась донага и позволяла одному воздуху облекать мое тело.

И вот наступил «день» — или «ночь», — когда после моего «тихого лежания» я не встала поесть. Я лежала в совершенной бездонной тишине, мне было тепло, не хотелось ни еды, ни питья, тело не просило испражняться, не болело и не чесалось, а словно тихо дремало без снов. Сердце тихо и мерно билось в груди, еле заметный выдох следовал за еле заметным вдохом — и я повлеклась за этой слабой рябью.

Вверх, вниз, вверх, вниз. Полнота, пустота, полнота, пустота.

Я ввинчиваюсь мягкими кругами в пустоту внутри и снаружи, как осенний лист, парю в неведомой, но тихой и уютной глубине. Все дальше и дальше.

Пустота, полнота, пустота, полнота, пустота...

Вдох почти не нужен.

Только выдох.

И словно это тело расходится в темноте каплей вишневого сока в бокале с водой. И чем оно больше, тем легче и легче.

Тело сходило с меня змеиной кожей, растворяясь, как весенний туман, и если бы в покои мои долетал хотя бы вздох рассветного бриза, не осталось бы и следа того, что все эти годы я обмывала, облачала, кормила, катала верхом и радовала снами.

В ослепительной тьме я с храмовым трепетом вижу, что я — гость в этом песочном замке. Мерно бьющая крыльями хрустальная птица моей жизни поймана чьей-то рукой и посажена в эту чуждую клетку. Чьей рукой? Чьей? Я боюсь спрашивать вслух. Потому что одна-единственная нота голоса может развеять тело без остатка. И еще потому, что мне вдруг стало страшно услышать ответ.

Но и этот вопрос поблек — его вытесняет, затмив собой все остальное, прохладное свечение, и мое сердце бьется двусложно: кто здесь? Тело сброшено, мысли выгорели дотла, мне больше нечего отдать. Слушиваются чешуйки — одна за другой. Лепесток за лепестком — их тысячи — я обрываю чайную розу. Я, чайная роза с тысячей лепестков, сбрасываю одежды: мои сны, и неясные образы, и бесформенные фантазии, мои нерожденные звуки, мои пелены безмолвия. Вращается, покачивается в абсолютной пустоте влажная юная золотая роза, и падают, падают, падают, кружась, лепестки, растворяясь, оставляя тень тени карамельного аромата. Облетают золотые одежды. Отец всех звуков — тонкий звон отрешения лепестка от цветка — органной рекой затопляет все слышимое от края до края. Бесконечно медленно, почти вне времени, истончается облаченье бутона... все крепче, острее аромат. Розы уже почти нет, она — растаявшая горсть тленного растраченного золота. А я — все явственнее. Ах, где же я? Развеиваются последние лепестки, и время с нарастающим утробным гулом — останавливается.

Так где же, где пристанище?

Все туже время, все шире, гуще и легче пространство.

Все — дрожь и гул. *Дрожь. Гул.*

— Фиона нола Ирма, время пришло! — Огромный, необозримо огромный голос срывает одним махом последнее осеннее розовое золото и бросает в небытие. И я успеваю узнать: *я все еще есть!* — и вот уж беснующеся пространство с оглушительным грохотом срывается вниз по камням, больно и немедленно воссоздает мое тело. Из темноты и аромата розы. А сверху, кружась, мягко ложится на пол воздушный шелковистый платок.

— Отойдите к стене.

Как это?

Но вот я уже отошла. Как же так?

Густая плотная широкая сеть бесшумно опустилась к моим ногам.

— Ложитесь в середину, свернитесь клубком. Завяжите глаза: вам вреден яркий свет.

Я есть отстраненное удивление, исполняющее приказы.

Сеть дрогнула, подалась вверх — медленно и без рывков.

Прошло одиннадцать спокойных вдохов и выдохов, и три пары рук бережно подхватили меня, извлекли вместе с моим телом из паутины. Нас поставили на ноги и взяли за руку.

— Следуйте за мной, фиона нола.

Мы шли не торопясь, и тело пьянело от звуков и множества забытых ароматов. Вверх, вниз по лестницам, стены каменные и теплые, а дом, где мы находились, — весьма и весьма просторный и, судя по запахам, состоятельный. Меня изумляло мое безучастное дымчатое любопытство — без всякого страха и суеты.

Остановились. Щелкнули дверные ручки. Меня в моем теле ввели в некую довольно большую комнату, судя по эху шагов — с высокими потолками.

— Теперь вы можете осторожно снять повязку, фиона Ирма. — С этими словами провожатый удалился и закрыл за собой дверь.

И вот тут-то вечерним ветром налетело волнение. Как дым, как неясный запах, как очень далекая музыка. Я не знала, что увидят глаза. Руки помедлили, а потом притронулись к узлу платка на затылке. Нежная ткань подалась, сухо лизнула мне запястья, сложилась мягкими складками на полу. Сначала все утонуло в молочке, потому что даже толика света, что ворвалась под веки, была велика для моих глаз, привыкших к слепоте. Но чуть погода я увидела.

В тщательно затененной тяжелыми гардинами *той же самой зале* спиной к черному провалу того же незажженного камина в высоком кресле сидел Герцог.

— Сулаэ фазтар¹¹, меда Ирма.

Глава 8

— Добро пожаловать домой. Простите, что прибытие слегка... хм-м... затянулось.

Зримое силилось сложиться воедино, но тщетно: все рассыпалось в моей голове на разноцветные осколки. Меня держали в темноте и одиночестве в *его* замке, по *его* приказу? Но с какой целью?

К моему бесконечному удивлению, ни один из этих вопросов не был оттенен страхом или негодованием. Тонкая, но непроницаемая, доселе не знакомая умиротворенность подсветила меня изнутри, и все происходящее представилось до странности контрастным, но мягким и... бездонно удивительным. Блаженно потерянная, я шурилась, озиралась.

В совершенной тишине беззвучно выкипали мгновения. Мне вдруг некуда стало торопиться. Герцог замер в своем кресле, я вмерзла в пол. Тихое слюдяное «м-м-м» висело в воздухе, и мы оба, казалось, замороженно слушали эту музыку, словно боясь ее спугнуть. Сквозь эту незримую текучую воду молчания все же услышала я голос Герцога, увидела его глаза — и громоздкие белые ладони, а в них какую-то хрупкую непонятную вещицу. И я просто двинулась к спящему камину — разглядеть, что же у Герцога в руках. Легко, радостно, без всякого понимания. Шаг, еще шаг — и еще. И Герцог поднимается мне навстречу и протягивает то, что я так хотела рассмотреть. Я тоже протягиваю руку. Легче воздуха,

¹¹ Сулаэ фазтар (*депп.*) — «всегда приходи», одна из особых фраз в языке, имеющая одновременно смысл «Ты всегда там».

она взмывает, как бабочка, и встречается с его пальцами. И вот уже между нами качается в тонком, как лезвие ножа, столбе солнечной дневной пыли крошечная сияющая роза.

И вместе с ней — зажатое в наших пальцах — дрожит и танцует между нами мое сердце. Я знаю, что плачу, я чувствую, как медленные тяжелые слезы ползут по щекам. И как Герцог еще медленнее, но легко, почти неощутимо, проводит кончиками пальцев мне по лицу.

Не пришлось ни о чем его спрашивать. Он просто усадил меня напротив, как в тот памятный, бесконечно далекий вечер, и поведал ровно то, что мне нужно было знать о нем и о замке. Я слушала будто во сне, словно бы стоя за собственной спиной.

— Вы не первый мой ученик, драгоценная фиона Ирма, кому неочевидно его назначение. Как видите, я был готов к этому. Вам, видимо, и сейчас не вполне понятно, во имя чего я обрек вас на испытание темнотой, не так ли?

Что это? Вопрос постучал мне в висок, требуя ответа. И я, новорожденная, выдохнула свои первые после Темноты и Тишины слова:

— Да. Нет. Герцог.

Я смотрела ему прямо в лицо, не мигая, не отворачиваясь, и блеск этих по-зимнему солнечных глаз возвращал мне мир человеческого. Я заново узнавала себя, облученную в совершенно другого человека.

— Меда Ирма, меня потрясает ваша лаконичность. — Я пробовала одно за другим разные выражения лица, и Герцог тихо посмеивался, глядя на меня: наблюдения за мной его явно развлекали.

— Слова... возвращаются издалека, фион тьернан... — Я катала на языке каждый звук — мне казалось, они имеют запах и объем у меня во рту. — Скажите, зачем я вам, Герцог?

Моя прямота неожиданно позабавила меня саму, и, родившись где-то в глубине тела, пробрался наружу и звякнул смешок. Губы Герцога тронула задумчивая улыбка:

— Вы — мой ученик, Ирма. С первых вздохов того самого ненастья. С того каприза обстоятельств, в которых ваши лошади понесли. Они понесли вас ко мне. Дерейн и Богран оказались в лесу в тот миг для того, чтобы случилось ровно то, что непременно должно было случиться. Вы приняли решение уехать и возвращаться лишь изредка, попить со мной чаю, — и тем самым дали себе возможность затеряться в потайном кармане времени, который — так уж сложилось — нашел на камзол вашей жизни я. И теперь с вас, как с драгоценности чистой воды, слетает шелуха пустой породы. А шлифовка... Всему свое время. История же вашего ученичества началась куда раньше. С того дня, когда умерла ваша мать, со дня, когда друг Ферриш был назначен вам в женихи. С той первой страницы в вашем альбоме, когда вас посетил ваш тайный «друг». С того разговора, когда отец описал предстоящую вам жизнь день за днем, год за годом — еще не прожитую, но прочтенную им, как с листа... С того мига, когда вы впервые пожелали сбросить с пюпитра нотную тетрадь, сыграть нечто невообразимо иное. Потому что вам много раз повторяли: вы — женщина, рожденная быть половиной мужчине, рожденная рожать, какое бы воспитание и образование вы ни получили. И какому-нибудь полоумному фиону не оставили даже проклятого права похитить вас — обречение с милым Ферришем отменило и эту возможность. Ни капли безумия. Никакой ереси.

Я слушала историю своей жизни, глядя в черный зев нерастопленного камина. Как сонная июльская вода, я впускала слова Герцога без плеска, без сопротивления. Каждое падало серым блестящим камешком, до самого дна, не рая этой воды, не бередя ее.

— Этот замок — самостоятельная и довольно старая вселенная. Гнездо исчезнувших дерри... В свое время вы многое о нем увидите и услышите. Пока же вам нужно знать лишь то, что замок этот — совершенно особая и очень мало кому известная школа. Школа Масти Канатоходцев.

Герцог неожиданно громко и как-то слишком звонко выкрикнул последние слова. И тут же в звездах фейерверка вспыхнула перед глазами картинка: несущиеся по лазурному небу облака, высь, перечеркнутая серебряной струной каната, и на нем — человечек в черном трико. Хрупкий хозяин высоты и равновесия. Всегда в одном дыхании от падения. Герцог учит этому?

— Да, фиона, — подтвердил Герцог, и опасная, столь памятная мне мечтательность наплатила воздух. — Я учу ходить по лезвию ножа, по виолончельной струне и горячей воде. Я также учу укрощать драконов, дружить с тиграми и ворковать с гарпиями. Я, кроме того, даю рецепты трансмутации свинца в золото, охры в аквамарин и сотворения эликсира непреходящей любви.

С трудом преодолевая немоту, я по слогам выжала из себя вопросы:

— Вы что же — алхимик-чернокнижник? Или содержите бродячий цирк?

В гробовой тишине затактом дважды успело стукнуть сердце, после чего Герцог, вцепившись в подлокотники и откинувшись на спинку кресла, захохотал, и этот смех немедленно заплел и меня в свои тенета. Царственное эхо замковых стен многократно повторило наши причитания и всхлипы — и доложило о нашем веселье другим обитателям дома; вскоре я расслышала робкие голоса в дверях:

— Медар Герцог! Герцог, а нам можно?

Мы замерли, уставившись друг на друга, — но лишь для того, чтобы захохотать еще громче.

Задыхаясь и утирая слезы, я, в конце концов, начала успокаиваться — и тут же поняла, что отлив оставил меня на полосе прибойа одну: Герцог смотрел на меня теперь почти серьезно. Все еще в пене и соли живого моря смеха, я, шальная и нездешняя, рвано вздохнула и огляделась. Меня окружало с полдюжины не знакомых мне мужчин и женщин — завораживающе разных, юных и взрослых, со взорами дерзкими и застенчивыми, рожденных на севере и юге. Все они были облачены в такие же темно-синие свободные туники, как моя.

— Словно искупались, меда Ирма, верно? А теперь знакомьтесь — ваши собратья по... — и он снова фыркнул от смеха, — бродячему цирку.

Глава 9

Меня разглядывали, оглаживали, оценивали — прямо, не таясь, — и я хмелела от незащитности, от того, что доверяю этим глазам. Доверяю им с первого взгляда. Молчание плескалось меж нами, бессловесное, безветренное, пока Герцог не насладился им вдоволь:

— Друзья мои, прошу беречь и открываться — фиона нола Ирма, к нашим и своим услугам... Или *меда* Ирма? — Острые взгляда вперились мне в висок, но испытание уже показалось мне бесцельным. Мы оба это знали.

— Меда, фион герцог. Меда. — Я слышала свой голос, я почти сразу узнавала его.

— Превосходно. — Кружевная манжета Герцога очертила незримую петлю — она заключила в себя эти прекрасные новые лица, эти сияющие очи. — Меда Амана. — (Серые-томные-огромные-влажные.) — Медар Мелн. (Синие-дерзкие-озорные.) — Меда Йамира. (Угольно-черные-бархатные-горячие, ох какие горячие.) — Меда Алис. (Орехово-карие-мягкие, почти

детские.) — ...Рид, кто это? Как я могла сразу не заметить его! Это же... — Медар Деррис, дорогая Ирма, ваш коварный похититель, прошу хотя бы жаловать, Рид с ней, с любовью.

Герцог не скрывал наслаждения сценой, а я вперилась в эти непроглядные глаза цвета вишни-паданки, а они в ответ прожгли насквозь мои. Деррис!.. Смятенные сумерки, ваймейнский говор, стук копыт, мои слезы, платок — все это вихрем пронеслось между нами, перемешиваясь, напиталось красками и тут же поблекло. И словно тугая, цепкая паутина, соткалась между мной и этим человеком странная, пугающая связь, без имени, без цели. Губы Герцога не шевельнулись, но готова поклясться — я услышала, как он шепчет: «Время настало, Деррис».

— Меда Ирма! — Наваждение развеялось, как странный сон. Распахнулась дверь, и через залу к нам поспешил красавец Дерейн, чтобы еще раз спасти меня. Я едва не бросилась ему навстречу.

— Дерейн, милый Дерейн, здравствуйте! Как я рада видеть вас снова! — И столько приветственной силы влилось в эти слова, что все улыбнулись, и даже Герцог вскинул брови:

— А-а, вот и ваш ангел-хранитель пожаловал. Ну, теперь почти все в сборе. Где же Локира?

— Она в саду, щебечет со своими розами, Герцог. — Голос Дерриса саднил мне слух, как царапина. Но, похоже, только мне.

— Идемте же в сад, меда Ирма, надо завершить церемонию знакомств. Богран в отлучке до вечера, но уже имел честь лицезреть вас мокрой в лесу. — (Фион Эган, я уже успела соскучиться по вашим остромам.) — Да, и он, конечно же, уже осведомлен о вашем... хм-м... чудесном вызволении. Все свободны до ужина. Праздничного, разумеется, посему извольте облачиться подобающе.

Сад Герцога околдовывал даже ненастным зимним днем. Нагими плакучими ивами, глухим бархатом туй, сырым ароматом причудливых сизых папоротников и пестрыми мелкими звездами диких астр, вспыхивавших среди буро-зеленых остриёв умершей травы. Влажный гравий хрустел под ногами.

Повинуясь прихотям разбегающихся тропинок, мы пробрались в самое сердце этой сдержанной предсмертной красоты. И вдруг волшебное золотое видение сковало мои шаги: в небрежной штриховке карликовых пихт притаился хрустальный купол зимнего цветника. Он сиял и светился в сырой мгле, как оброненная кем-то драгоценность.

— Герцог, это изумительно!

— О-о, моя дорогая меда, смотрите внимательно. Большого от вас, новорожденной, никто не ожидает. И второе: всякий раз, когда слова готовы сорваться с ваших прелестных губ, задержите их на языке, помедлите вздох-другой, прежде чем распылить вовне. Кто знает, быть может, их нектар будет намного слаще и полезнее внутри вас, чем снаружи.

И вновь я не нашлась с ответом — и снова была тому рада. Мы вошли в цветник, и запоздалое эхо с новой силой вернуло мне поучение Герцога. Розы. Лилии. И гиацинты. И орхидеи. И Рид знает, какие еще нежнейшие и трепетнейшие его творения наполняли собой эту опрокинутую магическую чашу. Янтарное сияние сотен свечей плескало, выскальзывало сквозь пальцы кипящей зелени.

Смерч ароматов кружил голову. Не я его вдыхала, а вязкий тягучий воздух — меня. Я не заметила, как глаза мои закрылись сами собой: не было сил выдержать натиск такого великолепия. Герцог мягко взял меня под локоть.

— Откройте глаза, меда Ирма. Помните, вы уже не имеете права дезертировать. Идемте, поищем нашу фею цветов.

Осторожно Герцог сделал пару-другую неслышных шагов, раскрывая занавес цветочного буйства. От куста лазоревых роз нам навстречу поднялась маленькая хрупкая женщина неувимых лет. Тонкие фарфоровые пальцы в крупных темных перстнях скользнули по небесным головкам цветов, слепо нырнули в волны седых прядей, бежавших от выпуклого матового лба к маленьким, будто нарисованным ушам. И вот уже взгляд сияющих изумрудных глаз смыкается с моим.

— Здравствуйте, меда Ирма.

— А вот и наш лесной эльф.

Локира бросает короткий взгляд на Герцога, и в нем — одна только нежная тишина. Мы стоим втроем среди этой невозможной, оглушительной красоты, вдыхаем чистую благодать, и у меня нет слов, которые стоило бы сейчас произнести.

— Ничего и не надо произносить, Ирма. Меда Локира, не забудь прийти к ужину — не усни среди гиацинтов хотя бы сегодня. — Насмешка Герцога впервые на моей памяти вдруг прозвучала как ласка. И он говорил ей «ты».

— Да, медар Герцог. Как вам будет угодно, дорогой медар.

Свирель этого голоса еще звучала у меня в ушах, а мы уже брели стемневшим садом назад, к тяжелым входным дверям.

— На приготовления к ужину у вас четыреста мгновений ока. Это праздник в *вашу* честь, дорогая меда. Поторопитесь же.

Когда я вернулась из сада, в моей комнате уже было натоплено, а на стуле рядом, разогретая танцующим рыжим каминным пламенем, меня ожидала новая темно-синяя туника — но особенная, не такая, как прежде: по ночной синеве разбегались мельчайшие серебряные искры. Чудесный тяжелый атлас изумительно играл в складках, а при движении матово посверкивал. Та же заботливая рука уложила широкими петлями на каминную полку длинный шнурок для волос, а также поместила крошечный флакон с неведомым, но несказанно тонким благовонием.

За дни, проведенные в «покоях», я приучилась отсчитывать время по стуку сердца, когда ему легко, по вдохам и выдохам. Поэтому, закрыв за собой дверь и заскользив по лестнице вниз, я знала, что у меня еще есть с дюжину мгновений в запасе. У зеркала напротив входа в залу я оглядела себя в который раз. Волосы умашены, туго переплетены и собраны в жгут на затылке, наряд облекает любовно, не лениво, лицо румяно, глаза блестят. Что ж, даже без двухслойного батиста и вуалей я достойна присутствовать на праздничном ужине. *В мою честь.*

— Меда Ирма прелестна нынче вечером, спору нет! — Я едва не подпрыгнула от неожиданности. За моей спиной и сбоку, не отражаясь в зеркале, стоял Деррис.

— Вы напугали меня, фион Деррис, — не оборачиваясь, проговорила я. С испугом и досадой удалось совладать почти сразу. Почти.

Деррис шагнул ко мне и теперь дышал мне в затылок. Я глянула в глаза его отражению.

— *Медар* Деррис, Ирма. Мы здесь — одна семья. Урок первый сегодняшнего вечера: на острие меж выдохом и вдохом, когда есть только *это*, только *вдруг*, вам

будет просто избежать подвоха, не оборачиваясь видеть все вокруг. Улавливаете?

Выбрать подходящий ответ — от сдержанного и прохладного: «Да, медар Деррис, благодарю вас», — до надменно-раздраженного: «Вы не Герцог, чтобы наставлять меня, медар», — я не успела: Деррис метнул в меня еще одно лезвие взгляда и исчез за дверями зала. Мне осталось лишь последовать за ним.

Зала сияла огнями. Немые чопорные кресла ожидали гостей, и лишь Алис и Мелн о чем-то оживленно беседовали, стоя у камина. Краткий миг и... О нет, медар Деррис, дудки! Я заметила его краем глаза — он стоял за створкой двери и молниеносно выбросил вперед руку:

— Позвольте проводить вас, Ирма?

К моему злорадному удовлетворению, Деррис тут же заметил, что на сей раз трюк не удался — я предупредила собственную оторопь и, закусив губу, чтобы не выдать детского торжества, присела в жеманном книксене:

— Разумеется, медар Деррис, благодарю вас за неожиданную любезность.

Я видела, что слово «неожиданную» вернуло Деррису его же копье, брошенное мгновенье назад: глаза его сузились, не дав мне оценить полноту моего реванша.

Я лишь вложила свою ладонь в его, и мы приблизились к паре у камина.

Где-то в глубине замка пробасил гонг, и словно на гребне этой бархатной ноты в гостиную вплыли, шумя и смеясь, остальные ученики. Сияя и переливаясь серебром и ночной синью, вся компания была чудо как хороша в сиянии свечей. Все гомонили, как лесные птицы, и каждый стремился подойти ко мне поближе, и каждый толкал перед собой незримое открытое сердце. Еще сегодня утром мы не были знакомы, а сейчас над нами уже сияло общее ночное солнце. Я с восторгом рассматривала моих новых друзей. Ни в одной из дам не было ни грана чопорности; правила хорошего тона,

которым я когда-то следовала чуть ли не во сне, здесь заменили на какую-то немисливо радостную свободную ребячливость. Мужчины позволяли себе класть руки на плечи дамам и даже гладить их по волосам — ничуть не оскорбительно, а скорее наоборот, тепло и просто, как обращаются с... любимыми женами! Я озадачилась разобраться, кто кому пара, но скоро отказалась от этой мысли: все были равно милы со всеми и (Рид милосердный!) обоюдно фамильярны!

— Привыкайте, меда Ирма. — Над моей головой зазвенел мальчишеский голос Мелна.

— Да, дорогая, стоит изменить пару-другую светских договоренностей, как голова начинает чувствовать себя лишней. — Алис положила мне руку на одно плечо, почти тут же на второе опустилась ладонь Дерейна. Нет, не поспела я еще привыкнуть к такой стремительности родства, но детская растерянность моя развеселила всех, а Алис и Дерейн, резвясь совсем в открытую, нарочно придвинулись еще ближе.

— Фьон герцог Коннер Эган! — Голос дворецкого перекрыл наш гомон, и все взгляды обратились ко входу в залу.

В темной раме дверей сияла и переливалась иссиня-черная тень. Вот она вплыла в зал, и блеск свечей разбрызгал фейерверк золотых искр, сыпавшихся при каждом движении его маэля¹². Одевание Герцога только этим и отличалось от нашего — как золото от серебра. У высокого резного кресла во главе стола Герцог замер и обнажил голову.

— Обретение ученика есть исполнение назначения Мастера. — Слова падали по одному и, казалось, разлетались на мириады стеклянных брызг. — Меда Ирма,

¹² Маэль (*depp.*) — свободное прямое мужское платье до пола, с широким свободным капюшоном; его складки образуют широкий ворот-«хомут», когда капюшон не наброшен на голову; облачение распорядителей цирковых и театральных зрелищ у дерри.

дочь Трора, ваше место здесь. — Герцог указал мне на пятое по счету кресло справа от себя.

Я словно примерзла к полу. Мысли беззвучно рассыпались и раскатились по углам, я позабыла дышать, а воздух наполнился пронзительным горячим звоном. Герцог не отрываясь смотрел мне в глаза. Но вот чья-то рука тихонько подтолкнула меня в спину.

— Иди же! — Переливчатый шепот сделал за меня вдох и выдох. Не чуя под собой ног, я сделала пару шагов к пятому креслу, с оглушительным скрежетом отодвинула его, упала между подлокотников, и безмолвное внимание обступивших стол знакомых незнакомцев затащило меня водоворотом.

— Последние слова вслух сказаны.

Один краткий жест Герцога — и все ученики тихо заняли свои места за столом. Пять женщин справа от Герцога и четверо мужчин — слева. Слуги подступили в молчании и принялись наполнять тарелки едой. Все приступило к ужину — без всякой спешки, обмениваясь лишь улыбками, взглядами и короткими жестами.

Что тут вообще происходит? Над праздничной трапезой висела почти храмовая тишина: постукивало столовое серебро, звякали бокалы да шелестели рукава. Я растерянно озиралась, и кусок не то что не лез мне в горло — я не могла даже взять в руки вилку! Остальные же, напротив, самозабвенно вкушали, наслаждаясь яствами и обществом друг друга.

С неслышным шелестом сыпался песок в часы на камине — и ничто, кроме его бормотания, не нарушало той живой шевелящейся тишины. Мне становилось все более не по себе, но мои соседи по столу, похоже, не обращали на мое беспокойство никакого внимания. Фраза Герцога о «последних словах вслух» запечатала мне уста, но когда не стало сил терпеть, я отважилась тихонько подергать за рукав сидевшую рядом со мной Йамиру:

— Меда Йамира, что происходит?

Я задала этот вопрос едва слышным шепотом, но показалось, будто прокричала его в часовне в разгар службы. Все немедленно замерли и уставились на меня. Все мои мысли, как рыбы в первую ледяную ночь, вмерзли в окостеневшую воду обратившихся на меня взоров, и в этой неподвижности я услышала мягкий, но внятный голос Герцога: *«Другого легче всего услышать в тишине. Мы разговариваем молча. Пробуйте».*

Я непонимающе перевела взгляд на медара Эгана. Не прерывая трапезы, он смотрел мне прямо в глаза. И я снова услышала... вернее — увидела картинку, нарисованную его голосом: ребенок, девочка, в которой я с изумлением узнала себя, стоит среди поля по грудь в траве, прикрыв глаза, и сосредоточенно ловит звоны кузнечиков. За картинкой последовали слова: *«Как — не существенно. Просто попробуйте».* У меня не получится! Я не верю... *«Ваше неверие значения не имеет. Достаточно того, что в вас верю я»*, — прозвучало в ответ.

Я попыталась разрешить себе на время сойти с ума и допустить хотя бы в фантазии своей, что могу слышать чужие мысли. Заглушить недоверчивое хмыканье рассудка мне вдруг помогли приглушенные, неясные голоса: словно ко мне навстречу через густой лес шла дружеская компания, пытаясь меня разглядеть за деревьями, окликая, призывая. Как масло и вода, мир расслоился на видимое и неслышимое. Бессловесные губы, неподвижные взгляды, полусонные стены, серебро и хрусталь. А за деревьями — небо, в листве — птицы, и они говорят. Со мной. Что. Они. Говорят? *«Пустое, Ирма, пустое. Поешь, просто поешь».*

Я молниеносно поворачиваюсь на этот голос. Это звон над голосами ищущих меня. Это птица над моей головой. Локира улыбается, размыкает губы, вдыхает и выдыхает — *«Ир-ма»*. — *«Я слышу!»* И меж стволов появляются они, выпархивают на прогалину, бегут

ко мне, размахивая руками: «Умница!» — «Нашлась!» — «С нами!»

Мне показалось, что сердце сейчас разорвет мне грудь. Я думала вздохнуть, рассыпая веером слова вокруг себя, раздавая их всем вокруг: «*Благодарю вас... Это невероятно... Как чудесно... Так просто!..*» Было сладко и хмельно, как никогда не пьянило вино. Я все смелее говорила им — всем разом и каждому по очереди — какие-то милые глупости, и они охотно откликались, беззвучно смеясь, подбадривая и направляя мое хрупкое несмелое внимание. Я пригубливала их внутренние голоса, упивалась ими, играла с ними в прятки.

Пир продолжался. И не странно уже было не слышать заздравных речей и звона сдвигаемых кубков: любовью мог обратиться ко всем сразу, лишь стоило этого пожелать.

Мы просто *были* вместе — все и разом, и каждый с каждым в отдельности, и не достанет мне слов описать эту совместность. Герцог острил в своей непередаваемо насмешливой манере, и его шутки более не ранили меня — я наслаждалась ими, как редким терпким вином. Мужчины балагурили наперебой, веселя дам, а те не прятали широких улыбок за платками, то и дело вскипали шумным смехом, размахивали руками, нисколько не заботясь о светскости манер, о правилах хорошего тона, которыми я все еще, по старой памяти, давилась, как сухими хлебными крошками.

На сладкое подали роскошный ванильный шербет, и тут, к моему невольному ужасу, началось нечто совсем уж невообразимое: Мелн зачерпнул полную ложку этого десерта и *протянул ее через весь стол* Йамире, а та, прикрыв глаза и совершенно непристойно улыбаясь, приняла подношение пухлыми губами.

Ошалела я, видимо, настолько картинно, что вызвала у всех неопишуемый восторг. Разумеется, меня тут же удостоили той же чести. Но из чьих рук, подумать только,

Рид Милосердный, — Дерриса! Чего мне стоило сохранить хладнокровие, соблюсти лицо, открывая рот на встречу неизбежному, не стану рассказывать, но попытка невзначай вымазать мне щеки и капнуть на платье была мною виртуозно пресечена — к немалой потехе присутствующих.

Когда убрали последние тарелки, Герцог поднялся из-за стола и все в той же оживленной тишине сделал знак Бограну и Амане. Те удалились в дальний угол залы и немного погодя вернулись, неся необычайных размеров шарну¹³ и какой-то неведомый инструмент, напоминавший удлиненную арфу. *«Это дизирисса¹⁴, драгоценная меда Ирма»*, — просвистел голос Дерейна. *«Благодарю вас, мой друг, да простится мне моя непросвещенность»*, — слетел мой застенчивый ответ. *«Обойдемся без формальностей»*, — вернулся его вздох.

Слуги поставили музыкантам высокие стулья. Богран пристроил шарну на колене, Амана уселась боком к нам, оперев дизириссу в пол. Глаза у обоих закрылись, и над ними словно возник купол тишины настолько глубокой, что все звуки и мысли, витавшие еще вздох назад в янтарном трепете свечей, завихрились воронкой, влились в эту перевернутую чашу — и растворились в ней без остатка. Все мы, без мига слушатели, разом прекратили думать.

...И расцветает музыка. Это пальцы Бограна на тугой коже шарны рисуют узоры, это Амана ласкает тетиву дизириссы. Это руки беседуют. Это вдохи чередуются неровно, наплывая друг на друга. Это влага ладоней умащивает удары и скольжения. Это впускают в себя вечный нездешний свет, вечный здешний воздух глиняные свирели — Богран, Амана. И я иду за пастухами, что играют на глиняных этих свирелях, — это Богран, это Амана. Они ведут меня высоким лугом,

¹³ Шарна — ударный инструмент наподобие бубна.

¹⁴ Дизирисса — старинный деррийский струнный инструмент.

по грудь в мятной траве, и солнце стоит в зените, и лоб Аمانы сверкает от пота, и балахон Бограна на груди темнеет от жара, и вдруг холодает, и травы сходят отливом, и обнажается базальт, и шаги гремят по мрачному камню, и налетает ветер, а небеса буреют, и тужатся громом, страшат, и вот уже первые капли ледяного дождя обжигают мне лицо, и мы уже на вершине, и угроза в этих бритвенных иззубренных валунах, и заходится смертным кашлем шторм, а две маленькие пастушьи фигурки, две пылинки в глазах бури, сидят на самом краю, над пропастью, и, кровя пальцами, продолжают заговаривать, заговаривать. Меня. Нас всех. Всю слышашую вселенную.

Но вот погасли грозные сполохи, осыпалось наваждение, но все еще как сквозь толщу воды вижу я размыто, неотчетливо хрупкие все еще дрожащие плечи Аمانы, ее замершие руки, и Бограна, словно истончившегося и помолодевшего вдвое, и шарну, с глухим стуком приставленную к стулу. И чашу тишины, наполненную до самых краев...

Далеко за полночь я вернулась к себе, без сил, без мыслей, без вчера и завтра. Речение Шесть — «О непристойности несдержного смеха и увеселений» — не успело и парой слов коснуться моего ума, а я захлебнулась. Распахнутая книга беззвучно соскользнула на пол.

Глава 12

Из недр сна меня выволокли насильно: чьи-то руки настойчиво, хоть и бережно, трясли меня за плечи. Раскрыв глаза, я в младенческом ужасе увидела над собой огромное бесформенное черное облако — темнее, чем сама тьма вокруг. Невольно вскрикнула — но знакомый голос тут же зашептал, успокаивая:

— Это я, Йамира, меда Ирма, не пугайтесь!

Буря неприбранных смоляных волос Йамиры, грозовое облако, принесла с собой бодрящий запах ночного дождя. Я приподнялась на подушке:

— Что случилось?

— Пора вставать на Рассветную Песнь. Ни о чем не спрашивайте — просто одевайтесь и идите за мной. Все увидите сами.

Все еще шатко держась за царапающий край сна, я выбралась из теплой постели. Камин уснул, похоже, вместе со мной, теперь в комнате было зябко, и я, поеживаясь, облачилась в свою тунику и, приветствуя плечами и бедрами каждый угол, спотыкаясь, выбралась за Йамирой в коридор.

По неосвещенным переходам гулял зябкий сквозняк. Редкие факелы чадили и потрескивали, и, казалось, весь замок с сонным недоумением провожает нас провалами черных зеркал. Мне было не по себе — вчерашняя музыкальная мистерия, не единожды преломленная во сне, все еще кружила голову.

Миновав полдюжины незнакомых коридоров и винтовых лестниц, мы оказались перед очень узкими высокими дверями. Возле них клубились еще две тени — Мелн и Богран. Завидев нас, они дружно улыбнулись и, не сказав ни слова, проскользнули в приотворенные таинственные двери.

— Разувайтесь и проходите, меда Ирма. — Следуя путеводному шепоту моей провожатой, я поспешно сбросила сандалии и вошла в залу.

Каменный пол леденил босые стопы. Скудный свет от пары коротких факелов принял меня в свои зажатые длани, и я не смогла разглядеть ничего, кроме первых в угадываемой долгой шеренге колонн, задрапированных ночной тьмой до полной незримости.

В сизых тенях здесь и там угадывались фигуры моих соучеников. Каждый был словно сам по себе: никто не оборачивался, не приветствовал вновь прибывших,

все лишь пребывали в покое и молчании. Мгновенно втянутая в этот заговор уединения, я просто села чуть в стороне, подоткнув под себя подол одеяния. Алмазную эту тишину царапала только сонная возня голубей где-то в смутной высоте сводчатого потолка. Воздух был напитан спокойным, несуетным ожиданием.

Я едва уловила, как чей-то еле слышный женский голос запел. К призрачному соло по одному стали присоединяться знакомые голоса. Я впитывала музыку горько-сладких слов — пели на дерри. Улавливала смысл урывками и могла лишь мягко раскачиваться в такт — но вскоре уже робко подпевала, прикрыв глаза, не разжимая губ, вплетаясь всею собой в тонкую, словно капризная струйка дыма от засыпающей свечи, мелодию. «Вот она, крошечная кислая вишневая ягода — это значит, облетел последний восковой лепесток цветка...» — шелестел где-то в паре шагов от меня голосок Алис. «Вот она, утренняя дрожь влажных ресниц — это значит, разорвана последняя пестрая прядь сна», — вторил ясным высоким нотам Локиры хрипловатый баритон Бограна. Мы пели, всякий раз прощаясь и приветствуя каждой строкой, и воздух над нами неутомимо наполнялся жемчужно-серым рассветным перламутром. Я распахнула глаза — и в один миг увидела все вокруг.

Тонкие многогранные колонны растворялись в полукруглых сводах белоснежной мраморной часовни. Там, где в храме положено быть алтарю, всю стену от пола до потолка занимал огромный витраж. Сюжет в рассветных сумерках было все еще толком не разглядеть, но и того, что мог показать утренний полусвет, завораживало сердце. «Вот оно, золотое полотно горизонта — это значит, угасла последняя ночная звезда», — звенящий голос Йамиры, повторенный бьющимся эхом, словно раздул тлеющие угли рассвета.

И — ослепление. Шлейф алмазных искр взметнулся от основания витража вместе с первым алым мазком восходящего солнца. Я узнала его — и поняла, как сильно стосковалась: прямо перед нами высилось исполинское изображение Рида, и с каждым мгновением оно напитывалось зарей новорожденного дня. Созданный из тысяч разноцветных прозрачных витражных пластин руками совершенного гения, Всемогущий шел к нам, распахнув объятия, и страсть этого приглашения подчиняла без остатка. Заново увиденный Бог Обнимающий пугал меня сильнее привычного с детства Бога Судящего, и от этого прозрения у меня кругом пошла голова. Вдруг мучительно, до дрожи, возжелалось заглянуть этому Риду в глаза. Чтобы увидеть, понять наконец, что может рождать такой ужас и такое притяжение. А солнце неуклонно восходило, воспламеняя витраж все новыми красками. Вспыхивали один за другим лазурно-синий, изумрудно-зеленый, чайно-желтый, лилейно-лиловый — вышивая, раздувая ветром, подсвечивая каждую складку плаща, каждую ленту в одеянии Рида. Пестрые блики играли на лицах моих новых друзей, и я в который уже раз впервые разглядывала их черты — безупречные, богоподобные.

И вот уже вся часовня до самых сводов расцветилась яростью красок, и все мы покоились на ее дне, словно в шкатулке с драгоценностями. И вот уж солнце поцеловало потолок, и распахнулись двери за нами, и по мраморным плитам растекся утренний ветер, и, по щиколотку в нем, к нам прошел Герцог. И оглушительный аквамарин брызнул с высоты: солнечный свет пронзил лик Всемогущего, его очи. До рези в глазах я вглядывалась в эту морскую синь — и никак не могла найти слов, чтобы дать имя этой плавающей силе, этому восторгу родства...

Герцог, крошечный и хрупкий, стоял, раскинув руки, запоркинув голову, словно тоже пытался заглянуть Риду

в глаза. Как ребенок, как брат, как возлюбленный. И вслед за ним поднялись остальные — и раскрыли Риду объятия.

Глава 13

Рассветная Песнь завершилась, но никто не торопился уходить. Не было Святых Братьев, некому целовать руки после службы, не было Священного Круга, который предписывалось обойти, прежде чем покинешь храм. И, конечно, никакой угрюмой суровости. Кто-то вполголоса разговаривал и посмеивался там и сям, разбредясь по часовне, кто-то остался сидеть на полу один, кто-то лежал на спине и безмятежно глазел в потолок. Как будто в саду или в салоне, а не в Храме Риды! Все вели себя так, будто я жила здесь с ними всегда, будто не впервые вкусила этого странного таинства. Лишь Герцог подошел и стоял предо мной, одаряя своей всегдашней *неслучайной* улыбкой.

— Герцог, дозволено ли мне будет остаться здесь еще немного? Рядом с... этим Ридом?

— Вы же никого не спрашивали, когда появились на свет, моя меда Ирма? Это примерно то же самое. Ваш Священный Круг — тут. — Герцог чиркнул указательным пальцем мне по тунике чуть ниже ключиц. — И потом, не далее как вчера вам прекрасно удалось слушать и слышать. Посему на многое вы получите ответы, даже не задавая вопросов вслух. Смотрите внимательно, и многие тайны поспешат вам открыться. — С этими словами Герцог покинул часовню, коротко кивнув ученикам.

Отлетало волшебство Рассветной Песни, невесомое, прозрачное. Я понятия не имела об укладе жизни в этом месте, не представляла себе течения дня в замке. Одним словом, даже мой следующий удар сердца таил в себе загадку.

Дерейн, услышав мысленную возню у меня в голове, поманил меня, и я с радостью подбежала к нему. — Вижу, вы бурлите вопросами, меда Ирма, — начал было мой дорогой спаситель, но тут в разговор ввинтилась хрипотца Дерриса:

— Особенно вопрос-сом о з-завтраке, не так ли, меда Новенькая?

— Нет, фион Деррис, снеть наша денная не есть единственное, вокруг чего вращается мой скудный фернский ум. — Рид Милосердный, никогда не приходилось мне говорить мужчинам подобных дерзостей. Как вести себя с этим неумным ваймейном? Особенно неприятно, что он прав: как раз о том, когда в замке принято завтракать, я и собиралась спросить Дерейна.

— Нехорошо обманывать старших. Вас разве этому не научили благовоспитанные кузины? — Зрочки Дерриса, казалось, сузились до змеиных.

— Откуда вам знать, что я лгу?

Оставшиеся в часовне ученики, не вмешиваясь, с любопытством прислушивались к нашему обмену колкостями. Гремучая смесь гнева, смущения и неловкости затапливала меня горячей багровой волной, но к ней примешивался и еще один, самый отвратительный ингредиент — страх.

— Откуда мне знать? Не вас ли вчера мы весь вечер *слушали*? Не ваш ли бессловесный лепет смаковали? — Деррис цедил слова по одному, отвечивал их, как пощечины. — Меда Ирма, разрешите напомнить вам, что здесь *слышно* многие гораздо более затейливые соображения. Особенно если они готовы сорваться с уст. А ваша очаровательная, но, увы, далекая от великомудрости голова читается, как раскрытая книга, уж простите за прямоту. И вторая по счету за последние двенадцать часов настоятельная просьба: здесь я для вас *медар*, а не *фион*. Нетрудно усвоить, нет?

Вперившись в полной немоте в лицо передо мной, я не слышала ничего, кроме клекота крови в ушах. Негодовала ли я? О нет. Я была в бешенстве! Но Деррис занес копые еще раз:

— О, вы решили окончательно отказаться от устной речи, как я погляжу? Похвальный шаг, но для *вас*, боюсь, преждевременный. — Деррис счел нотацию завершённой, развернулся и покинул часовню.

Не помню, как осела на пол. Меня отчитывали и воспитывали при новых полужнакомых людях. В храме. Не дали возможности ответить. Меня унизили. Меня выставили на посмешище. Злое бессилие. Бессильная злость.

Я зарыдала, размазывая по щекам едкие колючие слезы, меня били озноб и икота, а вокруг стояла полнейшая тишина. Никто из оставшихся не двигался и не заговаривал со мной, и я лишь слышала собственные судорожные всхлипы.

Вдруг я ощутила чью-то прохладную легкую ладонь на своем плече. Захотелось оттолкнуть эту руку, просто пойти ко дну, как давший течь корабль. Но лаковый этот голос колокольчиком спел мне «*Айо*¹⁵, *Ирма*», — и от неожиданности я вскинула голову и встретилась глазами с Локирой. В ее взгляде не было ни капли жалости, а лишь любовное озорство. «*Ты замечательно плачешь*».

Я поглядела на стоявших поодаль учеников. Амана и Алис улыбались и кивали, а от Дерейна я, прислушавшись, уловила тихое ободрение: «*Так надо. Все хорошо*». Мелн лежал на полу и, казалось, дремал, с совершенно блаженным лицом, а тут вдруг подал голос:

— Завтрак через полторы тысячи мгновений. У вас есть время умыться и привести себя в порядок. Все не сговариваясь покинули часовню. И словно закончилась эта небольшая Глава.

¹⁵ *Айо* (*депп*) — «диво», возглас, которым публика поддерживает понравившегося артиста или выступление.

Честно говоря, я не дошла до знакомой двери в башне.

Рассматривая свое заплаканное, припухшее лицо в посветлевших утренних зеркалах, я брела, внезапно потерявшись, без всякой цели. Не то чтобы наша пикировка с Деррисом никак не шла у меня из головы... Скорее, происшествия сегодняшнего утра повергли меня в странную задумчивость. Здесь, как всюду прежде, меня окружали, судя по обращению, стати и чертам, люди благородных манер, высокого происхождения. И, как мне всегда казалось, я вроде бы должна легко, не задумываясь, находить слова и жесты, подобающие обществу и обстановке. Каноны поведения вписаны были в самое существо мое. Но нет: аксиомы не действительны, законы отменены, правила оспорены. Я вновь — дитя несмышленное, и все, что выучено и затвержено за годы детства и юности, имеет здесь ту же ценность, что шелковое платье со шлейфом при верховой лисьей охоте.

Меньше всего на свете мне бы сейчас хотелось расспрашивать у обитателей замка о здешних правилах хорошего тона: «Скажите, как тут у вас принято парировать чтение тайных мыслей?» — или: «Что тут принято делать между полдником и вечерней молитвой — и вообще, вы вечером как молитесь, в саду или на башне? Танцуете или играете на барабанах? А слуг у вас призывают силой мысли, или мне положен серебряный колоколец?» Герцог недвусмысленно дал мне понять, что единственный способ разобратся — «смотреть внимательно». Оставалось лишь уповать на Рида.

В таких вот сумбурных чувствах меня вынесло на небольшую открытую галерею довольно высоко над землей. Отсюда открывался вид на южную замковую стену. Резной парапет ловко пришелся мне под локти, и я,

не задумываясь, оперлась на него и рассеянно загляделась на расстилавшийся передо мной пейзаж.

С этой стороны к замку почти вплотную подступал ольшаник, прозрачный в эту зимнюю пору. Ясный утренний воздух был неподвижен, а лес — хрустально тих. Мягкий двугорбый холм впереди теснил к замковым стенам узкую речку, сильно петлявшую меж валунов. Дымки над водой в этот час уже не было, но вода казалась явственно теплее воздуха. Смешливая болтовня реки унесла с собой окутавший меня сумрак, мне стало светло и бездумно. И тут к говору воды примешались знакомые голоса.

Из-за стены мне еще не было видно, но до меня долетел женский смех и басовые ноты мужской речи. И вот уж среди серебристых стволов замелькали знакомые синие одеяния. Лиц не разглядеть, но грива Йамиры, фарфоровый стан малютки Алис и могучие плечи Мелна я узнала сразу. Кто же четвертый?

Дерейн? Но нет, увы. Сегодня я, похоже, обречена лицеизреть клятый образ всюду: прыгая по камням и размахивая руками, компанию дополнял Деррис. Вы велели мне «просто смотреть», медар Герцог? Что ж, быть посему: стану, незримая, наблюдать.

Четверо, болтая и смеясь — ох, не надо мной ли? — подошли к крошечной песчаной отмели. Мелн через голову стащил с себя тунику, обнажив литой юный торс, и остался в коротких свободных портах. Я засмушалась, хоть глаз и не отвела: не каждый день мне выдавалось подглядывать за полуодетыми не слишком знакомыми мужчинами. Хорошо сложенными к тому же. В подглядывании, как меня учили в детстве, всегда полпуда непристойности, но я была уверена, что меня никто не видит. Дамы о чем-то оживленно беседовали, не обращая ни малейшего внимания на забавы мужчин. Меж тем Деррис последовал примеру Мелна, заголившись до пояса, спустился к самой воде, поплескал ладонью.

Йамира небрежно махнула рукой и залиvisto расхохоталась. После чего небрежно запустила руку под свою буйную гриву, коротко повозилась с воротом платья, и... оно, словно ширма кукольника, *рухнуло к ее ногам!*

Я невольно закрыла глаза рукой. Рид, мне же помешалось, правда? — с этой мыслью я осторожно взглянула вниз. Образ еретического Рида на садовом гравии в тот памятный, далекий, как звезды, день начертился в звонком, колокольном воздухе: Йамира, нагая, как январская яблоня, с визгом вспарывала воду в голубой прозрачной до самого дна заводи, а рядом с ней бил руками и поднимал каскады сияющих брызг обнаженный Мелн.

Как я ни силилась, собрать всю картинку воедино не получалось: нагой Всесильный царил безгранично, ослепляя, обезмысливая. Вот Алис, ежась и переминаясь с ноги на ногу, пробует пальцами ноги колкий бурлящий поток — и серебристая рыбка ее *тоже совершенно нагого* тела, заласканная пологим утренним светом вся трепетала от предвкушения ледяной воды.

А вот Деррис... Рид невысказанный, прости мне мое недостойное, мое преступное глазение, но какой красавец! Безупречное совершенство яростной юности этого тела вписано было в лазурь неба, в замороженность леса, в прозелень старых камней над водой. И обращенная к мутноватому осеннему солнцу грудь, раскинутые над кипящей водой руки дышали силой и королевской властью над собой. Чары этого видения развеяли Йамира с Мелном — фонтан ледяных брызг окатил Дерриса с ног до головы, и он с тигриным рыком ринулся в воду как раз между ними. Все смешалось в шумной потасовке, замелькали руки, ноги, спины, сырые плети волос. Я вдруг поняла, что совершенно по-детски счастлива — даже просто подсматривая за ними. А если бы мне к ним... Нет, ну это уже ни в сахарницу, ни в сухарницу. Рид, Рид, где мне спрятаться в этом замке от всех этих

обезглавливающих неожиданностей? Как мне разрешить себе видеть то, что я *вижу*, слышу каждое мгновение в этом заколдованном месте? Пожелать я себе могла бы лишь одного — не обретения ответов, а отсутствия способности задавать вопросы.

Глава 15

Кзавтраку я опоздала — и меня это несколько не спеленало неловкостью, как ни странно. Я вошла в залу, когда трапеза была в самом разгаре, но никто не обратил внимания на запоздалость моего появления; при том, что я неуклюже и с грохотом отодвинула кресло и чуть не сбила доверху налитый молочник. Я замерла, уныло ожидая шпильки от Дерриса, но он даже не повернул головы — беседовал с Локирой о прелестях фруктов со сливками.

Облегченно вздохнув, я принялась за чай. Меня вдруг озарило: иногда чем меньше извиняешься, тем проще окружающим извинять твои оплошности. Или даже вообще не замечать их. Герцог, драгоценный, не замечайте и вы меня подольше, пожалуйста, ну что вам стоит?

— Делаете успехи, меда Ирма! — Моя последняя мысль была крайне опрометчивой. — Да-да, и незачем таиться. И бояться тоже незачем.

«Сейчас главное — ни о чем не думать, ни о чем не думать», — заметалось у меня в голове, и я уцепилась за эту мысль изо всех сил. И тут же мне в затылок прилетело недовольное Деррисово брюзжание:

— Ох, Ирма, ну послушайте сами себя — мне даже вслух не перекричать это ваше «ни о чем не думать».

— Довольно, Деррис, вы превышаете полномочия. — Герцог несколько не повысил голоса, но Деррис немедленно и прямо-таки *ощутимо* унялся. — Как вы себя чувствуете, меда Ирма?

Смолистый покой и безмятежность Герцога, будто невидимые внимательные пальцы, расслабили какую-то потайную шнуровку у меня на груди, и я, вдруг исполнившись игривой радости, готова была забраться к нему на колени, как в детстве к отцу. Сердитая опасливость, кою неизбежно сообщало мне присутствие Дерриса рядом, убралась и притаилась до поры где-то там, за дверями залы, и, осмелев, я поделилась с медаром Эганом своим восторгом от Рассветной Песни. А то, что происходило сразу после, я постаралась целиком выкинуть из головы.

— Похвально, похвально. У вас все получается, как я посмотрю, меда Ирма. — Вот этого, простого и лаконичного ободрения мне так здесь не хватало, но я рано обрадовалась. — Однако мне бы хотелось подробнее обсудить вашу последнюю великосветскую беседу с медаром Деррисом, а также выводы, которые вы сделали из созерцания маленькой водяной феерии полчаса назад.

Я оторвала от лица льняную салфетку: казалось, она того или гляди затлеет, так горели у меня щеки. Никогда еще столь сосредоточенно я не созерцала узор на столовом фарфоре.

— Да, фион Герцог, разумеется, фион Герцог.. Извините, фион Герцог.

Последняя моя фраза утонула во всеобщем веселье. «Они здесь неприятно много хохочут», — подумалось мне, и всем немедля стало еще смешнее.

— Меда Ирма... — Мелн едва мог говорить сквозь смех. — Ваше присутствие... ха-ха-ха... ваше присутствие — неоценимый подарок в этом скучнейшем из замков!..

— Не обращайтесь на них внимания, сокровище... Это все — совершенно любя!.. — вторила Мелну белозубая Йамира.

— Избыточный смех во время трапезы вредит пищеварению. — Слова Герцога немедленно утихомирили

учеников, но лесной пожар их веселья все еще потряскивал сучьями — все продолжали хихикать исподтишка. — Не смущайтесь и не сердитесь на них, милая Ирма... Терпение, фионы, — и кое-кто из вас, весельчаков, еще отведает ее перца, помяните мое слово. — Медар Эган обвел стол лукавым взглядом. На ком он дольше задержался, не возьмусь сказать, но, кажется, я все-таки успела заметить.

Когда все поднялись из-за стола, я попыталась улизнуть потихоньку вместе с дамами, но то была наивная неумелая попытка увернуться от неизбежного. Герцог позволил мне дойти до самых дверей — и совершенно спокойно окликнул меня:

— Вы обещали мне разговор, меда Ирма. — Я замерла как вкопанная. — Только не повторяйте сейчас вашего «извините, фион Герцог», договорились?

— Да, фион Герцог..

За моей спиной закрылась дверь, но я все-таки слышала, как прыснул этот негодяй Деррис.

Глава 16

— **Р**асскажите же мне, меда Ирма, что такого случилось с вами, пока Деррис... э-э... выказывал вам знаки внимания нынче утром в часовне?

Ну вот, опять я смущаюсь и робею перед этим человеком. Это нашу гадкую перепалку с ваймейном он изволит именовать «знаками внимания»? Что, Рид Великий, он имеет в виду?

— Прошу простить меня, фион Герцог, быть может, вы неверно осведомлены, но Деррис весьма огорчил меня, оскорбив незаслуженно.

— Нет-нет, я не сомневаюсь в достоверности того, что услышал о сегодняшнем утре. Позвольте заметить

вам, драгоценная фиона, что это *вы* неверно осведомлены о произошедшем.

Последняя фраза окончательно загнала меня в тупик. Я воззрилась на герцога, ожидая дальнейших объяснений.

— Предлагаю вам взглянуть на случившееся с другой галереи. Вообразите, если бы Деррис произнес свою тираду не на фернском, а на родном ваймейнском. Какое бы вам было?

Я послушно представила себе подобный разговор и ответила:

— Вероятно, ничего особенного я бы не почувствовала. Я бы, конечно, решила, что он чем-то раздражен и насмешничает надо мной, но меня бы это почти не тронуло.

— Именно. Громовые раскаты над крышей бессловесны и невнятны человеческому уху — не таят ли они в себе угрозу бури?

— Разумеется, да.

— Но вам не приходит в голову оскорбляться, слышав гром, не так ли?

— Нет. Гром же обращается не ко мне лично, а Деррис... Ну и потом — я все-таки в своем уме... Простите за резкость, Герцог.

— Не стоит извинений. Деррис, предположим, тоже обращался не совсем к вам. Получается, что, обидевшись на Дерриса, вы были, как сами изволили выразиться, не в своем уме?

Услышь я эдакое от кого-нибудь еще, я бы вспыхнула. Но я уже плыла в потоке этого разговора и, кажется, впереди замаячили берега понимания. Помедлив, я ответила:

— В некотором роде так. А к кому же еще он обращался, если не ко мне? И да — мне приходилось замечать, что гнев сужает мой мир до размеров амбразуры, в которую видно только моего обидчика, и я могу только

целиться по нему из арбалета, не размышляя... Я словно теряю рассудок.

— Замечательная наблюдательность, меда Ирма. Теперь посмотрите пристально. Лишь хрупкий налет вашего знания фернского — о, не вспыхивайте так, Ирма, ваше умение изъясняться и писать стихи не имеет в данном случае никакого значения — отравил чистые воды вашего сознания. Потому что вы якобы поняли, *что* и *кому* сказал Деррис. На самом же деле *своего* ума у вас в тот момент не было ни на грош. Потому что иначе вы бы отнесли к тому, что наговорил вам наш общий друг, как к грому за окнами. То, что заставило вас гневаться и позднее проливать слезы, — не от *вашего* ума.

— А от чьего же, в таком случае?

— Назовем его «умом взаймы». То, что вам одолжили ваши родители, кузины, тетки и гувернантки. То, что не пришло в мир вместе с вами. То, что вы старательно и столь успешно освоили за ваши краткие годы земной жизни, и как раз то, что заставляет вас снова и снова страдать от смущения, вспыльчивости, робости и всех остальных «творений» вашего заимствованного ума. — Герцог помолчал, словно разглядывая мое лицо, а затем продолжил: — Все это применимо и к тому, *что* и *как* вы успели подумать, пока подглядывали за невинными утренними забавами на воде... Вот сейчас, вмиг, Ирма, ловите скорее за хвост залетную эту мысль, что выпорхнула из-за слова «подглядывали». Тень ее крыльев — пятна у вас на щеках, ее клюв целит вам в живот. Чувствуете, как он вдруг напрягся? Эта птица — лазутчик ума взаймы. Вас уже учили в детстве, что подсматривать нехорошо. Тем более — за голыми купальщиками.

Я вдруг услышала отцовский голос: отчитывая меня, граф Трор говорил вдвое тише обычного, и от этого делалось только хуже. Я давилась отравленной водой стыда: меня однажды выпорол за подглядывание!

— Вот-вот. У вас, я вижу, получается. А теперь послушайте, меда Ирма. У вас есть глаза — это означает, что вы имеете полное право видеть. Это так просто. И второе. Рид пришел нагим. Впрочем, как и все мы, включая вас, кстати. А теперь отправляйтесь на башню над залой. Присоединитесь к нам, когда удостоверитесь, что ваши глаза вам не лгут, а созерцание наготы не вредит вашему юному здоровью.

Герцог дал мне знак, что аудиенция окончена, и отвернулся к камину, а я отправилась исполнять приказанное.

Глава 17

Я провела на башне весь день, а когда стемнело, бесшумно вернулась к себе. Я вертела в руках «Житие», и мне казалось, что если я сейчас его открою, слова стекут на пол чернильным дождем и книга останется пустой и чистой.

Ничто привычное не осталось на своем месте, и самый главный текст моей жизни, написанный на родном фернском, неумолимо обращался в россыпь чужих непонятных звуков. Мои «вижу» и «чувствую» противостояли моим «знаю» и «помню». Я попыталась обратиться к Риду, но мне было нечего добавить. Мы все сказали друг другу там, на башне... Друг другу! Вот те на: за одно это меня впереди ждет пара бесконечностей в рабстве в алмазных копиях Всемогущего. Я вообразила рыхловатое лицо брата Алфина: редкие бровки сведены в негодовании, а глухой суровый голос клянется, что все будет доложено отцу и не избежать мне розог, а он, Алфин, не станет заступаться за меня перед Ридом, когда придет мое время. «Рабство Рида — навеки, фиона! Навеки!». Но куда-то делся весь трепет — а ведь сколько раз в детстве тонула я в ледяном озере ужаса

при одном упоминании о возмездии Всемогущего. Сейчас я вполне могла бы даже надерзить Святому Брату. Нестерпимо хотелось поговорить с кем-нибудь. И этот «кто-то» не заставил себя долго ждать: вскоре ко мне в дверь негромко постучали, и, заранее улыбаясь, я поспешила открыть. Ко мне, оказалось, пожаловал Дерейн.

— Добрый вечер, медар! Чем могу?..

— И вам, драгоценная меда, — хотя вернее было бы сказать «доброй ночи»! Вы столь громко желали компании, что я решил ее вам немедленно составить. Не желаете ли побыть недолго на воздухе?

Я не стала говорить ему, что и без того провела весь день «на воздухе». Точнее, на пронизывающем ветру, на башне. Но его визит доставил мне столько радости и был так желанен, что я готова была снова вдыхать студеной зимний воздух.

Мы вышли на галерею — и тут же погрузились на самое дно глубокой ночи. Шелестел дождь. Воздух — густой, влажный — мигом пропитал одежду. Во тьме все казалось иссиня-чернильным, а слабые блики от огней со двора, слизнули с лица Дерейна разом все узнаваемое, лишили привычных черт. Передо мной предстал совершенный незнакомец.

— Вы скучаете по дому, меда Ирма?

— Да, медар, — через силу произнесла я. — Когда начинает казаться: вот, я вроде бы знала все, а теперь — будто совсем ничего. Когда негде спрятаться от вопросов. Ведь я могла бы прожить свою жизнь совершенно счастливо и безмятежно. Правда же? Могла бы?

— У жизни есть некоторые сложности с сослагательным наклонением, маленькая меда, — вполголоса проговорил Дерейн. Почему-то меня вовсе не задело это словечко «маленькая», хотя я была уверена, что мы почти одногодки. — Но тем не менее — да, могли бы. В самом деле, мало кому судьба ссудила встречу с Герцогом.

Мало кому понятно, кто у них на пути... У вас был жених, меда Ирма?

— Был... Вот вы сами говорите так, будто само собой разумеется, что моя жизнь уже распалась надвое необратимо. — Мне вдруг стало грустно и холодно. — Да, у меня был жених. Ферриш. Мой старый друг, замечательный, милый сердцу. Друг, почти брат. Великий фантазер и затейник. Первый бунтовщик против брата Алфина.

— Брат Алфин — ваш наставник из Святого Братства, надо полагать?

— Да-да. Знаете, Дерейн... Ферриш очень любит... любил... меня. — Я произнесла эти слова, и все внутри вдруг остро сжалось: я почувствовала, что меня уже нет в живых. — По эту... сторону жизни я, похоже, никому не нужна. — Мне стало пусто и холодно.

— «По эту сторону», как вы изволили выразиться, Ирма, все только начинается. А вы уже успели впасть в уныние.

— Что же, по-вашему, должно меня подбадривать и убеждать в обратном?

— Я не предлагаю вам верить в то, что вы будете *нужны* — и притом так же, как некогда Ферришу.

— Вот именно. Я хочу просто любить и быть любимой. Мужчиной. Страстно, пылко, до самой смерти. Этого же достаточно, разве нет? — Станный *некто* произносил эти слова за меня, а дальше я почти перестала узнавать собственный голос: — И чтобы Рид забрал меня после смерти не в свои алмазные копи в тяжкое рабство, а дал мне резвиться на его горных лугах и вечно играть с цветами.

Дерейн повернул ко мне голову. Влажно прошептали по его отсыревшему платью темные косы.

— Ирма... Вам стоит разобраться, чего же вы на самом деле хотите. — Ночь между нами нагрелась от его улыбки. — Мне кажется, я беседую и с вами, и с братом Алфином одновременно.

Я осеклась. Дерейн был прав.

— Не знаю, медар. Видите, я уже совсем ничего не понимаю.

— Ну, допустим, и с той памятной ночи, когда вы волей провидения оказались в замке, путаницы прибавилось не намного: весь этот балаган, с вашего позволения, у вас в голове существовал всегда. А в отношении загробной жизни у меня к вам другое предложение: не бесконечной прогулки среди горных трав посмертно желаю я вам, а... как вы сказали?.. «Страстно, пылко, до самой смерти» — но прямо с Ридом, и забудьте о посредниках.

Я прикусила язык и испуганно вжала голову в плечи.

— Не богохульствуйте же так люто, медар Дерейн! Даже в стенах этого гнезда ереси!

Дерейн негромко хохотнул:

— Ирма, вы обворожительны в своем юношеском невежестве.

Я вздохнула, не скрывая обиды:

— Я уже успела привыкнуть к тому что меня тут держат за придворного паяца. Не обессудьте, медар Дерейн, но я не напрашивалась вам во взысканницы.

— О, полно, меда Ирма! У меня и в мыслях не было вас обидеть. Все ответы будут вашими: они уже на пути к вам, просто не все легко переходят на галоп.

Отчего-то хотелось ему верить. Отчего-то стало чуть спокойнее.

— Тогда что же все-таки вы имели в виду под... э-э...

— Любовью с Ридом?

— Ох... Дерейн, говорите же тише!

— Меда Ирма, перестаньте так волноваться — никто здесь не собирается жечь вас живьем. И я, к сожалению, не смогу рассказать вам сейчас многого. Простите, что раздражил ваше любопытство: мне казалось, Герцог раскрыл вам больше разных... хм... не могу даже назвать их «секретами» — когда их узнаешь, сразу понимаешь,

что никакие это не секреты. Но если кратко, то, пожалуй, так. Рид — всего лишь имя. Название некоего качества. Как, например, сладость. Сладость есть в тысяче вещей, даже совсем вроде бы не сладких, когда пробуешь впервые. Понимаете?

— Не уверена. Продолжайте, прошу вас.

— Но стоит только распознать тонкую эту сладость — и любое блюдо станет вам десертом. Рид — вкус карамели во всем.

Собственная бестолковость донимала меня все сильнее:

— Простите, Дерейн, но я действительно не улавливаю течения ваших мыслей. Хоть и очень стараюсь, — добавила я осторожно.

— Полноте, не огорчайтесь. Я тоже понял не сразу. — Не успела я вздохнуть с облегчением, как Дерейн продолжил: — Вот вам ребус потруднее: как вы сами справедливо заметили, вам — и не вам одной, — хочется любви, а она — не чувство. Вернее, не чувство от человека к человеку.

Час от часу не легче. Я прекратила всякие попытки разобраться на месте, решив отложить разгадывание загадок на потом, а сейчас просто выжать Дерейна досуха:

— А что же?

Ответ дали не сразу. Дерейн подбирал слово.

— Это — как дышать.

Блестящее дополнение к моему собранию шарад. Мы помолчали. Спать не хотелось вовсе. Напротив — стоять бы здесь, облокотившись на пахучее сырое дерево балюстрады, до самого рассвета, до первых птиц, и упиваться этим странным удовольствием — просто слушать, разговаривать и разрешать себе полное, блаженное непонимание.

— Расскажите, медар, как вы попали в замок.

— О, это долгая история, Ирма. Как раз до Рассветной Песни.

— Вот и замечательно! В самом деле, не идти же спать на какие-то жалкие полчаса, не так ли?

Я слушавила, и Дерейну это было вполне очевидно.

— Ну вы и лиса, маленькая меда. Ладно, я постараюсь уложиться в ваши «полчаса».

Дерейн примолк, погрузившись в воспоминания, а я слушала плеск агатовых капель в бочках под водостоками — смутную поступь ранней зимы по ею же заплаканной воде.— Рос я довольно замкнутым мальчиком. Нас у родителей было пятеро, я — самый младший. Род обднел еще за пару поколений до меня, но отец не продавал ни пяди наших угодий. Во многом — из гордости, но в более всего — потому, что в наших лесах водилось несметное количество дичи. Все Л'Фадины слыли взятыми охотниками...

Я немедленно вспомнила эту фамилию. Л'Фадины! Некогда — поставщики стола самого Короля-Лорда!

— Про Л'Фадинов говорят, что мы рождаемся в седле. Мои старшие сестры — ни дать ни взять эльфийские царицы: неукротимые, азартные, яростные охотницы. Обе вышли замуж с некоторым трудом, до того непросто было найти женихов им под стать. Сами знаете — кровь фернов за последние двести лет обмелела до крайности. Особенно мужская. А мои сестрицы оценивали мужчин, как примеряются на базаре к молодым жеребцам. Не говоря уже об очень скромном приданом...

Сколько себя помню, старшие били дичь десятками голов за одну охоту. Псарня занимала половину дворовых служб, остальное — конюшни. В поместье обсуждали исключительно прить только что купленных молодых гончих — или поголовье лосей и кабанов, или скорострельность новых арбалетов. Не могу сказать, что мне были противны эти разговоры. Нет. Они просто не вызывали во мне ровным счетом никакого интереса, и на семейных застольях я просиживал безъязыким

истуканом. Мне иногда казалось, что родня толком не помнит моего голоса. Но тем не менее родители и сестры меня по-своему любили, особенно мама, и, к моей вящей радости, почти не обращали на меня внимания — вплоть до моей первой охоты.

Мы загоняли дикого кабана. То была парадная охота — палую листву с нами топтали лошади еще трех соседских семей, и отец вовсю красовался перед ними. Своими собаками, лошадьми, егерями, угодьями. И своими удалыми детьми.

Лесная удача благословляла наши ягдташи: походя забили с дюжину зайцев, и я уже не помню, сколько крупной птицы. И довольно бы, и хватит уже. Но отец, войдя в раж, был совершенно неумен. Я знал, что лишь густые сумерки смогут остудить его пыл. Мне вдруг стало не по себе: я горячил свою лошадь и не уступал отцовской ни головы, и видел его налитые кровью глаза, его искаженное кровожадным азартом лицо. Мне казалось, что встречный ветер стирает с него все человеческое.

Мы преследовали зверя так долго, что он в конце концов выбился из сил. Егеря успели ранить его, и кабан уже давно метил кровью желтеющую траву. Довольно скоро мы прижали его к скалам. Кабан заметался. Еще два арбалетных болта застряли в побуревшей шкуре. Мы подъехали совсем близко, и отец вдруг велел мне спешиться.

Я повиновался. Кабан бился в нескольких шагах от меня, капая розовой пеной с клыков. Я смотрел в его налитые бессильной яростью и ужасом глаза.

«Размозжи ему голову, сын», — приказал отец, и я понял, что он вздумал устроить мне фаэль д'акасс¹⁶.

До того дня ни одно живое существо я не лишил жизни умышленно. И вот я стоял теперь над этим страдающим телом, и вся охота ждала, чтобы младший Л'Фадин

¹⁶ Фаэль д'акасс (*дерр.*, *букв.*) — посвящение в мужи.

поступил как настоящий мужчина-охотник. На меня вдруг навалилась снеговая тишина. Время отняли у меня, увели землю из-под ног. Охотничий топорик не тянул руки, лезвие не ранило сжимавшей его ладони, воздух остановился у губ, небо присело надо мной, замолчали босые деревья. Я видел только глаза моего кабана. Которого, по обычаю, мне предстоит освежевать самому. И я знал теперь, что брат Муцет врал мне: Рид никому не отказал в душе.

— Вас страшило отнимать жизнь? — Я сама себя еле слышала.

— Нет, меда Ирма. Не мысль о том, что я сейчас отниму жизнь, поглотила меня. Мне словно явлен был волшебный фиал, а в нем — эссенция самой кабаньей жизни, ее смысл, ее суть. Я не услышал ни слов, ни звуков, не прочел звериных мыслей, но будто сам лежал на жухлой траве, истекая предсмертной пеной. Мы были единым целым. Мы *узнали* друг друга, и знание это прострелило меня, и я, словно выхватив сгусток жизни этого зверя самым сердцем своим, выпустил его, как почтового голубя, из груди — в холодеющий воздух. Жизнь эта, будто крошечная шутиха, пронзила воздух надо мной, обдав меня мимолетной волной тепла. И восторгом освобождения, и бессмертия, и силы. И всё... осветилось. Кабан был мертв. Я взглянул на отца, все еще улыбаясь: «Он мертв. Его незачем добивать».

«Ты — червяк, а не мой сын, ясно? Ты должен был убить его сам, а не стоять и пялиться, дожидаясь, пока он издохнет». — Отец ронял слова ледяными каплями, но они, казалось, оставляли подпалины в осенней листве. — «Мы возвращаемся домой. Я еще поговорю с тобой, слизняк Л'Фадин!»

Охота сдержанно захихикала. Мой отец в ярости пришпорил коня.

На пути назад я сильно отстал от всех. Мне было все равно. Впервые в жизни меня не страшил отцовский

гнев. Я знал, что меня будут сечь: розгами отец вколачивал в нас житейскую мудрость — и все равно, дочь заголяла перед ним зад или сын. Я был совершенно пьян. Пьян той безмерной радостью, которую пережил с моей четвероногой жертвой. С моим первым учителем. Лес вокруг совершенно преобразился. Надо мной, вокруг, рядом и далеко, била крыльями сама Жизнь. Я не помню, как держался в седле. Все благословленное дышать мерцало и трепетало на мили окрест — и в моей крови. Ярость и жажда существовать летела надо мной незримым верховым пожаром. Я спал наяву. Жизнь всегда побеждает, а смерть всегда освобождает, — кричал и пел немой прежде лес, и в этом, а не в пыльных пустых словах брата Муцета, был *подлинный* Смысл. Будто все живое нетерпеливо ждало моего пробуждения и теперь взхлеб говорило со мной.

Отец выдрал меня нещадно. Собственноручно. Я равнодушно принял экзекуцию, не противясь, не извиняясь, не моля о пощаде. С того дня я обрек себя на одиночество в семье, на бесконечные насмешки. Мать пыталась вступаться за меня, но отец вскоре прилюдно запретил ей меня опекать. «Это семейное позорище может быть хоть как-то смыто, когда мозгяк сам загонит и убьет что-то приличное!» Вердикт отца был окончателен и не подлежал обжалованию.

В своей отлученности я нашел совершенное прибежище.

Я оставался один в лесу, сколько мне заблагорассудится. Пусть и единственный сын, я утратил всякую ценность в глазах семьи. Я опозорил отца в глазах всех соседей. Я не бил дичь. И не был главным наследником. Никого не заботило отныне, что со мной и где я. И я не тосковал. Ну, быть может, лишь самую малость.

- Сколько же лет вам было тогда? — спросила я.
- Двенадцать, меда Ирма.
- Рид Милосердный, совсем ребенок!

— Да-да, почти как вам сейчас, — улыбнулся Дерейн.

— А что же было дальше? — Я пропустила мимо ушей этот ехидный комплимент.

— Я стал уезжать все дальше от родового гнезда. Сама жизнь неудержимо тянула меня в бесцельные странствия по округе. И вот однажды, почти заблудившись, я наткнулся на крошечную сторожку вдалеке от всех хожёных охотничьих троп.

Коновязь была новенькой, и сам домик выглядел так, будто незримые для меня лесничие не оставляли его надолго. Дверь стояла незапертой. Я вошел и огляделся. Вполне обычный охотничий домик со всегдашней незатейливой утварью. И лишь обилие темно-синего в обстановке — вечные весенние сумерки под этой крышей — заворожило меня совершенно, прямо с порога.

Вдруг от потолочных балок донеслись тихая возня и чириканье: небольшая лазорево-голубая птица скакала по темному мореному дереву. Птица нимало не испугалась меня, не удивилась моему появлению.

Весь раскрывшись ей навстречу, я силился постичь, что она здесь делает и как у нее вообще обстоят дела. Птица была счастлива и довольна жизнью. Очень скоро спустилась ко мне, и мы с удовольствием уставились друг на друга. Я поискал в карманах, чем бы ее угостить, наскреб горсть семян и хлебных крошек и протянул ей подношение. И вот она уже устроилась у меня на запястье и даже позволила себя погладить. Неудивительно: с тех пор как я остался один на один с великой Жизнью, ко мне на плечи спускались самые разные крылатые, иногда — и без моей просьбы. Но эта птица была чудом из чудес. В фернских лесах не водится такая краса. Она переливалась всеми оттенками аквамарина, а пух на груди и брюшке отливал древней сталью. И только макушка с лихим хохолком цвела золотом одуванчика. Мне показалось, что птица кокетливо

давала себя разглядывать, и я прямо-таки влюблялся в нее все больше. В мои четырнадцать она стала, наверное, моей первой ассэан¹⁷.

Мы просидели с ней до темноты. Мне совсем не хотелось уезжать — так покойно и тихо было в этом странном доме, затерянном в лесу, что я решил там заночевать. Спать на земле я давно привык. С удобством разместился на полу перед нерастопленным очагом и быстро и сладко заснул, а моя новая подруга пристроилась прямо надо мной, на кухонной полке, под боком у огромного медного котла.

Глубокой ночью я внезапно проснулся. В доме явно кто-то был. Я приподнялся на локтях и огляделся. Этот кто-то сидел у стола, спиной ко мне, тяжелый темный плащ покоился рядом, небрежно брошенный на скамью. За окном ворчал дождь — прямо как здесь сейчас. Чуть погодя незнакомец, не поворачиваясь, произнес: «Если желаете спать дальше, спите на здоровье. Вы не храпите и потому совершенно не мешаете мне».

Я опешил. А немедленно после — сильно смутился. «Простите, фион... Я не знаю вашего имени, но прошу великодушно извинить меня за вторжение».

«Отчего же, не стоит извинений. Вы никого не стеснили и вдобавок порадовали Айриль¹⁸».

Тут я заметил, что моя лазоревка уютно примостилась на столе у правого манжета незнакомца.

«О, так это ваша ручная птица? Я очень рад знакомству с ней — настоящее чудо! Где вы ее взяли?»

«Нет, она не моя и не ручная, *медар*». Последнее слово зацепило меня. Деррийский у меня весьма приличный, я прилежно учил его сам, без понуканий, и поэтому слово «медар» обожгло меня своей... наготой.

¹⁷ Ассэан (*депп.*) — пылкая, но преходящая влюбленность, свойственная юности.

¹⁸ Айриль (*депп.*) — незабудка.

Ночь поредела, и я увидела, как Дерейн лукаво покосился в мою сторону. Он же как ни в чем не бывало продолжил:

— На каком основании, любопытно узнать, этот незнакомый фион так обращается ко мне? Меж тем хозяин дома — насколько я мог судить — не оборачивался и что-то, похоже, записывал, голова его клонилась к столешнице, и отблеск свечи целовал его в безволосую макушку.

«Я не верю в приручение, медар, — вдруг добавил он. — Эта птица вольна выбирать, где и с кем ей быть. Пока ей нравится мое общество. Равно как и ваше, насколько я могу судить. Но это — ее выбор».

Я плохо понимал, как далее беседовать. И вообще — как вести себя. И тут незнакомец ответил на мое замешательство, словно я задавал вопросы в голос...

Дерейн перевел дух. Он казался сильно взволнованным. А я уже давно поняла, о ком он ведет речь. Но как же мне нравилась интрига этого рассказа! Я с упоением желала слушать дальше — дальше читать эту волшебную повесть. И Дерейн не заставил просить себя вслух.

«Вы, верно, голодны, мой юный медар?»

«Да», — растерялся я.

«Ну так садитесь же к столу. Будем ужинать». — Радущие хозяина было мне тем более приятно, если учесть, что я вломился в чужой дом без приглашения и не стал бы обижаться, выстави этот великодушный фион меня под дождь — за бесцеремонность. — «Гостей, которым рады хозяева, следует потчевать, медар, а не выдворять. Вы не согласны?»

Я вступил в танцующий круг свечного меда и рассмотрел наконец лицо человека, который стал моим настоящим отцом. Вы ведь уже догадались, Ирма?

— Разумеется.

— Умница. Да, это был Герцог. А сторожка — та, в которой несколько лет спустя и сколько-то недель назад ночевали ваши слуги.

Я разглядывала профиль Дерейна — рельефный на плоскости сизого неба, ибо ночь уже грезилась рассветом. Дождь стих, и первые птицы уже завопили, забормотали свои имена. Дерейн выставил руку, и редкие тяжелые капли с навеса заплескались в сложенной чашей ладони.

— А дальше начинается сама история, меда Ирма. Герцог пригласил меня в замок — просто погостить. Мы выехали на рассвете, мы говорили вполголоса, полужразами, словно знали друг друга всю жизнь. Я рассказывал ему историю всей моей недолгой жизни, а он лишь кивал, не перебивая и не задавая вопросов. Он был первым среди двуногих, в ком я чувал такую незамутненную силу жизни и такую же безыскусность. Стоит ли говорить, что я остался в этом замке и покидал его, лишь когда Герцог высылал меня... э-э... «на этюды»?

— О чем вы?

Дерейн смотрел прямо перед собой, кусая губы, пытаясь не расплыться в хитрющей мальчишеской ухмылке. Мне опять не расскажут самого интересного!

— Так что же, Дерейн? — И я, капризное дитя, даже подергала его за рукав.

— Ну, вам пока рано, маленькая меда. Желаете дослушать историю?

— Сделайте одолжение. — Кажется, вот теперь я всерьез решила надуться.

— Пару дней спустя я съездил сообщить родным, что поступил на службу к одному богатому фиону и отныне более не собираюсь обременять их своим присутствием.

— А они?

— Отпустили меня, именем Рида! Ни на чьем лице не прочел я хоть сколько-нибудь заметного разочарования или печали. Отец лишь холодно бросил, что был бы рад, если я как можно реже стану попадаться ему на глаза. Мать расплакалась и шепнула на ухо, что все одно любит меня и чтобы я иногда появлялся, давал о себе знать. Мы

дважды в год видимся тайком на окраине наших угодий — в День Света¹⁹ и в весеннее равноденствие.

— Она знает что-нибудь о?..

— О Герцоге? Почти ничего. Не думаю, что ей стоит это знать.

Тщетно пыталась я разглядеть сожаление или хотя бы тень грусти в глазах моего собеседника. Дерейн вдруг облекся мудростью и... невыразимым зрелым покоем, невозможным для его лет.

— Сколько вам сейчас, медар Дерейн?

— Двадцать два, маленькая меда.

— А вам не кажется?..

— Мне кажется — и еще как, — что если мы не поторопимся, то не успеем в часовню к началу. Д'арси²⁰?

— Д'арси, Дерейн. Спасибо вам.

— Фарми калас'аэль о калас'кими²¹, меда Ирма.

Глава 18

Мы успели в часовню как раз вовремя и снова встречали рассвет. Пошли вторые сутки без сна, но я не желала забываться, а хотела бодрствовать как можно дольше, пока не стану валиться с ног. Вновь слушала музыку и деррийскую речь, пытаюсь запомнить слова молитвы, которая и была ею, и не была.

Утро выдалось сумрачным и дождливым, и Рид смотрел на нас затуманенными глазами, словно подернутыми грустью. После того, как мы допели Рассветную Песнь, ко мне подошла Локира.

¹⁹ День Света — День рождения Рида, согласно архивам Королевских Списков.

²⁰ Д'арси (*депп.*) — «Идем?»

²¹ Фарми калас'аэль о калас'кими (*депп.*) — «Благословен слушающий и смотрящий», сценическая формула благодарности актера зрителю.

— Я буду расписывать сегодня стену в мастерской. Приходите после завтрака туда. Придете?

Мне показалось, что я слушаю щебет птицы у меня на плече. Смысл слов бежал меня.

— Мастерская? Но я не умею рисовать...

— Так может казаться, но это неправда. Вы приходите.

— Хорошо, я приду.

У оплывающего горячим воском дня без начала и конца вдруг появился стержень — у меня тоже есть теперь дела. Определенность эта меня несказанно обрадовала. Я намеревалась, как только все допьют чай, увязаться за Локирой, но та улизнула из гостиной задолго до окончания трапезы. Однако Богран, без труда прочитав мои нехитрые мысли, предложил проводить меня до мастерской.

— Это совсем в другом крыле замка, вы заблудитесь. А Локира строго-настрого велела мне довести вас в целостности и сохранности. — Он улыбнулся, и я в который уже раз невольно засмотрелась, как неверный свет его улыбки озаряет изнутри это иссеченное шрамами, но такое спокойное лицо, эти глубокие морщины, как изгоняет ненадолго сумрачные тени из старых печальных глаз.

— Благодарю вас, медар Богран. — Надо обязательно улучшить момент и поговорить с ним, мелькнуло у меня в голове, невзначай может стать ясно, чем он опечален... Невнятным эхом услышался мне шепот брата Алфина: мол, дурно совать свой нос в чужие дела, грешно не умерять любопытства, — и тут же стих. А Богран меж тем не отпускал моего взгляда, и я слушала его шершавый, плотный голос: «Витражный Рид всегда немного печален в дождь... зима стелет нам всем постель, но мы не уснем, о нет... не ходите только босой, меда, простуда — худшая неволя...» Я молча кивала или даже поддакивала, но слова текли отдельно от его взгляда.

Тонкая серебристая пелена тихой осенней грусти незримо ткалась в воздухе между нашими лицами.

Мы медленно шли по сырым прохладным переходам и лестницам. Шаги отдавались приглушенным эхом, и мы невольно разговаривали тише. Мы пересекали круглые залы-перекрестки, где сходилась несколько боковых коридоров, и дымный серый полусвет пробивался иногда сквозь высокие окна. Я вскользь поглядывала на спутника. Высокий лоб когда-то давно устал, широкие скулы ожесточились, волосы поседели, когда меня еще не было на свете. В ту памятную ночь, в лесу, когда разбилась моя повозка, а вместе с ней, похоже, и вся моя прежняя жизнь, я не успела разглядеть его. Помнила только, что он показался мне много старше Дерейна. Теперь я видела, что он был заметно моложе моего отца, моложе Герцога. И все же... Скупое свечение дня перебирало серебро щетины у него на щеках.

— Медар Богран, что привело вас в замок?

Богран глянул на меня с отеческой усмешкой:

— Совершенная случайность. Что может быть вернее?

Я не нашлась с ответом.

— Уместно ли будет просить рассказать мне вашу историю?

— Уместно, меда Ирма. Вполне уместно. — И я снова обрадовалась: мне удалось разжечь еще одну улыбку на этом ненастном лице. — В начале этой истории есть молодой влюбленный, только что женившийся барон, его жена — весенний цветок, их поместье в соснах, челядь, охотничьи псы и лошади. Есть также богатая коллекция доспехов и оружия, потому как барон — страстный любитель одноручных и особенно двуручных мечей, большой мастер сражений на всем тяжелом и обоюдоостром. В конце же истории — лишь безымянный человек, у которого есть только он сам да горстка воспоминаний, а еще возможность видеть, слышать,

чувствовать. И узкая полоска времени, которая непрерывно движется, норовя ускользнуть из-под ног. Это время — сейчас.

Слушая его, я изо всех сил старалась не дышать. Чтобы не спугнуть.

— Барон был пылко влюблен и женился-таки на юной особе из очень бедного рода, затерянного где-то в медвежьем углу Северной Доли. Дева эта стала хрустальным колокольцем в изголовье его ложа. Она была его влагой, воздухом и светом, его днем и ночью, его песней и молчанием, огнем тела и вином ума. Рука об руку скакали они под бронзовыми соснами, ели дикий мед у селян и охотились на куниц. Но слишком скоро нехорошее облако сложилось у горизонта и наплыло на безмятежную синь небосклона. — Богран вдруг обернулся ко мне и лукаво спросил: — Нравится ли вам моя сказка, Ирма?

Я опешила. Слепой сказитель разглядывает своих слушателей.

— Нравится... Конечно, нравится, медар Богран, продолжайте. А достойна ли я вашей поэзии — не знаю, право.

Богран загадочно хмыкнул.

— Вынужден огорчить вас, драгоценная Ирма. Дальше все гораздо прозаичнее. Барон начал ревновать свою красавицу к любой коновязи. Поначалу слегка, с милыми безобидными шутками, а потом — с упреками. За каждый третий взгляд, за каждый второй, за каждый первый. Слуги, конюхи, заезжие вассалы, горшечники, кузнецы, пекари — любой, кто носил штаны, оказался под подозрением. На конюшне принялись сечь не переставая, да и тех, кто сек, секли не реже. Баронессе запретили покидать замок, а затем и женскую половину без сопровождения барона. Чуть погода — и свои покои.

Чем жестче стерег барон свою любовь, тем больше кровило его сердце: уже не любит она его так, как прежде. Ночи не приносили радости, дни прогоркали,

потому что уже стало нельзя носиться привольно верхом по окрестным лесам и купаться в озере: в лесах нет-нет да и попадались дровосеки, а у озера сиживали рыбаки. Ничей глаз не должен был касаться обожествленной баронессы, и она не смела дарить своей улыбкой никого, кроме барона.

Крошились и осыпались месяцы. Баронесса становилась все тише, все реже говорила она с бароном, погружаясь в глубокое, как омут, молчание. Она все еще отвечала «люблю» на изнурительные расспросы мужа, но сама ни о чем говорить с ним не желала. Барон давным-давно позабыл про сон, осунулся, постарел и забросил фехтование. Многие слуги ушли или сбежали, и только крепостные слонялись тенью по двору, кое-как приглядывая за хозяйством. И вот однажды прекрасная баронесса замолчала совсем, а очень скоро — слегла. Барон обезумел. Со всей округи созвали знахарок и ведьм — а то и притащили силком, чтобы они присоветовали, как врачевать баронессу. И все в один голос повторяли, что баронесса чахнет без любви.

«Как так, “без любви”?! — восклицал барон. — Да я души в ней не чаю! Каждый ее взгляд на вес золота, каждая улыбка!»

Ведуны только плечами пожимали — и уходили поскорее, не то гнев барона мог стоить им головы. А одна возьми да и скажи: мол, есть один знахарь в деррийских лесах, который от такого недуга враз лечит.

Барон призадумался. *Знахарь!* Мужеска пола, ясное дело! Да как же я его в башню к драгоценной моей допущу? Уж несколько лет ни одна мужская нога, кроме моей собственной, не ступала даже на двор у ее стен!

Время шло мимо всех — а мимо баронессы оно летело. И вот уж седая старая бабка, что варила для жены «бодрящий чай», сказала барону — встав поодаль, чтоб, неровен час, не прибил, — что баронессе жить осталось, по всему видать, считанные деньки. И барон решил.

Как двое суток тенью метался по лесам, он не помнил. Не забыл только, что в одной охотничьей сторожке сказали ему обождать. А через пару часов на пороге возник человек в темно-синем плаще с глухим капюшоном и бросил сухо: «Едем. Медлить нельзя». — И сразу в седло.

Барон схватил его за стремя: «Кто ты? Как звать тебя?»

«Поговорим, когда баронесса будет вне опасности. Да и ты тоже». — И синий плащ плеснул на ветру.

Не было у барона времени на церемонии и чинные беседы. Он ринулся вослед странному лекарю. По дороге тот допрашивал: «Выкладывай все. Всю вашу жизнь».

И барон все поведал — и глаза его стыли от встречного ветра.

Или от слез?

Вихрем примчались они в поместье. Лекарь, не медля ни минуты, не дожидаясь провожатых, двинулся на женскую половину. Барон едва поспевал за ним — и содрогался при мысли о том, что сейчас этот человек и его жена встретятся глазами. Рид Всесильный, как же это! У самых дверей человек в плаще замер и обернулся к барону:

— Твою любимую могут скоро увидеть очи смерти. Мои — не страшнее. Я буду творить обряд ослепления смерти. Не смей входить. Войдешь — ее не станет. Да и на твою жизнь я ни гроша не поставлю, — сказал знахарь, зашел в спальню и захлопнул дверь.

Барон скулил побитой собакой и корчился под дверью всю ночь. Каленым железом выжигало ему грудь и живот, липкий холодный пот застилал глаза. Что он там делает с ней? Смотрит на нее? Прикасается? Видит ее обнаженные кисти, стопы, шею? Рид Милосердный, а вдруг!.. О Всевышний, пощади же душу мою! Голова горела, хинной отравой текло глиняное время. Мужчина! Рядом с ней! Барон, затаив дыхание, слушал и слушал, что же творится там, в святая святых, в его храме. В его аду.

Он столько раз порывался открыть дверь и посмотреть, что же там происходит, что так и остался на коленях, вцепившись в тяжелое кованое кольцо. Злая, безумная ревность рвала его на куски. «Кто этот человек?! Откуда он? Что он задумал? — визжала-надрывалась маленькая злобная тварь у него в голове. — Тебя надули, глупец! Этот человек овладевает твоей женой, прямо сейчас, а ты сидишь, несчастный рогоносец, и послушно пускаешь слюни под дверь!»

Впилась эта bestия барону ржавыми зубами в грудь, и взвыл барон в голос. Нечеловеческая сила тянула его открыть дверь, ворваться в комнату, убить, изуродовать этого самозванца. Он уже знал, знал наверняка, что тот сейчас плавит в соитии его красавицу, его драгоценность... Его шлюху, его полумертвую падаль...

Что это? Шакалий вой меж висков на мгновение затих. Последние слова барон выкрикнул вслух — и полумертвый сделался от того, что сам же и сказал. Шатаясь, барон поднялся на ноги, сделал несколько шагов прочь от проклятой двери, упал и заплакал. Страшно, горько, дико. А потом слезы прошли, и наступило тяжкое мутное забытье...

Он очнулся, когда утро уже облизнуло верхушки деревьев. Барон сел, потом встал, медленно, ломаными осколками вспоминая минувшую ночь. Пыльный свет лился из распахнутой двери женской опочивальни, а кругом висела совершенная, неземная тишина. Барон вошел в комнату, и неведомое, внезапное облегчение овладело им, как сладкий полуденный сон. Спальня была пуста.

Мы подошли к мастерской. Я никогда не нашла бы дорогу назад: рассказ Бограна залучил меня в свои кружевные тенета, и я потеряла счет шагам.

— Медар Богран, пожалуйста, расскажите же, куда подевалась баронесса? И что стало с бароном?

Мой вопрос словно вернул Бограна из далекого далека.

— Барон нашел письмо на подушке. Всего несколько строк, написанных рукой баронессы, — о том, что волею Рида и с помощью «сущности света, неопишуемой, сияющей» она смогла не только встать на ноги и одеться, но и получила от сущности сей наставления, что делать дальше. Баронесса отправляется, как велено ей, в уединенный замок где-то в Западной Доле, совсем рядом с морем, где она должна поступить в ученицы к некой герцогине. Имен баронесса не упоминала. Быть может, опасаясь преследований, быть может, потому, что просто их не знала. В конце записки — краткое «прощать не за что, люблю» и ее инициалы.

Не стану описывать дни и недели, которые барон провел в полном уединении, отрекшись от всего мира. Скажу только, что несколько месяцев спустя поместье он продал, крепостных распустил. А сам отправился на поиски «сущности света, неопишуемой, сияющей».

Много стылых бестелесных месяцев искал барон लेकर в синем, и вот, оборванный и больной, забрел в одну таверну на перекрестке старых деррийских дорог, «Ниший и еретик». Нехорошее место, не благословенное — так говорили о нем Святые Братья, и местные богобоязненные ферны обходили его стороной. А кабак-то древний, мало таких сыщешь теперь, и мало где играют такую музыку, как здесь, чтоб плясали даже ветхие старики, которые и эль-то свой без чужой помощи допить не могут. Почти засыпая над кружкой темного, филином полуночным скользя над обрывами пьяного сна, барон увидел, как из дальнего угла поднялся и направился к выходу человек в темно-синем плаще.

«Постойте! — крикнул барон, сорвался с места, полетел через два стула кувырком по полу прямо к ногам

пришлеца. — Вы лекарь? Тот самый? Я всюду искал вас. — И вдруг странные чужие слова сорвались еле слышно с его губ: — Примешь ли меня... учитель?»

Вопрос тут же показался дурацким ему самому: он никогда не видел лица того человека и теперь кидается на любого незнакомца в синем! Но человек произнес всего пару слов — тихо, на непонятном барону языке: «Сулаэ фаэтар». И барон немедленно узнал этот голос.

Я, затаив дыхание, ловила последние капли пролитого Бограном хмеля. Но слепой сказитель молчал. И пока он молчал, я вспомнила, что это значит — «сулаэ фаэтар».

Глава 19

— **В**от мы и дошли, принцесса, — улыбнулся Богран и тишина между нами развеялась, как неясный дневной сон. Он пропустил меня внутрь и, не сказав ни слова, прикрыл за мной дверь.

Локира уже плыла мне навстречу из глубины мастерской, заставленной подрамниками. Фарфоровая прохлада ее ладоней пролилась в мои.

— Добро пожаловать, меда Ирма. Было отчаялась увидеть вас — негодник Богран наверняка заговорил вас до смерти. — Я внимала Локире, и меня вдруг озарило: голос каждого человека в замке был словно отдельным существом, так много в голосах этих было живого, плотного, сложного. И я могла бы часами, закрыв глаза, впитывать тембры своих соучеников и наставника. Расслышивать, перебирать каждый звук вслепую, на ощупь, по наитию.

— Нет, напротив — я благодарна медару за опеку. И за его рассказ тоже. — Я будто очнулась от грезы наяву.

— Вот и чудно. Проходите, осматривайтесь, а я, с вашего позволения, пока продолжу.

Я с удовольствием подчинилась. Под мастерскую отвели довольно просторную залу, неяркий свет пасмурного дня серебрил холсты во множестве — неразборчивые наброски и готовые картины, — аккуратные стопки нарезанной крупными листами бумаги, горки линялых ветошек, литые стаканы с кистями всех видов и размеров. На старинной дубовой стойке, заляпанной суриком, виселись сложенные одна поверх другой деревянные коробки с пигментами, а рядом — два раскупоренных флакона: с ядовито-зеленой и огненно-оранжевой краской. Пахло клеем и сырой известкой. Здесь, похоже, дневали и ночевали, воздух был пестр и насыщен.

Присев над кипой бумажных клочков, на которых кто-то смешивал краски, я разглядела в разноцветных пятнах, нанесенных будто без всякого умысла, птиц, рыб, цветы, штандарты и шутовские колпаки. Мутное солнце успело слегка повернуть голову, пока я упивалась игрой цвета, крутила так и эдак подмалевки — и вдруг наткнулась на чудную картинку, испещренную крошечными бабочками самых сочных оттенков. Они сновали по листу меж бесформенных клякс, то спасаясь от потеков, то ныряя в разливы краски. Сама не знаю, почему, я сложила листок втрое и спрятала в рукав: позже спрошу у Локиры, кто из учеников — такой страстный любитель крылатых однодневок.

Локира меж тем увлеченно возилась у дальней стены. Я приблизилась. Фея цветов, не оборачиваясь, проговорила:

— Вот, изволите взглянуть?

Она отступила на шаг, и моим глазам открылся водяной каскад. Он словно бил прямо из стены. Над бурным потоком роились брызги, и лазоревая птичка висела в нескольких пальцах над безмолвно кипящей водой. Как птица Дерейна! Неожиданная, будто бы случайная связь между истекшей ночью и живым днем обрадовала меня — чудо простого совпадения. Нарисованная вода

рвалась из плоскости в пространство, и мне захотелось смочить руки в этой недвижной струе.

— О-о, пока не трогайте — она еще не подсохла, эта вода, — смеясь, предостерегла меня Локира.

— Это чудесно, меда Локира! — замороженно прошептала я. — Я так не умею...

— А вы попробуйте!

С этими словами она выдернула откуда-то чистый лист толстой желтоватой бумаги и протянула мне. Я тут же получила ответ на свой немой вопрос:

— Рисуйте все, что придет в голову. Не заботьтесь о предмете, не думайте о том, получится или нет. Потому что не получиться не может. Просто берите краски, кисти, устраивайтесь поудобнее и — постарайтесь заснуть.

— Как это — заснуть?

Еще одна шарада. Но Локира снизошла до объяснений:

— Обыкновенно. Позвольте себе соскользнуть в дрему, дайте предметам вокруг жить своей жизнью, словно вас нет рядом. Во сне же нет ничего постоянного, верно? Все течет и переливается из одного в другое, и у табурета отрастут крылья, а мольберт отпустит шевелюру, как у Дерейна... А из стены, быть может, побежит ручей!

Моя наставница определила мне уютный светлый угол, я пристроила лист на колченогом складном столике и принялась откупоривать краски.

Я восторженно вздыхала над каждым цветом, высвобожденным из заточения. Никогда прежде не доводилось мне рисовать, у нас дома в гораздо большей чести были музыка и верховая езда. Живопись отец почему-то считал сумерками рассудка. И поэтому вспыхивавшие в моих руках один за другим аквамарин, охра, пурпур пьянили и чаровали меня — и да, погружали меня в радужную полудрему.

Повинуясь набравшему силу наваждению, я взялась за кисть. Локира не мешала и не помогала мне. Казалось,

она полностью растворилась в своей работе, а я и рада была: сейчас любой присмотр связал бы мне руки. Я не понимала, что же буду сейчас рисовать. Дерево за окном? Стул напротив? Локиру со спины? Скланку с краской?

Я занесла руку с кистью, обмакнутой в изумрудно-зеленый, и теперь парила над сияющей белизной, слушающая, как сердце отстукивает удар за ударом. Свобода и безмолвие чистого листа заклинали меня от первого мазка. «Сейчас на нем ничего нет, и кто-то мог бы изобразить на нем что-нибудь по-настоящему красивое. Я же просто испорчу его», — мелькало у меня в голове.

— Ошибки здесь быть не может, — раздался голос Локиры. Я вздрогнула, и с кисти сорвалась тяжелая капля краски.

Я ахнула: на моем замечательно чистом листе расплылась безобразная клякса. Дитя, незримо обитающее во мне, горестно засопело.

— Меда Ирма, взгляните же, какая лошадь!

Я подняла голову. Локира указывала пальцем на мою кляксу. Приблизившись, она бегло перебрала связку кистей, вытянула из жестянки самую тонкую, обмакнула ее в краску и — в три молниеносных движения явила мне из бесформенного пятна удлиненную морду лошади с раздутыми ноздрями и лохматой челкой. Из-под челки на меня косил горящий зеленый глаз.

— Но как же это?.. — начала было я, но Локира прервала меня:

— Вы все знаете сами — просто не бойтесь пробовать. Где она сейчас, ваша лошадь? Бежит через мокрый от росы лес или взбивает копытами горный ручей? Начните — мазок к мазку, вволю, — и она вам сама подскажет. Главное — не стреноживайте ее своими страхами.

Осторожно, кусая от напряжения губы, я окружала голову моей лошади цветами и травами — беспрестанно себе напоминая о наказе Локиры не бояться. Оказалось,

устав от долгой скачки, она пасется в осоке, а вокруг — ни души, только цветы и высоко над кронами деревьев — луна. Очень скоро меня даже перестало смущать, что моя лошадка — зеленая. Рисую цветки ночного табака, я вспоминала, как они выглядели в роще за нашим замком; обернутые тьмой стволы деревьев получались яростно-резкими, но скоро я поняла, что, вероятно, стоит полная луна, потому тени такие густые. Круп лошади получился толстоват, а ноги — худосочными, но скоро мне стало понятно, что лошадь — полукровка, ей простительны такие несовершенные пропорции...

Я очнулась, когда Локира потрепала меня по плечу и позвала на обед. Ах как не хотелось уходить: картина осталась незавершенной, не хватало облаков на небе и одиноко летящего филина.

— Позже закончите. День долог. Время никогда не ограничивает себя. — Локира заправила мне за ухо выбившуюся прядь.

Мы рука об руку вернулись в залу к обеду. Все уже сидели за столом, оживленно переговариваясь. Когда мы заняли свои места, Герцог обратился к нам:

— Так как же зовут вашу зеленую лошадь, меда Ирма?

— Изумруд, медар герцог. — Мой ответ утопили в смехе.

Резвясь вместе с остальными, Йамира льняной салфеткой потерла мне подбородок, затем щеку, затем переносицу — и подала мне. На салфетке, разумеется, красовалось ядовито-зеленое пятно.

За обедом среди общего оживления мне выпало немного поболтать с Алис. Пришлось с веселой обреченностью признать, что ничего-то я не понимаю в людях: за ангельской личиной девочки-эльфа скрывался шкодливый лукавый бес — но умный, обаятельный и сердечный. Мелн время от времени принимался шутить,

встревая в наш разговор. Он заявил, что при первом свидании с виду я — ну совершенно невыносимая фернская гордячка.

— А стоит поговорить или уж тем более помолчать, — добавил Мелн, многозначительно вскинул бровь, и отрава шуточки попала мне в кровь; я вспыхнула до корней волос, — как становится понятно, что вы, в сущности, милое, безобидное и очаровательно неуклюжее существо... *Смотреть и видеть* — не одно и то же; мы все *глядим, увидать* мастер может, — подмигнул мне умник-Мелн.

И вновь Герцог оказался прав: я вольна была обидеться на Мелна за его двусмысленные комплименты, вольна была расценивать его манеру говорить как снисходительную или высокомерную. Но вольна же была и разглядеть, что он не забросал меня мелкими острыми камешками, а осыпал драгоценностями. И от этого осознания расцветали цветы и пел ветер в моей груди.

Взобравшись на этот красивый холм и любуясь новыми пейзажами с Мелном и Алис, я напрочь забыла об остальных. Обед меж тем завершался, но не все из нас остались за столом до конца.

Глава 20

После обеда я поспешила в мастерскую — дописать мою лошадь. Дорогу назад я как-то ухитрилась запомнить, когда мы возвращались с Локирой, к тому же мне показалось, что Изумруд призывно ржет и перебирает копытами.

Закрыв за собой дверь, я устремила к столику, но картинка своей на нем не нашла. Вероятно, ее сдуло сквозняком, и я, проворно опустившись на колени, заглянула под мольберты, пошарила в полумраке под стойками с краской. Рисунка нигде не было.

Уверенная в полном своем одиночестве в мастерской, я шумно возилась и передвигала вещи, сопела и озадаченно бормотала себе под нос... Куда же он мог запропасться, мой набросок? Но постепенно, невесть как, я почувствовала, что уже не одна в мастерской. Неловко выбравшись из-за комода, я едва не вскрикнула. Надо мной возвышалась фигура Дерриса.

— Рид Милосердный, как вы меня напугали, фион Деррис.

— Медар, драгоценная Ирма, неужели вы действительно так же беспамятны, сколь и невнимательны? Ваша лошадь ждет не дождется вас. Я уж молчу про «фиона».

С этими словами он протянул мне рисунок. Я собралась было взять листок у Дерриса, а затем найти повод спровадить ваймейна из мастерской: во мне уже начала клокотать незваная, но всегда обещанная — в присутствии Дерриса — ярость. Более всего я хотела, чтобы она сейчас не нашла своего привычного выхода. Но терзатель моего терпения в последний момент отвел руку, и я ущипнула пальцами пустоту.

— Э нет, меда Ирма. За невнимательность в этом замке вас полагается проучить. И я, кажется, знаю, как.

Вот он, жданный гость мой — бешенство. Оно успело схватить меня за запястья, впиться в уши: раскалившееся сердце ответило злым грохотом. Я на время забыла про Дерриса: все мое внимание впил жадно, без остатка этот огнедышащий зверь. Деррис же, пока я, стиснув зубы, сражалась с невидимым врагом, неотрывно следил за моим лицом. Казалось, он не только одежду с меня снял, но и кожу. Так смотрят лекари на своих больных.

— Хм. Мой предыдущий урок, очевидно, пошел вам на пользу, меда Ирма. — Деррис говорил тихо и вкрадчиво, а сам незаметно придвинулся ближе. — Самое время усвоить следующий. Соберитесь, меда Ирма.

Вдруг он шагнул ко мне, и я перестала видеть его лицо — одни только черные уголья глаз горели надо мной. Его дыхание, миндально-горькое, обдало меня беспоконной волной. Воздух мгновенно уплотнился и тискал меня сжал мне грудь.

Тяжелые горячие ладони прижгли мне спину и затылок, вязкие трясиновые объятия вобрали в себя целиком. Вырваться, освободиться — вот чего требовало мое существо, та его часть, что древнее речи и мыслей. Я напряглась, спина выгнулась дугой, руки уперлись в широченную грудь. Без толку: Деррис лишь усилил хватку. Ему удавалось, не делая больно, обездвигать меня совершенно.

— Нет, не так, меда Ирма... — прошептал Деррис мне в самое ухо. — Сопротивляться вас научили, равно как и подчиняться из-под палки. Я же научу вас другому — сдаваться с удовольствием...

Я вдруг устала воевать, руки безвольно скользнули по атласу его туники и сами обвили его шею. Вернее всего сейчас было бы отхлестать обидчика по щекам — с оскорбленным достоинством, холодно и высокомерно воззвать к канонам приличия. Тело же... тело, вопреки здравому смыслу, предательски подтаивало, и жгучий лед сопротивления уже курился первым не менее жгучим паром.

— М-м-м... Так-то лучше, Ирма, делаете успехи... — В отличие от меня, Деррис нимало не запыхался. — Добавьте еще немного неррурд'аэс²²... Слушайте себя, а не ум.

И я послушалась. Я стояла по пояс в разогретой ртути, она змеилась вверх, проникая под одежду, повторяя

²² Неррурд'аэс (*дерр.*) — «сдача, капитуляция», в узком значении — «добровольное и радостное предание себя воле наставника или иного неформального старшего». Деррис здесь передергивает строгое значение слова: женское предание себя воле мужчины (добровольное и радостное) на деррийском звучит похоже, но все же иначе — меррумд'аэс.

линии тела, напитывая его тяжестью и безымянным трепетом. Под закрытыми веками ткался обжигающий образ, одетый в багрянец и золото, пьянил, испепелял. По спине струился холод, от которого, казалось, останутся ожоги. Я позабыла, кто передо мной, позабыла обиды, отвращение, страхи. Я — и тигель, и алхимическая свадьба, он — и щипцы, и маг. Он-я — амальгама ярости, очищенной от гнева. Волосы на виске зашевелились от рваного песчаного дыхания, и Деррис прошептал еле слышно:

— Теперь запоминайте, Ирма. Прочь всё. Есть только это. Попробуйте здесь... Будьте здесь.

Казалось, я проваливалась в душный безлунный сон. Не разомкнуть век, не шевельнуться. Почти не вздохнуть. И одно только живо сейчас — настойчиво, сильно, влажно, и оно — не мое: оно, обернутое все тем же миндальным ветром, сомкнулось с крошечным рубцом в углу моего рта, и вся я в миг оказалась там, и вспомнила боль этого шрама, и услышала, как кровь изнутри царапает мне губы, требует разомкнуть их. Повинуйся, повинуйся!..

— Чудесно, меда Ирма. А теперь урок третий. Блаженство властью обладает над тобой, но стоит никогда не забывать, что наслаждение и восторг любой — все смертны: к ним не надо привыкать. — Тугая воронка рук и плеч вдруг равнодушно выдохнула меня, Деррис отступил на шаг, и лихорадочный август сменился ледяным октябрём. — Вот ваша картинка, меда. Лошадь заждалась вас. — Обессиленная, глухая, полая, онемевшими пальцами я взяла рисунок из его рук, Деррис, более не говоря ни слова, покинул мастерскую, неслышно прикрыв за собой дверь.

Всовершенной тишине сидела я на полу в мастерской и смотрела, не видя ничего, в окно — сквозь свет дня, сквозь деревья и беспорядочно толпившиеся в небе облака. Когда стихает громовая музыка, она забирает с собой все звуки; когда затмевается солнце, разом умирают все краски; когда внезапно размыкаются объятия, тело теряет себя. Я — рыба, выброшенная на белесую гальку. Тот, кого я боялась и презирала, — живое море. И оно отвергло меня.

За ужином я не знала, куда деть глаза. Мне казалось, что отпечатки рук Дерриса горят на мне даже через одежду. Но никто из учеников не выказал подозрительного любопытства, Деррис вел себя как ни в чем не бывало, и я немного успокоилась. Сразу после ужина я поспешила к себе, более всего желая — и до дрожи страшась — выговориться, рассказать о случившемся хоть кому-нибудь, избыть это непроизносимое.

Нет, не выговорить мне было, не облечь в слова. Я лежала навзничь, плескаясь в дремотных волнах каминного пламени, и прошедший день оплывал свечой перед внутренним взором. И уже паря над густой пустотой небытия, я вдруг вернула себе себя. Каждая ворсинка ковра под пальцами, каждая складка платья, самый воздух, входящий и исходящий, и свет, и тишина опознаны были, узнаны. И сливки — вечерний пирог к чаю за ужином — их уже успела позабыть я, но вспомнили губы, небо. И запахи краски и клея, которые умерли вместе с этим уже догоревшим днем, но их не забыли ноздри, гортань.

Я резко проснулась, и карнавал притих, отдалился, но шум барабанов и ликование толпы всё неслись ко мне, и я праздновала, изумленная, ошарашенная. Как так случилось, что я никогда прежде не замечала всего этого великолепия? Как вышло, что со мной до

сих пор случалось что угодно, кроме того, что происходит сейчас? Как получилось, что лишь теперь меня ослепило пониманием: у жизни нет и не может быть иного счисления, кроме мгновений ока?

Стук в дверь я услышала, кажется, еще до того, как он раздался, но не в силах была сразу подняться с пола, а смогла только негромко крикнуть «Войдите!» В комнату ворвался юркий сквозняк из коридора, и рядом со мной сгустилась тень Йамиры. Легкая горячая ладонь опустилась мне на живот, и стремительная, теперь знакомая волна жара вмиг омыла меня.

— Вы так быстро ушли с ужина, меда Ирма. Я было решила, что вам нездоровится. Вот зашла проверить, все ли в порядке.

Йамира говорила с заметным терпким акцентом, ее всегда было странновато, но приятно слушать, а сейчас, когда она вдруг оказалась так близко, так погорячему рядом, я впивала ее голос не только на слух, но и животом — ее рука все еще задумчиво описывала круги по синему атласу моего платья. Я растерянно принимала эту нежданную ласку, не зная, как на нее ответить, как и о чем сейчас говорить. Мы молчали, я — собираясь с мыслями, она — мягко разглядывая меня, без всякого видимого напряжения, будто все вполне обыденно.

— Меда Йамира, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о море.

— О море... — Йамира улыбнулась и на минуту зажмурилась, как сытая рысь. — Это не просто «много воды». Море — это больше, чем простая сумма волн, рыб, медуз, водорослей, гальки и песка. Как стихи, понимаете? Больше, чем сумма слов и знаков препинания, сложенных в некотором ритме. Любовники — больше, чем сумма один и один.

— Боюсь, не совсем понимаю вас.

— Ничего страшного. И ничего удивительного.

Я давно перестала обижаться. Да и за разговор с Йамирой я готова была многое отдать. Сложить с себя собственную мнительность — и подавно.

— Большинство из настоящего в этом мире, нельзя вот так взять и понять. Его можно только пожить.

— Рид покажет, верно? — с готовностью поддакнула я — и тут же осеклась, увидев особенную крошечную улыбку Йамиры. Вернее, просто обещание ее.

— Рид? Ну, *ваш* Рид покажет — тот, который в вас.

— Во мне? Как это?

— По-вашему, Рид где-то есть, а где-то его нет? Любопытный получается Всеприсутствующий...

Я уже пробовала вступать на этот тонкий лед — еще той ночью, в разговоре с Дерейном, — и сейчас решила не высказываться.

— Скажите, меда, как вы встретились с Герцогом?

Уже не впервые задавала я этот вопрос и заранее предвкушала еще одну восхитительную и таинственную историю.

Но Йамира неожиданно запрокинула голову и расхохоталась:

— Крошка Ирма, вы не летопись ли тайных встреч ведете? Или пишете занимательное будуарное чтиво для дам? А может, вы — лазутчик Святого Братства?

Я залилась краской, и на миг показалось, что багрянец сейчас проступит сквозь одежду:

— Как вы можете даже предполагать такое, Йамира!

— Бросьте дуться. Я шучу, моя меда. А что до истории... Проще не бывает. Я спасла Герцогу жизнь.

Я вытаращила глаза:

— Герцогу? Но как?

— Он чуть не утонул, вообразите. Приехал по кое-каким делам в нашу деревню и сразу пошел купаться, поздней ночью. Ну и нырнул с валуна. Там иногда ставили сети на мелкую рыбу, но он об этом не знал. Прыгнул и запутался.

— Он звал на помощь?

— Нет, пытался выбраться сам. Но недолго. Я была в двух шагах и сразу услышала, что творится неладное.

— Вы были рядом? Но как получилось, что вы глухой ночью оказались у того же камня, с которого он нырял?

— Я следила за ним.

Я не сразу нашлась, что сказать. Но все же собралась с духом:

— Зачем?

Я насчитала с полдюжины своих вздохов, пока Йамира внимательно рассматривала мое лицо, а потом еле слышно ответила:

— Тогда я не знала, зачем. Сейчас мне это понятно. Мне нужно было, чтобы кто-то меня позвал.

— Куда?

— Тогда я не знала, — повторила она. — Но сейчас, похоже, могу слепить какой-то вразумительный ответ. Я ждала, что меня посвятят в тайну — бо льшую, чем даже море.

Я замерла на пороге ее признания.

— Но тогда он просто был первым человеком «с востока» — первым в моей жизни белокожим светлоглазым мужчиной.

— Сколько же вам было тогда лет, Йамира?

— Двадцать восемь.

— И вы... в такие годы...

— Не была замужем — вы это хотели спросить? — Йамира лукаво подмигнула мне. — Была, дважды. — Она предупредила мой следующий вопрос. — Мой первый муж, разумеется — рыбац, утонул в шторм, когда мне было четырнадцать. А второй просто вывел меня на площадь перед часовней и публично отказался от меня.

— За что?

— За строптивость. И за ведьмовство, — очень просто выговорила Йамира, и тут ее лицо совершенно

преобразилось. Рот ощерился, обнажив злые белоснежные клыки, а глаза словно выбросили каленые сполохи ледяного пламени. Я в ужасе отшатнулась, сердце швырнуло к горлу. А Йамира залилась звонким хохотом:

— Вот видите! А каково было ему, бедному, спать со мной в одной постели?

У меня тряслись руки. Я не знала, какой Йамире верить: этой смеющейся и безобидной или той — безумной фурии с клыками летучей мыши-вампира?

— Это уж как вы решите, дорогая. Но кровь я не пью, не беспокойтесь: у меня несварение даже от плохо прожаренного мяса. Если хотите — послушайте мою балладу. Я осторожно подвинулась ближе.

— Во мне, Ирма, живет неукротимая белая ярость. Большую часть времени она спит, и ее никто не видит, даже я сама. Но иногда она просыпается. Мать в таких случаях запирала меня в сарае, где хранились снасти. Когда просыпается эта бестия, мне ничто не страшно. Я свободна. И бессмертна. А люди не любят, когда ты не боишься. Даже смотреть на это им неохота. Я же вижу все насквозь — их забавные трусливые души в том числе.

— Но, меда Йамира, вас же учили, что гнев, воздержанная радость, необузданная страсть — это все не от Рида...

— Да-да, и противно Ему по самой сути Его, — закончила она за меня цитату из «Жития». — Как не помнить. Всем детям в деревне велели это выучить — за неделю до приезда Святых Братьев на День Растворения²³. Но правды в этом наставлении немного. — Йамира хитро подмигнула мне. — Как же вас не сожгли за святотатство, меда? — смогла я выдавить из себя шепотом, исполненным благоговейного ужаса.

— Мне не свербело, знаете ли, судачить о своих философиях с соседскими кумушками. Да и деревня наша видела Святых Отцов раз в год по праздникам.

²³ День Растворения — празднество, посвященное Уходу Рида.

— Кто же вел у вас службы в часовне?

— Мой второй муж.

Я снова обомлела.

— Но пастырям нельзя жениться!

— Этот нашел способ обойти правило — все в деревне считали, что так он изгоняет из меня черного духа. На брачном ложе он был особенно скрупулезен и проныковенен в своих усилиях.

Я зарделась:

— Йамира, пожалуйста...

— Простите, крошка Ирма, вы же у нас еще совсем дитя... Ну, не стану мучить вас несносными подробностями. Старания моего муженька ни к чему не привели, и после одной нашей ночи ему не с руки стало исполнять обязанности моего духовника. — «Не с руки» Йамира произнесла так, что мне не захотелось выспрашивать подробности. — Я осталась одна — очень собою довольная. В деревне меня уже давно считали безумной, кое-кто жалел даже как убогую, а я время от времени выбирала место полуднее, чтобы покуражиться и подурить в толпе: пусть покрепче запомнят, что я бесноватая, меньше лезть будут. Семья махнула на меня рукой, я стала еще одним мужиком в доме. Отец брал меня вместе с братьями рыбачить, и только раз в месяц я вспоминала, что тело-то женское. Мне нечего было ждать от жизни — в свои двадцать восемь я могла бы сказать, что мне уже восемьдесят. Я никогда не буду замужем, у меня не будет детей...

— Простите, Йамира, мне эту бестактность, но... Но как получилось, что вы, дважды выйдя замуж, ни разу не... ох... не понесли? — Последние слова мне дались тяжким трудом.

— Да все просто — я этого не хотела. Мало кто из женщин понимает, что достаточно просто чего-то хотеть или не хотеть... Как бы это вам объяснить... Вот вы хотите, к примеру, шербет и не хотите розог от отца. Это

не то. Есть *большое хотение*. Когда вся ты, целиком — призыв, дельфиний зов, беззвучный, но слышный всем дельфинам... Это в животе, в самом женском нутре... Понимаете?

Видно было, что Йамира силится показать мне что-то в зазорах между словами. Я решила попытаться услышать. Мимолетное раскаленное дыхание обдало меня под ребрами, плеснуло за пупком, и я увидела, как — незримо — из раскрытого моего нутра, в самом низу живота, истекает тугой упругий прозрачный ручей, рассекает все на своем пути, просачиваясь вперед и дальше, несет меня за собой. Столь же внезапно, как началось, так же и рассеялось это странное мгновенное видение. Я поняла — нет, я пожила это!

— Спасибо, меда Йамира!

— Одаренный ребенок... Толковая ученица... — блеснула глазами моя наставница. — Вот так все и получается, меда Ирма. А что до Герцога... Я нырнула за ним. При мне был рыбацкий нож. Я, почитай, вырезала его из сетей, выволокла на берег. Высосала всю лишнюю воду, — она ухмыльнулась, — а воды он набрал немало. Он быстро пришел в себя, мы поболтали. До рассвета. Я рассказала ему кое-что о всяких своих... чудесах внутри. А к вечеру он договорился, о чем хотел, с нашими мужичками, и мы уехали вместе.

Я будто с разбега налетела на стену.

— А как же ваши родители?

— Герцог сказал моему отцу, что решил на мне жениться — я ж его спасла, вот он-де так отблагодарить хочет. Да и нравлюсь я ему. Отец чуть не умер от счастья: его дочку, ведьму-перестарка, кто-то все еще хочет в жены! Он немедля благословил нас и даже сам торопил с отъездом, чтобы никакие соседские доброхоты не наговорили наивному чужестранцу, с кем он связался. И мы убрались с побережья.

— Так вы... Герцог... Йамира, как вы могли раньше не сказать...

— Вы что же это — решили, что мы жена с мужем? — Я уже боялась Йамириных приступов смеха. — Вот умо-ра! Ни он, ни я и не собирались. На кой он мне мужем-то? И я ему женой? Он позвал меня, и надо было уйти быстро: не хватало еще накликать свору Святых Братьев, они ж как собаки — чуют живое и бросаются вслед, чуть что.

Мы помолчали. И вот с тех пор она...

— Да, с тех пор я здесь.

Облекшись в личину наивной простоты, я спросила, как бы между прочим:

— Ну, вы, разумеется, выезжаете «на этюды», верно?

Йамира впилась в меня взглядом, а потом вновь откинулась на ковер:

— Да, выезжаю. Но что вам с этого, маленькая лиса? Как не знали про это ничего, так и не узнаете пока.

Уловка не удалась. Придется смириться, что ходить мне в подпасаках еще сколько-то. Сколько? Эх...

Мы просидели уже полночи, а у меня еще оставалась гора вопросов. Я решила оставить Йамирину историю на потом — сразу и запишу, и осмыслю. А пока еще надо выманывать этих редких птиц из камышей, и я вновь набрала воздуха в легкие и дунула в свой манок:

— Скажите, меда Йамира, а чем вы заняты целыми днями здесь, в замке?

— Каждый — своим. — Я слышала, как Йамира улыбается. — За те несколько дней, что вы с нами, вам запросто могло показаться, что ученики Герцога только бездельничают и праздно слоняются по замку, верно?

Я помедлила, не зная, как тут ответить.

— Видите ли, те несколько дней, что я провела здесь, с вами, не было ни мгновения, чтобы толком задуматься. Разобраться. Я едва успеваю запоминать, просто складывать в памяти, чтобы когда-нибудь потом все

расставить по местам... — и шепотом добавила: — Если получится. Пока же эти бесконечные дни — месяцы, в самом деле, если не годы, — словно длинный и странный сон. Но, кажется, я уже могу и хочу понимать.

— Будь по-вашему, раз так.

Йамира плавно потянулась и села поближе к камину. Позолота засыпающего пламени лизнула смуглые щеки и лоб. Черты разгладились, я рассматривала ее вечно меняющееся, всегда новое лицо.

— Как вы могли заметить, большую часть времени каждый из нас предоставлен себе и занят своими Делами. — Йамира как-то особенно выделила последнее слово. — Дела Локиры вы знаете — это цветы и цвета. Локира — художник. И живопись — лишь малая толика ее мастерства. Она знает цвета, ей любой оттенок — живой зверок... Понимаете?

Я была почти уверена, что нет.

— Кажется, понимаю...

— Если не понимаете, ничего страшного. Это невозможно понять... головой. Просто вслушивайтесь внимательно. Если оно позовет вас, еле слышно — сразу ступайте в мастерскую или в цветник, найдите Локиру и будьте рядом. Кто знает, быть может, вам повезет. А если Локира будет в настроении поболтать — вытяните из нее историю. Вы же собираете байки, малышка Ирма?

Рид с вами, Йамира, язвите сколько вашей душе угодно. За совет ваш я и не такое могла бы спустить.

— По правде сказать, мы мало обсуждаем наши Дела между собой. Они даны для того, чтобы их делать, а не болтать о них. — Я вновь с тревогой прислушалась, но в голосе Йамиры не было осуждения. Я собралась с духом:

— Фиона Йамира, простите ли вы мне глупый вопрос?

— Глупых вопросов не бывает, моя маленькая меда, — негромко рассмеялась Йамира. — Или же все до

единого вопросы — глупые. Ни в том, ни в другом случае нам с вами нечего терять. Если я знаю ответ — отвечу, если не знаю — Рид вам позже нашепчет. Итак?

— Скажите, а кто раздает эти Дела?

Йамира состроила таинственную гримасу:

— У-у, меда Ирма, не по-вечернему спрашиваете...

Тем, кто попал в этот замок, сказочно повезло. Сначала — в том, что здесь этот вопрос вообще может быть задан. И, если Риду угодно, нет-нет, да возникает ответ. А главное — тут есть подсказчик. Он учит, *как* задавать такой вопрос и *как* услышать ответ.

Кто он, этот подсказчик, можно было не переспрашивать, и я вдруг обрадовалась собственной сообразительности.

— Скажите, меда Йамира, а я смогу узнать, каковы *мои* Дела?

Мы сейчас смотрели друг другу в глаза.

— Да, маленькая Ирма.

Я едва не захлопала в ладоши.

— А когда?

— Чем раньше, тем лучше. И здесь очень многое зависит только от вас. Почти все.

— Так что же мне нужно для этого делать? — растерялась я.

— Вы уже многое для этого делаете, меда Ирма. Мы все помогаем вам. А вы — нам. Тут, в замке, все так устроено. И не только в замке, на самом деле. Понимаете?

Я не нашлась, что ответить. Растолкуйте мне, объясните, выдайте разгадки.

— Здесь не было, нет и не будет нянь и гувернанток. Знание, которое имеет хоть какую-то ценность, нужно брать самой. Никто не накормит с ложки. Меда Ирма, вы уже вовсю обучаетесь, а по-прежнему думаете, будто вы на верховой прогулке по лесу. Вам невдомек, сколько

ума вам уже вложено — с того часа, когда Богран с Дерейном подобрали вас на дороге.

Словно по мановению волшебного жезла, перед моими глазами промелькнул каскад немых картин. Я вспомнила, какой была всего пару недель тому. Попыталась осознать, что я есть теперь, в эту ночь, у ног Йамиры, с отсеченным прошлым и наглухо зашторенным будущим.

— Кто учил вас все эти дни тому, что вы теперь знаете? Кто дал вам силы делать, видеть, слышать то, о чем вы когда-то и помыслить не могли? — Голос Йамиры возвысился, проник в меня. От него зашевелились волосы у меня на темени.

— Никто, — помедлив, ответила я, но тут же меня осенило: — Нет, я хотела сказать — все! Сначала Дерейн и Богран, потом Герцог, его слуги, вы, Локира... Вообще все, каждый... — Я помолчала, собираясь с мыслями: — Не может быть... Что же получается?..

— Теплее, меда Ирма, совсем горячо! Не забудьте вспомнить лошадей, которые понесли, витраж в часовне, восход солнца, ручей под стенами замка... Не говоря уже о Деррисе и очищенной фиге!

Я лишь улыбнулась и кивнула в ответ. Ларец открывался — красиво, без спешки.

— Но это — в замке. А мир шире этих стен, моя маленькая меда. Позвольте мне, как вашей гувернанткена-час, задать вам шараду на сон грядущий: кто или что, по-вашему, — источник всех и всяческих Дел?

Я послушно задумалась. Но мысли, как амбарные мыши, кинулись врассыпную, и на меня снизошло блаженное безмолвие. Слов не стало.

Я смотрела, как поднимается и опускается в такт дыханию грудь Йамиры, и слушала покой чертога безмятежности, в который ввела меня за руку эта женщина.

— Мне кажется, на сегодня довольно. — Йамира наклонилась ко мне, и я ощутила на губах легкий

сладковатый бриз ее дыхания и скользящий поцелуй. — Не засиживайтесь допоздна, маленькая меда! Кто знает, как рано может начаться утро?..

Глава 22

Яедва донесла голову до подушки. Три дня в замке простирались за моей спиной подобно трем годам. Я провалилась в сон без сновидений. Под утро же, всплывая из безлунной бездны, я рыбой вдруг выбросилась на берег яви: меня разбудил мой собственный крик.

Мне приснился отец. Он стоял посреди темного зимнего леса, один, очень худой и смертельно бледный. Кажалось, он заблудился, и ветер яростно трепал его одичавшую седую гриву. Он не звал меня, не бранил и не плакал. Он, как слепой, безумно шарил глазами по верхушкам деревьев, по пугающе низко летящим облакам, будто пытался разглядеть что-то в сырой мгле. Я, невидимая, замороженно не сводила с него глаз. Но вот взгляд отца, витая шальным мотыльком, почти что поймал мой. Я вмерзла в окостеневший воздух, увязла в загустевшем до восковой неподвижности времени. И вот уж, сейчас, еще вздох — и глаза в глаза, но внезапный порыв ветра швырнул отцу прямо в лицо горсть прелых прошлогодних листьев, и на меня вместо родных лазурных глаз глянули невидящие черные провалы. Я рванулась прочь из этого морока — и проснулась.

Самое сердце мое покрылось испариной: я вспомнила вдруг, что отец ждет меня уже невесть сколько дней, утешаясь лишь рассказом служанок о нашем дорожном злключении. В том, что Герцог доставил моих людей на большую дорогу, сомнений у меня почему-то не возникло. Но ни где я теперь, ни что со мной, отец знать не мог.

Я села на кровати. Холодное сумрачное солнце заливало комнату лимонным соком дня, но покоя не стало. Я пропустила Рассветную Песню. Я проспала завтрак. Меня никто не будил. Больше всего на свете сейчас жаждала я поговорить с Йамирой. Или с Дерейном. Или с Бограном. А еще лучше — с самим Герцогом.

В полной оторопи от собственного легкомыслия и беспамятства, до нелепого запоздало размышляла я о том, как бы одним махом убить сразу двух зайцев: успокоить отца и прочих домочадцев и ухитриться при этом остаться при Герцоге. Проще всего было бы отправить отцу письмо с нарочным, весточку, что я жива и здравствую. Но как, помилуй меня Всемогущий, объяснить ему, что я намерена остаться на неопределенное время в замке у некоего не известного никому одинокого фиона, в компании таких же не известных ему людей, для некоего обучения, которому я не могла пока дать никакого названия? Получи он подобную депешу — с ужасом предположит одно: его любимая дочь повредилась рассудком, а это почти равносильно вести о моей смерти. Как могла я донести до него: я здесь потому, что не могу здесь не быть?..

Как никогда раньше, искала я скорейшей встречи с Герцогом. И когда за обедом моя бледность и хмурый вид не остались не замеченными, и он вскользь бросил мне: «Меда Ирма, задержитесь после трапезы», — я чуть не подпрыгнула от радости. Мне казалось, обед будет тянуться бесконечно, я заживо горела изнутри: картины из сна не давали мне ни мига покоя. Но вот наконец ученики разошлись по своим Дела́м, и мы остались в зале одни.

— Что с вами, меда?

Вопрос Герцога прозвучал, как всегда, ровно и спокойно, но в прозрачных февральских глазах видно было греющее сентябрьское небо. Я стояла у его подлокотника, не в силах усидеть в кресле.

— Герцог.. Медар Герцог, я нуждаюсь в вашем совете.

— Я весь внимание, милая меда.

Спасибо, спасибо вам, медар наставник! Я принялась рассказывать:

— Нынче ночью мне приснился сон... — И я коротко выложила суть моего ночного кошмара, посетовала, как поздно меня осенила мысль о том, что отец наверняка сходит с ума от беспокойства: что со мной, где я? Но, сообщив я ему правду, выйдет еще хуже: он решит что я спятила, и это разорит ему душу не меньше, чем моя кончина. Помогите, Герцог, придумайте что-нибудь!

Где-то за окном мерно шелкала неведомая птица. Ее говорком я меряла тягучее время, пока Герцог молча разглядывал меня, словно впервые видел, а я ждала его слов. Каких угодно.

— На привычное втуне молиться: Рид не даст там навек поселиться... Хотя и боязно вам отпускать прошлое, дорогая меда, вы все же ухитрились на много дней накрепко позабыть о ближних своих. Занимательно. Ну что ж, раз уж вы так просите, драгоценная Ирма...

Герцог неторопливо поднялся с кресла, подошел к камину, и тут только я заметила крупный конверт из грубой голубоватой бумаги, почти невидимый на сером граните каминной полки. Так же неспешно Герцог вернулся к своему креслу, рисуя каждое движение, извлек два сложенных вдвое таких же голубоватых листа и углубился в чтение, будто получил письмо от закадычного друга. На одной странице чернели витиеватые, сильно украшенные письмена, а весь низ укрывали многочисленные пестрые печати. Второй же лист оказался чистым.

Я молчала, не смея ни о чем спрашивать. Мучительно, однако терпеливо ждала, когда Герцог решит объяснить происходящее.

— Вот, взгляните, меда Ирма.

Я приняла исписанную страницу из его рук, заскакала взглядом по строчкам. То было письмо-свидетельство, удостоверяющее, что я, фиона нола Ирма из дома Тро-ров, отроду девятнадцати лет, удостоена чести быть приглашенной к обучению в закрытой школе фрейлин при дворе Его Величества Короля-Лорда. Обучение будет происходить в одной из четырнадцати удаленных королевских резиденций. Назывались все четырнадцать мест, разбросанные по всем четырем Долям, — так далеко друг от друга, что я не стала даже прикидывать, сколько между ними дней верхом. Навещать учениц не разрешается. Обучение длится столь долго, сколь необходимо для доведения манер до безупречного совершенства. Под этим ошеломляющим документом изящной наклонной (!) вязью²⁴ бежали многочисленные титулы и имя Первого Советника Короля-Лорда! А в самом низу красовалась дата — тот самый день, когда состоялся столь памятный мне ужин в мою честь.

Смысл послания бежал меня. Какая школа фрейлин? При чем здесь сам фион Первый Советник? Где же я на самом деле нахожусь? Герцог, что происходит?

— О, Ирма, вы совершенно неисправимы! Ну не стройте из себя такую непонятливую, право! Вы же хотели, чтобы ваш достопочтенный отец не счел вас мертвой или сумасшедшей, заблудшей овцой или падшей женщиной, а наоборот — утешился бы, продолжал вас любить и гордиться вами. Но и не вмешивался в вашу истинную судьбу. Прикажите отправить эту грамоту хоть сейчас — и вы одним махом убьете целое полчище зайцев. Ну а вот тут напишите старику пару слов от себя — о том, что вас в школе не обижают, и соученицы ваши — все сплошь благородные фионы и сразу полюбили вас, а вы лишь надеетесь, что воспитания вашего

²⁴ Фернская светская письменная вязь не имеет наклона. Наклонной вязью пользуется лишь Королевская Канцелярия.

хватит, чтобы как можно скорее поступить на службу при дворе вашего Короля-Лорда.

— Но... Фийон Первый Советник? Как вам удалось добыть его подпись?

— Меда Ирма, это один из самых простых фокусов. Учитывая, что медар Первый Советник — человек, особенный не только титулом.

Мирозданье только что смиренно объяснилось. Эта изумительная лож ослепила меня своим совершенством. Я тщетно пыталась найти в ней хоть один изъян или шаткий камень — и не находила. Ни слова более не говоря, подбежала я к крохотной письменной стойке у самого окна и, поспешно обмакивая в чернила перо, застрочила на нежной голубой бумаге сердечные слова отцу, успокаивая и убаюкивая его тревогу моей (нашей с Герцогом!) невообразимой легендой. Я ни на что не обращала внимания, пока не закончила, а когда подняла голову от бумаги — увидела, как Герцог с широчайшей улыбкой лукавой бестии неотрывно следит за мной.

— Меда Ирма, из вас превосходно получается не-сносная девица! Взгляните на себя: врете и не краснеете, осуществляете подлог — бестрепетной рукой! — И он одарил меня змеиным прищуром.

Я невольно вскинулась и поймала свое отражение в ближайшем зеркале. И впрямь — никакого багрянца стыда на щеках, ни горящих ушей, ни блуждающих виноватых глаз. На меня с облегчением взглянула довольная, сияющая молодая фиона. Совершенно неблаговоспитанная.

— Так позвать вам нарочного, меда Ирма?

Глава 1

После ночного разговора с Йамирой и послания отцу время вдруг сорвалось с места, как сумасшедший конь. Все внезапно преобразилось: калейдоскоп моих дней неслышно повернулся, и пестрые камешки одних и тех же событий сложились в совсем иное соцветие.

В промелькнувшие одним вздохом мгlistые зимние месяцы, а за ними весь робкий, отсыревший насквозь март я сновала по замку, глядя во все глаза на то, что и, главное, как делают ученики и, конечно, сам Герцог. А также слуги, конюхи, повара, садовники. И даже, в какой-то момент, — кошки, собаки, деревья, река... Поначалу я смущалась и робела совать везде нос, будто назойливый щенок, хотя никто, за исключением Дерриса, не прогонял меня и не одергивал. Праздность обитателей замка оказалась чистой видимостью: каждый здесь был ежедневно занят делом, а точнее — Делом. Замок жил и дышал, как живое существо, чей каждый орган совершенен, не нуждается в приказах и понуканиях. И не было двух одинаковых дней: волшебная симфония каждого игралась с листа, словно по слуху самого Рида — такова была ювелирная красота неписаного уклада здешней жизни. Я помнила дни прошедших девятнадцати лет моей жизни — не отличимые один от другого, единый слиток времени с пятнами домашних праздников, охоты и детских

игр... И слиток этот поблек, подернулся патиной, утратил блеск, перестал быть драгоценностью и казался мне теперь годным лишь прижимать старые бумаги.

Временами чудилось, что за эти месяцы я поняла о жизни гораздо больше, чем за все предыдущие годы. Поделившись однажды этим соображением с Мелном, я удрала в слезах к себе в комнату: Мелн соорудил такую гримасу торжественно-задумчивого благоговения, пока я говорила, что пришлось, заалев и не ища предлога, ретироваться. Я уже знала, что так и только так обретается свобода и легкость: не бежать, не закрываться, не бояться. Но как не спеша эта нехитрая истина просачивалась, как вода сквозь колотое скальное крошево, с базарных площадей ума к удаленным лесам сердца и чувств. Причудлива, неповторима была и моя дружба с каждым учеником.

Локира была бесконечно мила и ласкова со мной — и при этом все так же бесконечно далека, словно утренние звезды.

Йамира, с ее хищной красотой, обжигающей глаза, и ленивым величием, была недосыгаема, восхитительна. Я ей робко завидовала. Она божественно танцевала, а от ее глубокого грудного голоса звенели витражи в часовне — и моя душа вместе с ними. Йамира взялась учить меня пению и несколько раз в неделю провожала меня к водопаду, где мы, встав по разные стороны потока, выводили дуэтом фернские, деррийские и совсем уж чужедальние песни. Йамира не давала мне спуску, выбирая самые протяжные распевы, самые немислимые разлеты нот, и я упражнялась до полного изнеможения, до рези в ребрах, до дрожи в коленях.

Алис, игривая, как котенок, учила меня жонглировать предметами и создавать удивительные картины из простых незаметных вещей: чашек, сухих былинки, наперстков, салфеток, разноцветного песка, пустых флаконов из-под духов. Позже я случайно выяснила, что Алис с пеленок воспитывали бродячие блиссы. Каждое мгновение

разная, Алис, казалось, могла бы стать мне подружкой, но слишком часто и надолго погружалась в дымчатое молчание и уходила одна к реке.

Немая Амана учила меня играть на дизириссе. Драматургия ее жизни все еще оставалась для меня неприступной тайной, поскольку говорить вслух мы не могли, а разговоры без слов все еще давались мне с заметным трудом. На уроках наших мы почти не обменивались мыслями, но Амана умела разговаривать кончиками пальцев, подвижным, изменчивым лицом, чародейскими жестами.

Друзья-медары будоражили мое воображение не меньше, чем меды. Богран дарил меня трогательной, почти отеческой заботой. В немом изумлении я слушала его истории, часами наблюдала, как он фехтует с Дерейном или Мелном, а иногда и с самим Герцогом. Помню то утро в оружейном зале, тусклый блеск старых клинков и незаточенный двуручный меч. Богран подал мне его рукоятью, заласканной многими ладонями, и пригласил к первому уроку сражения на «тяжелом железе», как он это называл. И с тех пор каждое пробуждение обещало сладкую муку ломоты в плечах, плаксивых коленок, косноязычных запястий: чуть ли не ежедневно Богран молча брал меня за руку и вел «шалить со смертью» — так он звал наши потешные бои.

Мелн без конца сыпал уколами и шутками, и с ним я училась парировать или глушить словесные выпады, принимать их отстраненно, не позволять словам таскать меня по лабиринтам обиды. Мелн, кроме того, был искуснейшим гончаром, и мы иногда целыми днями колдовали над глиной, в тени ивового навеса, за старинным гончарным кругом, а крохотная печь для обжига, раз за разом заглывая моя неловкие творения, безжалостно показывала мне мои ошибки.

Красавец Дерейн — вот кого я могла бы с некоторой натяжкой назвать другом в привычном для меня с детства

понимании этого слова: мы часто выезжали верхом, смеялись и болтали, как некогда резвились мы с Ферришем. Ни он, ни, тем более, я сама, не понимали, как можно передать умение вдыхать и выдыхать вместе со всем танцующим, поющим, снующим в поисках добычи и любви, яростно дышащим вокруг. Неуклюже, но очень старательно повторяла я за ним еле заметные мановения рук, тихие присвисты и трели, всевозможные щелчки пальцами. Но совершенно неповторимым оставался талант Дерейна открываться, распахиваться навстречу диким лесным птицам, почти невидимым в косматых кронах, волкам, которых не звали, но чтят, серебристым рыбам в перламутровой воде, шекотно слоняющимся у щиколоток.

Самым же колким, самым трудным было мое «обучение» у Дерриса: он не делился со мной никаким своим Делом. Холодный, высокомерный и уничтожающе-язвительный, он всегда цепко ловил меня на любых ежедневных промахах и ошибках. Не было случая, чтобы мое слово оказывалось последним в перепалке. И то не были хлесткие, залихватские, смешные и всегда дружеские шутки Мелна. Робко пытаюсь говорить с ним без слов, я всякий раз натыкалась на глухую стену искреннего, намеренного злорадства. Он обрушил ледовую завесу между нами и в вещном мире — старательно избегал любых моих прикосновений, беседа, никогда не вставал ближе чем на несколько локтей, а за столом бесполезно было даже просить его передать соль.

Я пробовала жаловаться Герцогу, но тот лишь загадочно улыбался и либо ничего не говорил, либо коротко напоминал мне, чтобы я слушала Дерриса, как шум дождя за окном. Однажды я, в едком щелоке злых слез, обегала весь замок, чтобы в очередной раз излить меду Эгану или хотя бы Бограну свои горести, застала и того, и другого за игрой в шахматы в охотничьей зале, и Герцог суровым тоном отчитал меня за нытье и велел

раз и навсегда прекратить жаловаться. С тех пор я неуныпно следила за тем, чтобы наши с Деррисом встречи не случались вовсе. Мне с лихвой хватало того, что мы трижды виделись за трапезами. И того, что я думала о нем каждое свободное мгновенье.

Глава 2

Почти каждый вечер — а часто это означало глубокую ночь или предзвездное утро — я лихорадочно списывала страницы в дневнике, и совсем скоро не осталось в нем ни одного чистого листа. Я поискала на полках у себя в комнате и писчей бумаги не обнаружила. Но я помнила, что в мастерской у Локиры вдоволь эскизов и подмалевков, на которых еще столько свободного места, что из них получился бы отличный дневник. А уж переплести листы в книгу я сама сумею. И пусть на одной стороне каждой страницы будут чьи-то кляксы и штрихи — так даже красивее. Локиру я нашла в цветнике — и затаилась, не в силах отвести глаз, желая разглядывать и не быть увиденной.

У Локиры были длинные и совершенно седые волосы. Меня никогда не покидало чувство, что я знаю эту фею-художницу всю жизнь. Эти искристые зеленые глаза лесной колдуньи, вылепленные эльфийскими умельцами ключицы, плечи, запястья. Казалось, когда она движется, ни одно травяное лезвие не затупляется — и не холодит ей стоп: так легка эта вечная девочка, так скользит она над землей.

— Здравствуй, Ирма.

Только Локира иногда обращалась ко мне на ты²⁵. И всегда — столько в этом горестной радости.

²⁵ У фернов правилами хорошего тона обращение на ты допустимо только между детьми и их родителями, реже — по отношению к слугам. Человеку при смерти, однако, позволялось обращение на ты к кому угодно. В языке дерри обращения на вы не существует.

— Добрый день, меда Локира. Как ваши цветы?

Краткое молчание. Локира никогда не отвечала сразу же, и вопрос повисал в воздухе, как нарисованное в книге яблоко, отделенное от ветки, но вечно парящее высоко над линией сносок и примечаний.

— Ничего не делают и все имеют, как видишь, малышка.

— Завидую им, — улыбнулась я в ответ.

Свободная от глупых условностей светского разговора, Локира продолжила выбирать из вазона с крокусами бурый пергамент отмерших листьев, нимало не заботясь о дальнейшем течении беседы.

Я знала, что вольна развлекать себя чем угодно: могу присесть с ней рядом и заняться ее Делом, могу найти с чем повозиться в другом углу цветника, а могу просто устроиться в уголке и смотреть на нее. Но не в этот раз.

— Локира, у меня закончилась бумага. Вы не одолжите несколько листков из мастерской — ну, тех, что уже испачканы краской?

Молчание. А затем:

— Могла бы не спрашивать. Это и твоя мастерская. Бери что хочешь.

— Спасибо, меда Локира.

Я собралась было сразу же отправиться в замок и заняться переплетными работами. И тут мне вспомнился давнишний совет Йамиры, но Локира зазвенела вешней птицей еще до того, как я успела собрать необходимые слова:

— Да, милая Ирма, я с удовольствием поделюсь с тобой «своей историей», и нет в твоей просьбе никакого «нескромного любопытства». — Локира сыграла голосом слова, которые я хотела произнести. — Все в замке знают о твоей страсти.

Еще бы! Я так часто вертела в голове различные фразы, обороты, подыскивала верные слова, эпитеты к их жестам, чертам, повадкам, что наверняка было слышно

даже сквозь стены. Поэтому я не удивилась и даже не очень смутилась. Вот она, школа Дерриса: мало что теперь может вышибить меня из седла.

— Да, все так, — я вздохнула притворно-сокрушенно, — простите вашу маленькую несносную Ирму.

— Тебя не за что прощать. И не говори о себе в третьем лице — имей смелость не расставаться с собой.

Локира присела на пороге цветника и пригласила меня устроиться рядом. Солнце близкого равноденствия облизывало мне щеки, нежилось в сединах у Локиры. Крокусы слали нам ленивые волны аромата беспечности, ветер забирался под веки, выманивал сонные слезы. Мы молчали. А потом я услышала историю о том, как двадцать с чем-то лет назад...

Куртуазного, немислимо богатого и столь же провинциального герцога, фиона тьернана Фаралта (Восточный удел, очень далеко от наших мест) удостоивают огромной чести: приглашают на Летний королевский бал, ко двору Его Величества. Разумеется, в сопровождении прелестной молодой супруги, фионы нолы Лорны Фаралт.

Списком приглашенных ведает семеро дворецких — так он велик, слишком много высокородных королевских подданных нужно осенить монаршей благосклонностью. Но у семи нянек... И закрались ошибки и неточности в великий бальный список. Поэтому никто даже не обращает внимания и тем более не удивляется, что в бальной зале — совершенно никому не известный вельможа. На подъездной аллее дворецкий не посмел остановить неизвестного, не отмеченного в списках фиона, так прекрасен экипаж, столь безукоризненны манеры его хозяина. И столь сильна магия, солнечный морок, источаемый этим молодым, но таким не юным тьернаном.

Фиона нола Лорна, застенчивая и прекрасная, теряется в ослепительной роскоши королевского приема.

Она не танцует, а комплименты впервые встреченных разодетых фионов кружат ей голову и смущают сердце. В ее каштановых кудрях цветут живые цветы, перламутровый шелк платья окутывает непрозрачным дымом свечу ее воскового стана, лучатся майским огнем изумрудные глаза.

«Странная, но такая милая!» «Деревенская прелестница!» «Какая дикая — наверняка не фернка!» Шепотки раздаются там и сям, и стремятся найти эту диковинную фиону в зеленом любопытные взоры. А фиона Лорна ни с кем не заговаривает, почти не поднимает глаз и старается держаться в тени колонн, за спиной мужа.

Но вот уж музыка зашекотала, поманила, и расшалились переливы света в зеркалах и люстрах, и фрукты и вино смешались в крови в кисло-сладкий яд: красавица Лорна позволяет себе танец. Она танцует не на виду, а в полутени, в дальнем от монаршей ложи углу. А десяток королевских лютей поет все громче, все неистовее. Звенят, отбивая ритм, бубны и тонкие резные барабаны. И эти серебристые женские голоса, взлетающие к самому потолку, зовут, зовут Лорну в ее потайные места, куда не было доселе хода даже ей самой. Там фиона Лорна ничего не боится и ей все так же не нужно слов, как и в жизни, но там она мерцает и дрожит, как утренняя звезда, в своем танце. Она не видит сама, но зато видят другие.

Лорна не видит. Потому что веки ее сомкнуты. Она танцует с закрытыми глазами, и лучшие музыканты Королевства играют сейчас только для нее. Потому что никто уже не двигается — все смотрят на хрупкую, полупрозрачную фигурку, что кружится в полутенях. Как яблоневый бутон, четыре слоя малахитового шелка летят за ней луговым ветром, и алебастровые руки оставляют в воздухе молочный шлейф. Но танец словно отрывает с нее лепестки облачений, и нагота ее сейчас полной луны.

Никто не смеет дышать, но чувствуют вельможные сердца: творится волшебство. И сам тьернан Фаралт стоит совершенно зачарованный — даже он не в силах остановить фиону Лорну.

Но вдруг — громкое «а-ах-х» расплывается над бархатно-муаровой толпой, пропитанной благовониями. И от этого вздоха Лорна замирает в янтарном круге света, глаза ее распахнуты, но она сейчас ничего не видит, потому что ее пока нет. А через весь зал, не глядя по сторонам, стремительно приближается к ней странный как будто молодой человек. Глубокий синий цвет одежд, льдисто-серые глаза. И расступается публика, шелестят испуганно юбки, ворчат недовольно камзолы — но повинуются. Но — пропускает. Он все ближе и ближе, смертельно близко... Поклон — и он уже берет ее за обе руки, но не за эти фарфоровые кисти, а под локти. И встает перед нею так, что смыкаются бедра — его, ее. Локира²⁶! По залу пробегает тревожная волна: сейчас почти никто не танцует локиру! В ней столько непристойной фривольности, Рид Всемогущий!

Но что-то случилось с музыкантами, и стоило лишь пальцам странного тьернана в синем коснуться локтей этой феи, как густые басы и особая поступь литавр возвестили неизбежность локиры. Потому что ни один музыкант — если он настоящий рыцарь музыки — не упустит локиру; сыграть, хоть раз в жизни! И вот уже скрипки, взмахнув чародейскими смычками, снимают заговор приличий с лиц, с плеч, с ног. И вот уже вся зала, пара за парой, кружится, и покачивается, и скользит,

²⁶ Локира — умеренно быстрый бальный танец дерри. Происходит от национального праздничного танца, имеет произвольный рисунок и предполагает большое внимание партнеров к обоюдным движениям. Главная особенность локиры — внезапные медленные интермедии, разыгрываемые на усмотрение музыкантов, в которых танцующие полностью зависят от интуитивного танца друг друга.

и взлетают манжеты, и подрагивают локоны в дробях и лигах старинного танца. И уж позабыли все о Лорне и о чудном тьернани в синем.

Они танцуют молча, Лорна и ее кавалер. Он бесподобен в локире. Он — Мастер Локиры. И глаза Лорны опять неумолимо закрываются, и между век скользит жемчужный белок, и Лорна улетает, улетает, улетает, не успев испугаться, сорвавшись с обрыва вверх. И голос Мастера Локиры не возвращает ее на землю — нет, он зовет ее выше:

— Фиона Лорна, танец вас знает. Я вижу это.

Она не понимает, о чем он. Но слушает.

— Вам нужен достойный партнер. Но я не могу представить себе виртуоза среди людей, кто с вами станцевал бы вашу жизнь. Как вам живется здесь, с ними?

Это вопрос, Лорна. Что ты ответишь?

— Фион... тьернан... простите, я не знаю вашего имени.

— Герцог Коннер Эган, фиона. И как же?

— Фион Эган...

Она вдруг открывает глаза. Локира бушует.

Лорна танцует. Но игривого ветра как не бывало, и она молчит, и тело молчит, не поет, не взлетает. Какое стылое утро!

— Да, фиона. Но пробуждение лишь кажется холодным и сырым.

Глаза у Лорны блестят, и она произносит не свои слова:

— Я здесь, чтобы танцевать.

— Повторите еще раз.

— Я здесь, чтобы танцевать.

Локира засыпает. Густой белый свет съедает тени вокруг. Толпа гостей гудит, как горный поток в базальтовых тисках. Где-то далеко внизу и в стороне оживленные румяные фионы смеются и льют в раскаленные глотки вино, кубок за кубком, а Лорна, снова невидимая,

скользит в королевский сад, к огромным темным дубам. В полусне она ходит от дерева к дереву, поет тихонько и кружится — одна. Так, вероятно, сходят с ума.

Далекий знакомый голос зовет ее по имени, из сиреневого мрака высокой летней ночи показывается тьернан Фаралт.

— Что с вами, дорогая? Вы прелестны в танце, кто бы мог подумать... Хотя, конечно, в столь высоком обществе, при таком-то стечении... впредь воздерживайтесь — это... хе-хе... почти неприлично.

Ему неловко, муж вглядывается в ее лицо. Он никогда толком не знал свою Лорну. А теперь отказывается признаться себе, что совсем ее не знает. Ей почти не больно, и так легко отвести взгляд, не смотреть фиону Фаралту в знакомые до слез, чужие глаза:

— Я пришла, чтобы танцевать. А вы — нет. Я уйду.

Он понимает ее дословно. Вероятно, к счастью.

— Да-да. Побудьте одна, дорогая, обдумайте свое поведение — только недолго. Нет, конечно, ничего такого страшного, вы молоды и не бывали в свете. Не беспокойтесь слишком, все вполне снисходительны. Да и потом, вы обворожительны, моя дорогая! — И он запечатлевает поцелуй на бледной щеке Лорны, которая уже не Фаралт. И уходит обратно в рокошущую залу.

Светлым призраком движется Лорна к конюшне. И просит у конюхов дать ей лошадь. Она ведет ее под заходящей старой луной, в чернильных тенях от деревьев, и голос самой темноты окликает ее:

— Фиона Локира!

Лорна бросается на голос, и уже через несколько шагов она — у стремени одиноко стоящего всадника.

— Фион герцог?

— Да, меда Локира. Я еду танцевать. А вы?

— И я.

Двадцать с чем-то лет назад они просто уехали. И в высокой часовне, залитой витражной радугой, Герцог

представил Лорну-Локиру ее Истинному Партнеру. И свет забыл о Лорне...

— Вот и вся история, меда Ирма. А теперь беги в мастерскую, сделай себе новый дневник. Тебе еще столько всего предстоит записать.

Я очнулась — ото сна, где звучала локира.

— Да, Локира, да.

Глава 3

Каждая встреча, каждый разговор с любимым учеником был для меня blissовой шарадой: я тратила часы на то, чтобы разобраться во всем, что услышала, а также в запутанных лабиринтах значений сказанного: мои загадочные друзья научили меня видеть тени слов, их нутро, их вторые и третьи лица. Я собирала истории их жизней, вглядывалась в их лица, запоминала их запахи, а вечерами записывала, стараясь не упустить ни единой мелочи, и все казалось мне важным, исполненным смысла и новым, как завтрашний день. Мне казалось, что я могу проснуться однажды и всего этого не вспомнить. От такой мысли накатывала дурнота.

В замке, очевидно, было не принято раздавать отгадки просто так. Я знала, что есть долины, закрытые другими вершинами и снеговыми тучами, куда мои новые друзья отказывались меня вести, подсовывали приятные лужайки у подножия запретных хребтов, увлекали меня в заросшие цветами, залитые солнцем знакомые распадки. И я, как восторженное дитя, бежала за ними, играла в траве и забывала ненадолго, зачем шла, какой вопрос задала. И что не получила ответа.

Рид все так же парил под башней и в часовне, осеняя меня безмятежной улыбкой, а мне все так же не удавалось хотя бы на шаг приблизиться к тайной связи между «Житием» и этим невозможным замком. Я все реже

просила совета у пылившейся в моей комнате священной книги, все страннее было искать в ней Рида. Замок жил по законам, настолько далеким от тех, что вбил мне в голову когда-то брат Алфин, что мне надоело по дюжине раз на дню краснеть и пугаться, если кто-нибудь рядом заводил откровенно богохульные речи или отпускал еретические шуточки. Я старалась вернуть себе себя — ту, которой пять лет, чистый лист, распахнутые глаза, никакого дармового, заемного знания. Мне казалось, что только так я смогу разобраться сама, раз уж драгоценные соученики склонны водить меня за нос.

Бывало, я целыми днями оставалась одна и бродила по путаным коридорам и переходам замка, ездила по округе верхом или блуждала по парку. Но более всего любила я часами просиживать в библиотеке — огромном двухсветном зале с почерневшими дубовыми шкафами, снизу доверху набитыми тяжеленными книгами потрясающей красоты, на всех мыслимых языках Восточной, Южной, Северной и Западной Долей. Герцог еще зимой разрешил мне распоряжаться этим богатством как своим собственным. Но только весной я взалкала чтения: книги не смогут уклоняться от заданного вопроса, не станут играть со мной в прятки, они расскажут мне всё, что знают, без утайки. Знала бы я тогда, как ошибалась! Но, разумеется, я не стану говорить слов вроде «к счастью».

Я зарывалась в немногочисленные деррийские фолианты, остро пахнувшие сыростью, заржавленные временем, разбирала иногда почти по складам легенды, хроники и песенники таинственного народа. Четыреста лет, пятьсот, шестьсот было этим строчкам, этим потекшим картинкам, и на страницы, что вдвое старше моего рода, я глядела, как в колодец безлунной ночью. Я искала историй, песен, сказаний — чего угодно, лишь бы из века Рида. Как и зачем он явился людям? За что уничтожили все его племя? Разумеется, любой фернский подросток мог рассказать заученную наизусть легенду,

прописанную Святым Братством, как, когда и почему это произошло. Но мне всегда казалось, что даже наши святые наставники не знают всей правды.

Однако все впустую. Библиотека щедро поделилась со мной сведениями о быте, традициях и общественном устройстве людей дерри. Я прочла о фигурах танцев, поварских премудростях и толкованиях сновидений. Но гомонливый поток пестрого знания о дерри мелел досуха как раз к тем датам, когда в Западной Доле объявился Рид. Все ученики, будто сговорившись, мялись и отказывались обсуждать это со мной, отсылали меня к книгам или предлагали спросить у Герцога. Любопытство мое распалось: от меня откровенно прятали знание, к которому я не готова или которого не достойна. И я выжидала, читая взахлеб, все подряд, пытаюсь прикоснуться всей собой, насколько возможно, к этому несуществующему народу. О дерри нам в детстве говорили больше поносного, чем возвышенного, однако знание языка дерри почиталось в светском обществе за самый благородный тон.

Деррийцев — пока племя еще существовало — соседи не любили и побаивались. Ростом выше обитавших рядом фернов, черноволосые и белокожие, хрупкие, молчаливые и скрытные. В годы юности мои няни и гувернантки любили повторять что ни к охоте, ни к пахоте деррийцы не годны — тощие да чахлые. Значит, гораздо лишь воровать да скоморошничать. А вот язык их, бурлящий и певучий, словно ручей на камнях, — живая вода бродячих театров дерри. Мы заучивали трагические монологи и комические куплеты исчезнувших деррийских трубадуров. Детьми мы знали, что любовные письма и заветания у фернов испокон веку писались на дерри.

И при этом воры и бродячие циркачи назывались одним общим словом — «деррийцы». Впрочем, когда я была девочкой, я этому не удивлялась: в мире взрослых было полным-полно таких нескладных, непоследовательных

штук, что я просто отмечала их про себя, дабы понять когда-нибудь потом. Когда стану взрослой. Таких несуряниц становилось все больше, и трудно было мне, благовоспитанной и послушной молодой фионе, разобраться, что к чему. Да и небезопасно — розги к графским детям применялись редко, но зачем искушать судьбу? Чрезмерное любопытство считалось серьезным пороком.

Кроме всего прочего, мне не давал покоя еще один вопрос: откуда у Герцога такая обширная и при этом сплошь крамольная библиотека? Когда деррийцев вырезали подчистую, сожгли и все до единой книги на деррийском. В замке я впервые в жизни держала их в руках, воочию видела письма дерри. В библиотеке отца все без исключения деррийские тексты были написаны фернскими буквами (что, кстати сказать, делало их грубыми и смешными). А тут — такая немыслимая запретная роскошь! Десятки томов, не тронутые огнем, целые-невредимые, с золочеными обрезами и драгоценными камнями в защелках. Как удалось сохранить такое богатство от фернского гнева? И каким могуществом и влиянием — или какой опалой? — в таком случае был осенен сам Герцог?

Сохранить подобную коллекцию можно было только с личного разрешения Короля-Лорда. А разрешение такое добыть можно лишь самым старым родам Королевства, за невероятные деньги.

Но не было, не было Эганов в Королевских списках — их я знала наизусть. Ни одного фамильного герба, ни одного старого вельможного портрета в стенах замка — а уж я исходила его вдоль и поперек. Тайны множились, а вместе с ними умножалось смятение моего ума, а иногда подступало даже некое смутное разочарование. Но я все еще надеялась разобраться своими силами.

Япросыпаюсь среди ночи уже в который раз. Нет чернее часа, чем предрассветная горячка апреля. В крошечной темноте играет скрипка. Пылкая, жгучая, рваная. И я вижу сквозь сон плотно зажмуренные глаза, подрагивающие соломенные кудри, побелевшие костяшки пальцев. Щекочут, насакакивают друг на друга, сыплются ноты. Амана исполняет свое Дело. И я знаю, что каждый обитатель замка подымает голову от подушки и слушает, слушает, слушает...

Апрель в тот год не знал середины. Леса вокруг замка лихорадило, огромный буйный замковый парк трепетал и звенел. Весна объяснила мне наконец, откуда берутся диковинные названия девяти долей, на которые поделен был парк. Рубиновая, Агатовая, Янтарная, Малахитовая, Бирюзовая, Сапфирная, Опаловая, Ониксовая и Алмазная.

Словно леших, весна выманила из тайных закоулков парка легион мастеров-садовников — седовласых стариков и старух — таких же немногословных и точных в движениях, как и прочие слуги замка. Садовников этих, судя по их говору, призвали сюда из самых разных уголков земли. Каждый мастер ухаживал за своим, совершенно неповторимым уголком сада, где все цветы, травы и деревья светились и играли всеми оттенками драгоценного камня, имя которого запечатлено было в названии парковой доли. Девять долей — девять учеников, девять Долей Королевства. Мне показалось, что связь непременно должна быть: в замке находилось место чему угодно, кроме случайностей. Я осмелилась уточнить у Герцога, верно ли мое наблюдение, и получила вождеденный комплимент своей наблюдательности. Подробностей, правда, мне, увы, не предложили, но я уже привыкла довольствоваться малым, чтобы когда-нибудь, если будет на то воля Рида, обрести большое.

Более всего любила я бывать в северной, Рубиновой, доле парка, за которой ходил высокий сутулый ваймейн, земляк Дерриса. Он не говорил ни по-фернски, ни по-деррийски. Только Деррис и, как позже выяснилось, сам Герцог могли перекинуться с ним словечком, но я ни разу не слышала их бесед. Филисс был молчалив, как его цветы. Все саженцы и семена в Рубиновой доле, а также грубые нетесанные валуны, как будто небрежно набросанные там и тут, доставили прямо из земли ваймейнов.

Именно здесь, как нигде в парке, безраздельно царил молчаливая закипающая сила, которой я не находила названия. В Рубиновой доле меня неизменно охватывала жгучая тоска — и взрывающая изнутри радость. Иногда казалось, что дикая айва, и бурый тростник, и степная вишня, целыми днями разбрызгивая стылый сон зимней темноты в полуденную благодать апрельского солнца, шепчут на разные голоса: «...Чтобы жить... .. чтобы жить...» И отчего-то на самом краю зрения мне виделись крутые бока лодок, пунцовые блики на воде, исчирканной перьями облаков, — и безбрежное прощание с кем-то, кто навсегда дорог и любим, захлестывало меня полынной горечью. И в тот же миг эхом ко мне слетало с полуголых ветвей: «Здравствуй... здравствуй». И счастье возвращалось... Может, Рубиновая — «моя» доля, Герцог?

И вот однажды я, плеща руками в патоке вешнего дня, привычно слонялась по парку, на сей раз — в Янтарной доле. Утром я случайно обнаружила в одном темном углу библиотеки пару особенно пыльных полок, стащила наугад самую толстую книгу и чуть не потеряла равновесия на библиотечной колченогой лесенке, столь неожиданным бременем придавила меня к земле эта диковинная инкунабула. Я покрепче, словно младенца, взяла находку на руки и отправилась искать, где бы удобнее примостить книгу и устроиться рядом — полюбоваться на картинку: фолиант, как оказалось, был

на ваймейнском, а значит прочесть ничего не удастся. Но это совсем не огорчало: лишь мельком заглянув в книгу, я изумилась красоте и затейливости иллюстраций, обилию деталей, сохранности ярких красок... Словом, я предвкушала долгие упоительные часы на пропитанном звенящей бессонницей воздухе.

Янтарная доля излучала едва ли меньшее очарование, нежели Рубиновая. Юго-восточная сторона парка, почти весь день залитая солнцем, была населена дикими первоцветами, и ее раньше прочих долей затопило цветочным паводком. Замечательная главная клумба, прихотливо обсаженная мать-и-мачехой, и в те дни пушилась сотнями крошечных золотых брызг. За долей ухаживала согбенная старушка-фернка Маргела — добрейшее седовласое существо. Маргела была нашей общей ласковой и болтливой бабушкой, мы таскали ей вкусные мелочи, а взамен получали забавные рукодельные талисманы, которые она мастерила из лоскутков, веточек и камешков.

Был здесь один потайной уголок, скрытый от ветра невысокой каменной стеной, где на теплом желтоватом валуне песчаника я и устроилась — так, чтобы оставаться никому не видимой, уединиться с добытым сокровищем.

Со всей бережностью уложила я книгу на гладкий нагретый камень, но заметила, что стоит придерживать бумажную глыбу: ее равновесие на макушке камня довольно шатко. Благоговейно раскрыла на первой странице — и пропала. Не было там портретов и фигур танцующей знати — или крепостей, или войск на марше, или картин казней, как почти во всех фернских книгах. Не было в ней ни чертежей, ни формул, ни лабораторных приспособлений, ни отвратительных рассеченных лягушек и крыс, как в ученых трактатах. Я разглядывала огромные горные крокусы необычайной красоты, прорисованные до каждой крошечной жилки; капли воды, отскакивающие от лезвий высокой травы; бело-

снежных голубей, замерших в воздухе, и крылья их соединялись в восторженной оваии; тончайшие шрамы облаков, а их повторяло стальное зеркало горного озера, и в нем он были даже точнее, чем в пронзительном небе; низко висящую луну и плотный млечный ее свет, а в нем плавает ветка груши... Смертная красота, незаметные ускользящие чудеса этой земли, тленная нежность.

Впивая которую по счету волшебную страницу, я вдруг скорее почувствовала, чем услышала, что рядом со мной кто-то есть. По саду неторопливо шла Йамира.

Откуда в рыбацкой дочери столько царственной грации? В простолюдинке — королевы? Этого, вероятно, я так никогда и не узнаю. Вряд ли Герцог обучал ее манерам. Густой вязкий голос, густой вязкий взгляд, густые вязкие движения. От Йамиры всегда пахло мускусом. Женщина-море, она любила укладываться в кресле замершим прибором, и две волны накрывали подлокотники: гребень горла, гребень коленей, на пол обрушивался водопад блестящих иссиня-черных волос, и обнажалась муаровая кожа лодыжек. Йамира легко и с удовольствием давала себя рассматривать, а я никогда не отказывалась от этого странного удовольствия.

Меж тем моя королева неторопливо устроилась на узловатых нижних ветвях огромного фигового дерева. Подставила солнцу лицо. Мгновенно выцвел в ярких лучах синий атлас платья, прихотливые складки обнажили литое бедро. Она закрыла глаза — и мягкие, очень смуглые пальцы зажили своей жизнью.

Йамира извлекла на свет угольно-черную трубку с крохотной чашечкой для табака. Она поглаживала длинный хрупкий мундштук, еле заметно нашептывая что-то матовому полированному дереву — словно пела своей трубке песню. Я смотрела, как от глубокого, неспешного дыхания соскальзывают с груди распуганными змеями рассыпанные прихотливо пряди вороненых волос. Вот она извлекла из складок одежды затейливый

узорчатый кисет, понюхала щепотку сухих бурых былин-нок табака. Сдула их с ладони. Следующей щепотью набила трубку. Как во сне, мундштук подплыл к ее пухлому полуоткрытому рту, невесомо приник к розоватому рубчику на нижней губе — и у меня не стало слов, чтобы описать, какая она была сейчас.

Огнива не видно в ее руках, и огонь будто рождается от простого прикосновения. Первый вдох. Дрожат и взлетают ресницы. Тени теней скользят по вискам. Не разомкнуть ни одной линии, не прервать покоя — шея-плечи-ключицы. Замирает на вершине дымного вдоха сияющая восковая статуя. Трубка трепещет флейтой в пяти зрячих пальцах. Йамира не выдыхает. Время замерло. Текут невесомые мгновения...

И вот — долгая-долгая тончайшая нитка прозрачного голубоватого дыма просачивается меж губ, сложенных, словно в полусонном поцелуе. Как сквозь густую воду опускается затылок на древесные натужные узлы, и заплывает ленивый ветер ветви и локоны в одно.

Вот снова мундштук находит эти спящие губы, и сладкая горечь табачного дыма кувыркается и плавает над нею, надо мной. Живая Йамира, дышит, течет — неподвижно. Владычица тишины, дай вкусить от твоего покоя... Но трубка плавно легла в развилку между ветвей прямо над ней, а сама она, не сходя со своего трона, ушла от меня — на ей одной ведомую глубину. Я лишь слушала, как поет ветер в ее теле.

Юные сумерки расцвели тимьяновым румянцем небо, а мы сидели с ней, камень и дерево, незримая подданная у ног королевы, которой можно все — даже курить. Хоть это и весьма сомнительное для фионы занятие. Но какое это имеет значение?

Йамира вдруг начала мягко водить руками по воздуху, и я, чтобы лучше разглядеть в вечернем полусвете, что за невидимые письмена она рисует, резко подалась вперед, выпустила из рук заскорузлые кожаные бока

книги, и та глухим утробным хлопком обрушилась на землю. Будто из пушки пальнули. Дыхание комком застряло в горле, ни вперед, ни назад.

— О-о, вижу, я здесь не одна... — Ленивая река Йамириного голоса повлеклась ко мне. Я готова была провалиться сквозь землю.

— Простите великодушно, меда Йамира, — пролепетала я.

— Да нет, отчего же. — Йамира улыбнулась и стекла с ветвей вниз, на землю. — Вам же понравилось, верно? — И она, не выказав ни тени раздражения, расплылась в беззаботной улыбке. Трубка и кисет растворились в пучинах платья, и Йамира удалилась в замок. Я же рассеянно слезла со своего валуна, не желая прощаться с картинками, покуда совсем не стемнеет, но замерла над распахнувшейся при падении книгой. Случаю было угодно показать мне разворот, с которого на меня смотрел нагой Рид — в точности такой же, как отсыпанный в гравии под окнами заль!

На миг показалось, что я грежу. Сердце остановилось, ладони вспотели, по спине заметался озноб. Еретический Рид? В ваймейнской книге? Как? Откуда?

Я пожирала рисунок глазами. Он прекрасно сохранился и сиял красками. Знакомый до мельчайших подробностей, залюбленный до полированной гладкости, образ Рида на бумаге был теплее и ближе, чем исполинская фигура на замковом дворе: этот Рид обещал мне разгадку своей тайны. Я стояла перед дверью в сокровищницу. Осталось найти ключ — в этой книге я не смогу прочесть ни слова. Кто же отомкнет для меня эти врата? Герцог говорит по-ваймейнски, но станет ли он заниматься со мной переводами? Филисс? Но он не знает ни слова по-фернски... Остается только... О-ох, только не Деррис!..

Яедва дотерпела до конца ужина. Книга все время покоилась у меня под креслом, а страницу с откровением я заложила шнурком для волос, чтобы не терять времени на поиск нужного разворота, когда и если Герцог соблаговолит ответить на мои вопросы.

За столом я проявляла чудеса рассеянности: отвечала даже на самые простые вопросы невпопад, слышала, но не слушала, что мне говорят и о чем просят, и даже пролила чай Мелну на колени. Деррис как всегда забросал меня зазубренными дротиками своих остроумий, но даже их я пропустила мимо ушей — точь-в-точь как далекий гром, не более. Герцог мог бы гордиться моими успехами, но не от свободы была я так великодушна, а от затмевающего все прочие порыва решить поскорее главную для меня шараду.

Но вот, благословение Рида, трапеза подошла к концу, я первая выбралась из-за стола, полезла под кресло, с усилием выволокла книгу, вскинула ее на подлокотник и воскликнула:

— Медар Герцог, прошу вас, объясните...

Гостиную захлестнуло храмовой тишиной. Все ученики воззрились на меня.

Герцог же воздел брови и внимательно посмотрел не на книгу, а на меня. Я замерла, лихорадочно соображая, что неладного я натворила.

— Герцог, — начала было я снова, — тут, в этой книге...

Но Герцог выбросил вперед сухую ладонь, призывая меня замолчать, и, оглядев учеников, без единого слова уснул всех из зала. Мы остались одни.

— Теперь скажите, моя драгоценная меда, где вы взяли эту книгу?

В голосе Герцога не было ни угрозы, ни осуждения, и я тут же ответила:

— В библиотеке. Она стояла на полке, довольно пыльная — похоже, ее давно никто не открывал.

— Вы читали ее?

— Нет, медар Герцог, уввы. Я не знаю ни слова ваймейнски.

По лицу Герцога промелькнула тень озорства. Он понизил голос и спросил заговорщицки:

— Что же вам особенно хотелось узнать из нее, Ирма?

Я с готовностью открыла фолиант на заложенной странице.

— Герцог, я почти уже поселилась у вас в библиотеке и собиралась задать сотни вопросов...

— Высокоученая меда, вероятно, умеет читать и ей под силу, уверен, разбираться самостоятельно, не так ли?

— Разумеется. — Последняя фраза Герцога чувствительно осадилла мой пыл. — Но я так и не сумела найти разгадку той самой тайны, о которой вы упоминали в тот день, помните?..

— Разумеется. — Мне показалось, что Герцог пердразнил меня, но взгляд его остался серьезным и внимательным. — Но я также помню, как мы договорились, что эту загадку вы разгадаете сами.

— Молю вас, медар Герцог, лишь об одной подсказке! Я нашла книгу сама, но не могу прочесть в ней ни слова... Помогите мне перевести хотя бы пару глав.

— Не о подсказке вы просите, Ирма, а о готовом ответе. Вам придется прочесть эту книгу самостоятельно.

— Но как?

— Как любую другую. И если вы не знаете языка, на котором написан текст, вывод прост: выучите язык.

Я опешила:

— Выучить ваймейнский?

— Ну да. А что здесь такого? Фернский вы знаете с рождения, деррийскому вас худо-бедно обучили гувернантки. Значит, и ваймейнский вам дастся без особого труда.

Я вздохнула, но отваги сейчас мне было не занимать:

— Когда же мы приступим?

— *Вам* приступить — *вы* и решайте.

И все же я собралась с духом переспросить:

— А почему «вы», а не «мы»? Разве не вы будете обучать меня, медар Герцог?

— Я? — Герцог изобразил картинное удивление, комичное и столь неожиданное на этом покойном, невозмутимом лице. — Ну уж нет, драгоценная меда, увольте. Мои скромные знания ваймейнского недостойны такой блестящей ученицы, как вы.

Не было сомнений, что он изошренно язвит, но, помируйте, что он в самом деле хочет сказать?

— Но в таком случае... кого мне просить об этой услуге?

— Ирма, в этом замке есть лишь один человек, способный оказать вам такую услугу, и вы быстрее меня назовете его имя.

Сердце с немим звоном рухнуло к моим ногам. Да я лучше умру...

— Не надо громких мыслей, драгоценная Ирма. Ступайте и просите об обучении. Мне отчего-то думается, что он вам не откажет.

В ту ночь я дала себе слово никогда больше не снимать с полок случайные книги. Особенно если они написаны на языке, которого я не знаю. И пусть все тайны этой земли покоятся с миром!

Глава 6

Зацвели все деревья, и май уже бушевал под окнами замка, но мне покоя не было. Я плохо спала и ела, и даже Рубиновая доля меня отнюдь не радовала. И так, и эдак пыталась я выкинуть из головы ваймейнскую ту картинку, но ни блаженный свет долгих дней на пороге

лета, ни фейерверки цветов, ни общение с соучениками, теперь ставшими мне такими родными, не отвлекали меня надолго. И, тем более, не освобождали нас совсем.

Каждый день мы рублились с Бограном — теперь уже на вольном воздухе, под стенами замка, — и всякую нашу схватку я надеялась загнать тело до полного изнеможения, до неспособности думать. Я оставалась в мастерской у Локиры до темна и рисовала, рисовала, изгоняя из себя этого Рида, будто лесного демона. А он смотрел с моих эскизов, я видела его черты, абрис тела, складки плаща — видела их в пятнах краски на палитрах, в кроках слив и язвов, в зигзагах, которые чертил по воздуху меч Бограна. Слышала, как шелестит кисть в давно мертвой руке — та, которая выплеснула на пористую, матовую бумагу этот лик, этот взор, эту статью. И я шла, как сомнамбула, к заветной полке, стирала с нее пыль, выпрастывала из тисков соседних фолиантов свое проклятие и сдавалась на милость Рида, опять и опять водя пальцем по прихотливым штриховкам. Слова же, насупленными грифами испещрявшие бумажное небо вокруг фигуры Всемогущего, хранили угрюмое молчание.

День рано или поздно должен был наступить. День, когда я устала ждать, что неведомый ваймейнский вдруг заговорит со мной. Устала надеяться, что разгадка придет ниоткуда.

Я застала Дерриса в оружейной зале, где они с Бограном чистили доспехи, и — как в декабрьскую реку шагнула:

— Медар Деррис, позвольте просить вас об одной услуге...

Рид Всемогущий, не позволь ему сейчас отказать мне, ибо на вторую попытку у меня не достанет ни мужества, ни решимости... Деррис медленно повернул ко мне тяжелую крупную голову, смерил с головы до пят леденящим взглядом и процедил сквозь зубы:

— Вы, как всегда, некстати, меда Ирма. Ну да ладно, иначе и быть не может. Что вам угодно?

Я еле услышала саму себя:

— Я прошу вас дать мне пару уроков ваймейнского, медар.

— Чему же вы сможете научить меня взамен, драгоценная крошка-Ирма? Рисовать зеленых лошадей разве что?

«Я могла бы научить вас хотя бы начаткам великодушия! За что мне это наказание?» — промелькнуло у меня в голове. И следом: «Только бы не расплакаться». И тут, благодарение Риду, мне на помощь пришел Богран:

— Медар Деррис, вы несправедливы к маленькой Ирме. Ведь и вы первые полгода тоже лишь учились и никаким знанием поделиться еще не могли. Так что бросайте набивать цену. Соглашайтесь.

Кажется, я обожала Бограна. Деррис же с неохотой пожал плечами:

— Пусть будет так. Я возьму вас в ученицы, меда Ирма, но благодарите за это медара-меченосца. Нынче вечером приходите в библиотеку. Поглядим, на что вы способны.

Разница между «учением» и «мучением» — всего в одну букву. К этому походу в библиотеку я готовилась, как к смертной казни или навязанной свадьбе. Битый час провозилась с волосами, привела в идеальный порядок ногти, в глубокой задумчивости и со всеми предосторожностями выбирала, чем умастить волосы и запястья: ничто не должно было вызвать раздражения у моего нового наставника, ибо я была уверена, что и так получу в пригоршню с горкой. Так что незачем дразнить гусей. Особенно таких зловредных. Но вот я, кажется, готова к бою. Как добралась до дверей библиотеки — не помню. Постаралась бесшумно приоткрыть створку, заглянула внутрь. В полном покое и неподвижности спали сотни знакомых уже книжных корешков. Ни звука. Кажется,

пока никого нет. Но, зная Дерриса, я не поверила глазам и ушам своим и, как взведенный лук, готовая ко всему, настороженно двинулась к читальному столику и креслам в центре библиотечной залы.

Словно у дикого зверя на охотничьей тропе, слух мой обострился до предела, я, как сыч, видела даже затылком. До кресел оставалась всего пара шагов, и тут я уловила, как сзади меня верткая тень хлестнула полумрак между шкафами. Я молниеносно развернулась на пятках. Вовремя.

Неяркий блеск свечей в канделябрах матово отразился в черных волосах — Деррис в фехтовальном броске вполздохе оказался передо мной. Не думая, не подбирая слов, я вытолкнула из залубеневшего горла скучное светское приветствие. Злорадное удовольствие присело всклокоченной сорокой мне на плечо: пока моя взяла! Я проворнее!

Деррис ничего не сказал — лишь негромко хмыкнул и коротко кивнул на ближнее кресло:

— Что ж, приступим.

К моему несказанному удивлению, Деррис, хоть и источал холод и лед, не метнул в меня ни единого ядовитого дротика. Он обучил меня алфавиту и правилам чтения, которые оказались довольно простыми, хотя иногда весьма неожиданными. Кое-какие буквосочетания на письме не имели ничего общего с тем, какой звук они означали. В целом же ваймейнский был достаточно певучим, чуть гортанным, со странными призвуками, от которых у меня быстро запершило в горле. Деррис оказался на редкость толковым учителем и язык любил до дрожи в голосе и чувствовал его невероятно тонко. Так меж пальцев мастерицы-пряжи трепещет гладкая шелковая нить без единой лохматой пряди — так и меж губ Дерриса вились и ложились гладкой вышивкой, строгим узором, правила и каноны родной речи. Почувствовав эту его странную нежность, я несказанно обрадовалась: наши уроки будут

ему в радость, а значит у меня есть надежда, что он их не забросит только для того, чтобы мне насолить.

Урок завершился ближе к полуночи. Деррис откинулся в кресле и одарил меня насмешливым взглядом, но я все же различила в нем призрачную тень довольства:

— Ну, на первый раз достаточно. Вы меня порядком утомили, меда Ирма. Но, как ни удивительно, — не до изнеможения, надо признать.

И опять — калейдоскоп знакомых скучных чувств: я привычно обиделась, приуныла, затосковала, однако же вынырнула из-под накатившей этой обыденной волны. Огорчилась только, что еще один день прошел, а я по-прежнему не вольна сама выбирать себе горести и радости. Поднялась с кресла, присела в учтивом реверансе и, сочтя наше свидание оконченным, направилась к выходу. Но не тут-то было: за моей спиной голос Дерриса немедленно выткал морозный узор:

— Что же это получается, меда Ирма? Мой урок не заслуживает никакой благодарности?

Как бы мне хотелось немедленно найтись с остроумным, искрометным ответом, усмирить его выюгу своей радугой... Но нет, все, на что я способна была, — вялое дождливое:

— Простите, медар Деррис. Благодарю вас, медар Деррис. — И с суетливой поспешностью, которую бы заметил даже слепой, закрыла за собой тяжелую дверную створку.

Глава 7

Всего несколько уроков — и я уже могла складывать буквы в слова и даже прочитывать их, старательно копируя произношение, но смысл этих слов был так же

наглухо скрыт от меня, как и раньше. Деррис упорно полировал мой выговор, нещадно язвил и дразнился, стоило мне неверно произнести хоть один звук, упрекал меня в невнимательности и безалаберности. Я глотала слезы и продолжала заниматься.

Герцог вдруг куда-то исчез. Алис сказала, что он охотится где-то в дальнем углу вотчины. Едва Герцог перестал выходить к каждой трапезе, я вдруг поняла, как важно мне просто видеть его каждое утро, знать, что он где-то рядом, даже если за целый день мы не перемолвились и словом. Просто наблюдать, как он разговаривает с кем-нибудь, как выбирает в вазе яблоко, как держит спину, как смотрит, как двигается. Малейший его жест всякий раз чаровал меня несуетностью и покоем, и, созерцая такую безупречную человеческую грацию, я преисполнялась надеждой, что когда-нибудь сумею обрести хотя бы тень этого завораживающего величия.

Пока Герцога не было, однажды вечером разыгралась нешуточная гроза — первая в том году. Чернильную тень за окнами проридало шрамами молний, а дождь хлестал так, что тяжелые гардины, казалось, мокнут даже под защитой витражных стекол. Внезапно стало промозгло и сыро, как не было даже зимой, и все мы собрались в зале у камина. Блаженное тепло расходилось из гигантского каменного зева широкими густыми волнами.

Слуги подавали чай, а мы сидели прямо на полу, тихонько болтали и посмеивались. К тому времени я уже довольно сносно могла общаться без слов, хотя это все еще требовало от меня сосредоточенности и внутреннего покоя, но я никогда не слышала, чтобы ученики договаривались — вслух или мысленно — такие сборища всегда случались будто сами собой. Мы один за другим сходились в беседку в Малахитовой доле, или на центральной башне, или у груды валунов у реки за замком. Или в обеденной зале, как сейчас. Эти невинные светские вечера походили на те, что я помнила из своей той

жизни, и мнилось, что в замке все так же, как в любом благородном доме: фионы увеселяются разговорами, вином, словесными играми, наслаждаются общей приятностью общества друг друга и совершенно не лезут жизни в душу, а скользят взглядом по ее поверхности, ни о чем не задумываясь.

Тепло замедляло беседу, мы млели в рыжем сиянии. Мелн полюбопытствовал, успешны ли мои занятия с Деррисом. Я покивала, добавив, что, разумеется, руки мои на гончарном круге куда проворнее моих мозгов на круге словесном. Алис, бесенок, спросила мнения Дерриса о моих достижениях. Мой мучитель-учитель о чем-то увлеченно беседовал с Йамирой, держал ее за локоть, оживленно вскидывал подвижные брови.

— О присутствующих либо хорошо, либо вранье, — переиначил он старую фернскую поговорку, не глядя в мою сторону, — а поскольку врать я не люблю, придется воздержаться от ответа.

— Деррис, драгоценный! Похоже, вы не вполне справедливы к крошке Ирме, — вдруг неожиданно вступился за меня Мелн. — Я очень ею доволен и не скуплюсь на похвалы — в отличие от вас, судя по всему.

— То, что она делает *руками*, быть может, и достойно похвалы, медар Мелн, но голова — орган часто не столь проворный.

«Ну, дело же не только в голове, как нам всем здесь хорошо известно, — молча вставила Амана. — Любой язык — прежде всего музыка, а на моих уроках Ирма радуется неизменно».

Спасибо, меда Амана. От всего сердца спасибо.

— Язык — прежде всего логика, меда и медары! — Деррис встал в позу проповедника. — А логика, это всем известно, не входит в число высших женских доблестей. Ваша подзащитная — существо в платье. Стало быть — женщина. Попробуйте сделать *логический* вывод, меда Амана.

Я затаила дыхание, ожидая гневной вспышки — даже от спокойной Аманы. Но в нависшей тишине, к моему изумлению, из своего кресла поднялась Локира. Медленно и беззвучно приблизилась она к Деррису и провела тонкими пальцами по его лицу, словно слепая. Вот ее белоснежная хрупкая ладонь замерла на его щеке. Я глядела на Дерриса не отрываясь — как злой морок, в одно касание, сняла с него Локира заклятье высокомерия, чары напыщенности: Деррис прикрыл странно заблестевшие глаза и стал вдруг потерявшимся мальчиком, приник к материнской руке.

— Малыш Деррис... Непростая роль, — прошептала ему Локира. Так, чтобы никто не расслышал. Я прочитала ее слова по губам.

Глава 8

Следующий день выдался неожиданно ярким и жарким даже для середины мая, и вчерашний ненастный вечер обернулся сном.

Мелн все утро пел, как птица, а после обеда мы наперегонки ринулись в Янтарную долину — к гончарному кругу. После долгой сырой зимы мы впервые купались в божественном тепле. Желтая от мать-и-мачехи земля была так плотно укутана цветами, что мы шли по живому золоту. Мелн щебетал без умолку, и так мне было легко, так беззаботно, что юноша, рассмеявшись, заметил: нет лучше вина, чем солнечное. Прекрасное средство от шума в голове, особенно — бестолкового.

Нашу мастерскую затопило светом до самого потолка, и тонкая, еще по-весеннему не душная пыль вихрилась и плыла в столбах послеполуденного солнца. Мелн скрылся за ширмой и вернулся уже в своих широченных рабочих портах и рубахе с открытым воротом. Настала моя очередь переоблачаться — и вот я уже в необъятной,

такой же серой робе и в огромном, не по размеру, фартуке. Мы не разговаривали: порядок действий мы оба знали до мельчайших деталей. Мелн уселся за круг, с кажущейся небрежностью толкнул нижнее колесо. Станок пришел в движение, заворковал...

Смотреть на тебя, Мелн, не сводить глаз. Руки твои и плечи — вода. Видеть, как покой облекается плотью, как ясность обретает черты твоего лица. Без усилия, без напора, без боя — но проникновение. Без боли, без одержания, без страха. Так Амана играет, так Локира рисует, так Йамира поет, так Богран фехтует. Мир вокруг вас становится четче и ярче, и всё в нем — равновелико и равно тленно. И забывается, истаивает мука отличать большое от малого, горнее от дольнего, верх и низ, простое и составное. Как в омут, забирает круженье гончарного круга, и ты — его продолжение, а я — продолжение тебя: довольно и того, что я смотрю на тебя, Мелн, не свожу глаз.

Зрячие пальцы — кошачьи шаги, пух тополиный, что падает вверх на ветру, шелк мальв — нежны и бесстрашны, и Мелн готов умереть в любое мгновение, потому что жизнь полна до краев, и нет ни вчера, ни завтра, и каждый свой выдох Гончар может отдать как последний, легко, смеясь. Кувшин, ваза или чаша — никто не знает, потому что это будет *после*. Пусть же *после* станет *сейчас*, но пока — после.

Мое *после* приходит следом: Мелн наколдовал вдруг затейливую с журавлиной шеей бутылку, всю иссеченную бороздами, как лоб старика. Пора и мне шагнуть в пустоту.

Расплывшаяся охряная масса с глухим шлепком легла передо мной на каменный круг, и я привычно попыталась увидеть в ней форму, будущий порядок. Втуне: я знала, что обманусь. Луковица тюльпана не выдаст тайны, куда солнце не выманит из ростка бутон. И я бужу задремавший нижний круг босой ногой и повторяю за

Мелном, неуклюже, неловко — погружаю бестолковые пальцы в сырой прах.

По-прежнему тихий и ясный, как середина мира, Мелн устроился напротив меня. Мой черед покинуть прошлое и будущее.

«Твоя очередь *создать, не стремясь*», — для одной меня думает Мелн.

Но вот напасть: шумной толпой, незваной, непрошенной, налетели воспоминания о вчерашнем ненастном вечере, о разговорах у большого камина, о ржавых Деррисовых замечаниях. И немедля заегозила, закапризничала глина у меня под руками, станок, будто норовистый конь, учуявший испуг седока, взбрыкнул, и ошметок глины тяжелой болотной птицей слетел с осерчавшего круга и влажно шлепнул в стену мастерской.

Растерянно и искательно глянула я на Мелна, ожидая упрека или насмешки, но мастер лишь улыбнулся хитро, встал с места и пересел на мою скамейку, позади меня. Плотное, ровное тепло обдало мне спину, летняя терпкая влага его пропотевшей робы проникла сквозь грубый лен моей рубахи. Мелн взял мои руки в свои, плавно качнул исполинской стопой нижний круг, и мы начали заново, вместе. Вдох, выдох, вдох, его сердце негромко и настойчиво стучит в мое, и с каждым ударом все дальше я от памятования, и засыпает ум, и исчезают я. И Мелн уж дышит за нас обоих, и его ладони, обернутые глиной до запястий, сливаются с моими пальцами, я смотрю из-под его век и слышу пение станка — его ушами. И не нужно более ничего, лишь бежать взглядом за пыльным солнечным мазком на боку не явленного еще сосуда.

Мое-Мелна дыхание щекочет нам щеку, волосы сплелись и перепутались, плечи срослись. И вот уж, на грани сознания, сна и яви, за пределами слуха родилось тонкое высокое гудение. Словно далекий хор

в гулкой храмовой зале пел, не прерываясь, не беря дыхания, одну протяжную мелельную ноту. Вещество этого звука проникает мне в кровь, пробегает тонкой дрожью по телу, нащупывает язык в колоколе груди: это Мелн вторит этой ноте, на выдохе, поет ее, октавами ниже, и неутомимым шмелем кружит теперь этот небесный кхалль²⁷ в соединенном кувшине Мелна-меня, один на двоих. И все вокруг — стены, скамьи, половицы, балки, глина под нашими руками — трепещет, звенит, поет. И снова, как когда-то в ватной тьме моего заточения, я лишилась облачений, и от розы остался лишь запах, который, если не услышать, нельзя описать.

Кувшин был готов. Мелн перестал вращать круг, и он не спеша замер, а мы все так же молча сидели рядом. Я сомкнула веки. Таяло, удалялось пение, умолкали стены, и снова — вот она я, вот он Мелн, так близко, так горячо. Может, стоит уже встать, расстаться, вернуться на землю? А вот и ответ на незаданный вопрос — в неподвижный вызолоченный воздух ввинчивается мучительно знакомый тембр:

— Медар Мелн, меда Ирма, мое почтение. Теперь понятно, отчего занятия ваши продвигаются столь успешно.

Я резко очнулась. В ярко озаренном проеме двери чернел силуэт, который я бы узнала даже безлунной ночью.

— Вы очень кстати. Проходите, не стесняйтесь. — Голос Мелна звенел свирелью, прозрачный, задорный. Я же поспешила за ширму — переодеться и попытаться избежать новой порции острот. — Медар Ирма действительно моя лучшая ученица. Только посмотрите, какая красота! — После Бограна лишь Мелн умел лить такой бальзам на мои раны. Осторожно и бережно Мелн обмакнул наш новорожденный кувшин в солнечную патоку, лившуюся из окна.

²⁷ Кхалль (*вайм.*) — «звук».

— Да, должен признать, кувшин и впрямь хорош. Но меня не обманешь: я видел, что драгоценная меда лепила его не сама.

— Какая разница? Мы были одно.

— В самом деле? — Брови Дерриса недоверчиво изогнулись.

— О да, поверьте мне.

— Хм, в таком случае, вероятно, вам, меда Ирма, нужно учить язык гончарного круга, а не ваймейнский.

Состроив обиженную гримасу, Деррис покинул мастерскую. Я не на шутку перепугалась и метнулась вслед за ним — вдруг Деррис всерьез решил прекратить наши занятия? Но Мелн поймал меня за руку и, подмигнув, на цыпочках прокрался к двери. Замерев на мгновение, он вдруг резко выпрыгнул наружу:

— Сарт'амэ!²⁸

За дверью послышалась возня. Я выбежала на улицу и увидела, как Мелн и Деррис катаются по земле — то ли в потешной, то ли во всамделишной потасовке.

— Медар Деррис, Мелн, как это понимать? — Мне прежде никогда не доводилось наблюдать драку благородных фионов, уж тем более — разнимать их. Я скакала заполошной крачкой вокруг катавшегося по песку четверорукого и четвероного чудища, а оно сопело и взрыкивало, заглушая мой голос. Но вот исполинский зверь вздыбился, и сверху оказался Деррис. Ворот рубахи раззявил дранную пасть, в прорехе лоснилась взмыленная грудь. Щерясь и хрипя, Мелн яростно пытался стряхнуть с себя противника, но все без толку: каменные руки сдавили ему запястья, впечатали их в пылавшую слюдяными бликами шершавую перину. Деррис, едва переводя дыхание, выкашлял:

— Медар Мелн... уфф... позвольте завершить на этом ваш урок... уфф... гончарного дела. Меда Ирма,

²⁸ Сарт'амэ! (*депп.*) — «Застукал!», восклицание из игры в прятки.

отправляйтесь... кх... в библиотеку и дожидайтесь меня. Ваймейни нах'эле мардцэй²⁹.

Последние слова были нашим паролем — с них начинался каждый урок с Деррисом. Я поймала взгляд Мелна. Тот, по-прежнему распростертый на песке, безмятежно улыбался. Однакоже изобразил лицом торжественность и утробно, передразнивая Дерриса, произнес:

— Ваймейнде дерси лаэриль³⁰. Ступайте с миром в библиотеку, меда Ирма.

Деррис фыркнул, но промолчал. Я же оставила поле боя и направилась, куда велено, исполненная злорадного детского удовольствия: мои учителя из-за меня подрались, пусть и в шутку. Шла не оборачиваясь, но слышала, как оба ученика поднялись с земли и еще долго отряхивали друг друга, перекидываясь невнятными фразами и похохатывая.

Глава 9

Прохладная пустота библиотеки после плавкого, искристого полудня мастерской пропитывала тихим наслаждением. Я вдохнула привычный книжный сумрак: запах старого клея, ветхой бумаги, мудрой истертой кожи переплетов... Без всякого порядка вспыхивали и истлевали воспоминания о всеильной всезвучащей ноте, которой Мелн придал плоть. О преходящем, но таком незабвенном единении: как просто оно возникает — всего лишь бесцельное, без умысла раскрытое объятие, всего лишь Дело, которому так легко, так блаженно отдаться. О нежелании — или бессилии? — Дерриса осмеять сотворенное в этом единении нами с Мелном.

²⁹ Ваймейни нах'эле мардцэй (*вайм., народная мудрость*) — «Ваймейн и суета несовместимы».

³⁰ Ваймейнде дерси лаэриль (*дерр., народная мудрость*) — «Где ваймейн, там тихо не будет».

Шаги Дерриса за дверями прервали дремотное течение моих мыслей. Переодетый в чистое, умытый, с заново заплетенными в тугие косы волосами, он, похоже, основательно готовился к нашему уроку.

— Итак, меда Ирма, докажите же мне, что ум ваш не менее прыток, чем ваши ручки. Увы, постижение языка не предполагает *совместного* творчества.

Теперь, вне защитной сени мастерской и без Мелна за моим плечом, я была безоружно перед островами наставника. Я уныло отметила, как знакомый перечный жар зацепил горло.

— Да, медар. Я готова, медар.

Деррис, однако, впал в неожиданную задумчивость и потому был мягок — съязвил всего раз-другой. Я же наслаждалась. Мы выучили несколько дюжин новых слов, Деррис особенно налегал на прилагательные.

— Ваймейнский невообразимо богат, драгоценная меда Ирма. Обратите внимание, сколько синонимов есть к слову «прекрасный» — кэ'ах, дзурф, эг'арон, ннэ-ахх, йяф ги... Какое вам больше нравится по звучанию?

— Ннеях, медар.

— Не ннеях, а ннэахх, Ирма.

— Я так и сказала, разве нет?

— Нет, великолепная меда. Еще раз.

— Нннэахх.

— Уже лучше...

Деррис в тот вечер проявлял изумительное терпение. Я то и дело поднимала на него глаза и исподтишка разглядывала его лицо. Он упорно избегал моего взгляда и все время смотрел лишь в книгу и в мой альбом, вода пальцем по крупно, как для малолетки, начертанным словам. Я послушно повторяла за ним столько раз, сколько он требовал, и сама удивлялась, с чего вдруг я так покладиста. Мне вдруг стало совестно и неловко за былую свою спесь и капризы: за показным усердием всегда скрывались дерущая, как лесной дым — горло,

обида и вечное желание допечь его. Впервые за все время в замке я хоть наполовину убрала в ножны стилет собственной язвительности и просто и искренне следовала за ним, восхищаясь его любви к языку и особому таланту чувствовать его музыку и поэзию.

— Обратите внимание на одну существенную вещь, меда Ирма. В ваймейнском «безыскусный» и «прекрасный» имеют один и тот же корень — ахх.

Я немедленно и с удовольствием записала это и отметила про себя, сколь изысканна эта особенность.

— Почему вы не говорите вслух, что вам это понравилось? — Деррис вдруг поднял на меня глаза.

— Не знаю... Мне казалось, вы не приветствуете лишнюю болтовню, медар.

— Отчего же? Это было бы совсем не лишним.

— В таком случае позвольте заметить, что ваймейнский не перестает удивлять и восхищать меня, медар Деррис.

Сказала — и сразу вдруг потеплел воздух вокруг. Я встретила взглядом с учителем — и, вероятно, впервые мне стало уютно с ним рядом. А еще я заметила, как в его глазах промелькнула какая-то хрупкая тень, которую я не успела поименовать. Потому что за нашими спинами раздался голос, по которому я успела безмерно стосковаться:

— Добрый вечер, меда Ирма, медар Деррис. Вы, я вижу, увлеченно занимаетесь, а меж тем я бы желал видеть вас на ужине ровно через семнадцать минут.

Герцог вернулся!

Глава 10

Ужин был великолепен. Похоже, не мне одной показалось, что Герцог отсутствовал целую вечность. Он предложил было общаться в тишине, но какое там! Мы

смеялись, как дети, глаза у всех горели, мы наперебой рассказывали ему о последних событиях в замке. Все гомонили, как перелетные птицы, но когда шум достиг апогея, Герцог предложил нам утихомириться и с трапезничать достойно. Однако нас было не унять: Мастер снова с нами!

Ужин затянулся далеко за полночь, никто не соби-рался расходиться, и слуги уже подали чай по третьему разу, когда Герцог наконец поднялся и предложил нам отправляться в опочивальни. Сумеречные тени у него под глазами выдавали некоторую усталость, и все мы беспрекословно повиновались. Герцог по очереди обнял каждого — мягко, ласково радуясь встрече.

— Выспитесь хорошенько, меда и медары. Завтра нас ждет небольшая верховая прогулка, — сказал он, и многоголосое «ура!» было ему немедленным ответом.

Первая верховая прогулка всей компанией! Я ликова-ла вместе со всеми, а шепотки и переглядывания между моими соучениками списала на восторг предвкушения: им-то наверняка не впервой. Я и не подозревала, что уго-товано мне в этой невинной прогулке. — Дерейн, медар Дерейн, Йамира, ну не восхитительно ли!.. — Я пооче-редно дергала всех за рукава, заглядывала им в глаза. Сей-час забавно вспоминать об этом, но в тот вечер...

— О да, меда Ирма, разумеется! Вам тем более есть от чего волноваться, — заговорщицки прошептала Йа-мира и покосилась на меня лисьим глазом, но Дерейн, сделав большие глаза, незаметно прикоснулся к ее лок-тю, и она пояснила торопливо: — Вы же впервые на *та-кой* прогулке.

Даже эта маленькая странность нимало не насторо-жила меня, нисколько не убавила восторга. Я постара-лась сразу уснуть, чтобы как можно скорее наступило утро.

А на следующий день, сразу после Рассветной Песни, мы высыпали во двор, где нас уже ожидали оседланные

лошади. Завтрак Герцог отменил, но я готова была питаться утренним ветром и счастьем находиться рядом с медаром Эганом и остальными.

Лес гудел весной. Тонкая поволока свежей листвы окутала деревья; конский топ мешался с гомоном прилетевших птиц. Солнце пронизывало высокие кроны, а воздух был свеж и остер, как молодое вино. Кровь вскипала и играла в ушах — и от юной красоты вокруг, и от того, что лошадь мне досталась совершенно безумная. Когда мне ее подвели в час рассветных сумерек, я, до конца не проснувшись, не обратила внимания, как пританцовывает и косит лихим глазом моя лошадка. Но стоило мне запрыгнуть в седло и дать животному шпоры, как вся моя безмятежность улетучилась.

Я давно и хорошо езжу верхом. В отчем доме говорить, пользоваться вилкой и ножом и не бояться лошадей детей учили одновременно. А еще чуть погода нас уже сажали в седло — сначала впереди конюха, потом за спину ему, а вскоре оставляли на лошади одних, и мы восседали горделиво, вцепившись побелевшими пальцами в луку, пока конюх водил смирную полусонную лошадь по кругу во дворе поместья. Но уже лет в десять мы выезжали и в поля неспешной рысью — «вальяжно гуляя», как говорил отец.

Пьяная радость, воля, птичий восторг полета — вот что для меня такое всегда была верховая езда. На фиондарэ³¹ отец подарил мне роскошного рыжего жеребца — сильного и дружелюбного. Мы стали приятелями с выездки, и я изрядно скучала по нему в своих отлучках из дому. Он никогда не был тупой клячей, с ним стоило держать ухо востро, но моя нынешняя лошадь!.. Угольно-черная кобыла, что несла меня рядом с Алис и Бограном, давала огромной форы моему рыжему Чибису. Замковые конюхи сказали мне, как ее зовут, но из восторженной

³¹ Фиондарэ (*фери.*) — вхождение в возраст у девочек, пятнадцатилетие.

моей головы имя немедля вылетело, и теперь я лихорадочно пыталась назвать ее заново. Алис забавлялась, допекая меня простыми вопросами, на которые я отвечала не сразу и невпопад, занятая лишь тем, как бы не отстать от кавалькады и вылететь из седла на полном ходу. Как же тебя назвать? Бестия? Фурия? Гарпия? Нет, не то...

— Почему бы вам не выбрать что-нибудь поласковее, Ирма? — Герцог поравнялся с нами, вклинился между мной и Бограном.

— Герцог, да она бешеная, — возопила я в ответ. Лошадь подо мной, учуяв, что я на мгновение отвлеклась, прынула в сторону, и полуголые звонкие ветки хлестнули по лицу, больно дернули за волосы.

— Станьте сильнее ее — станьте с ней нежной, — прозвучало в ответ. — Нежной и неумолимой. Как само мироздание. — И уже вполголоса он добавил: — Это касается не только лошадей, дорогая Ирма. — Герцог прищипнул своего рысака и догнал Йамиру и Локиру, унесшихся далеко вперед.

И снова буйная кобылица дернула вбок, понеслась по кустам. Я натянула поводья что есть сил, первоизданный ужас на миг накрыл меня с головой, и я, не помня себя, выкрикнула:

— Тише, любимая, тише!

То ли слово подействовало, то ли мое отчаяние, а может, и Герцог мысленно приструнил, сжалившись надо мной, — но Любовь моя перешла на довольно ровную рысь. Я вздохнула с облегчением и прошептала ей в свое ухо:

— Спасибо, Любимая!

Наконец-то я могла смотреть по сторонам и наслаждаться поездкой. Кавалькада была чудо как хороша. Блистательные наездники, сильные, свободные, беззаботные, звонкоголосые. Йамира вдруг запела какую-то привольную морскую песню, от всех нас приветствуя пробуждение мира.

Все знали, куда мы направляемся. Все, кроме меня. Лес поредел, замелькали, усыпанные вспышками солнечной слюды, базальтовые исполины-валуны, и скоро мы уже были у подножия невысокой каменной гряды. Это ее видела я из окон замка. Проехав еще немного, мы услышали болтовню шустрой воды, и вот уже между деревьями заискрился, заиграл горный поток, довольно широкий и умеренно бурный: мы могли бы форсировать его, не слезая с седел. Однако Герцог жестом командовал нам спешиваться. Мы немедленно повиновались.

Вместе мы двинулись за Герцогом вверх по течению. Рокот воды заглушил все прочие звуки. Впереди, в нескольких шагах от нас высилась осыпь из угольно-черных валунов. Пихты, причудливо перелепленные ветром, здесь почтительно расступались, солнце вылизывало шершавые щеки камней, и над ними даже в этот ранний час уже полоскался тонкий муар нагретого воздуха. Пара огромных плоских плит мостила удобную площадку прямо у воды.

— Стреноживайте коней, меды и медары. Бивуак.

Мужчины уверенно — очевидно, хорошо зная эти места, — занялись костром, а дамы столь же немедленно и слаженно принялись собирать цветы, стелить рогожи на камнях. К седлам всех ездоков — кроме моего седла — заботливые замковые слуги приторочили небольшие тюки с провизией и посудой. Поначалу я насупилась: меня опять не взяли в игру, — но как тут всерьез обижаться, когда все хохочут, балагурят и резвятся?

Вскоре костер, разведенный с подветренной стороны за камнями, затрещал сухими сучьями. На тарелках появились фрукты, холодное мясо, хлеб, зелень. Даже пара кожаных бутылей с вином нашлась. Что бы мы ни ели все вместе, пища всегда была в радость, а вприкуску с бисквитным головкружительным воздухом, запитая ароматами свежей листвы и трав, крокусов,

прели, древесных соков еда вливала вскипающей силы с каждым глотком.

Посреди нашей незатейливой, но такой упоительной трапезы Герцог вдруг поднял кубок:

— Меды и медары! Я счастлив вновь разделить с вами Первую Весеннюю Трапезу. Ясное, простое, нежное и игривое — истинно.

Ученики перекрещивали взгляды и, едва шевеля губами, повторяли произносимое за Герцогом — как старинное, выученное наизусть заклинание.

— Среди нас есть ученица, которая впервые встречается с нами весну, — продолжил Герцог, и все взоры сошлись на мне. — Я вижу, что последние месяцы не прошли для нее даром.

Отчего вдруг запахло грозой? Почему плотнее, туже стали даваться мне вдохи и выдохи? Зачем между ключиц — эта внезапная пропасть головокружительной высоты?

— Посему я предлагаю причастить ее к радости, какой не доводилось еще вкушать ей.

Лицо Герцога — открытая книга, но я не знаю языка, на котором говорит эта страница. Я вчиталась в лица соучеников: лукавая сказка, одна на всех.

— Согласны ли вы разделить с ней Речную Игру?

В коротком кивке плеснули на ветру пестрые косы и локоны, на устах каждого ученика расцвел тюльпан «да». Герцог заплел согласие в венок и вручил его мне, просто, обыденно:

— Сейчас мы будем купать вас, меда Ирма. Обнажайтесь.

Я тут же решила, что ослышалась. Но зачем переспрашивать, если вся я, с головы до пят, стала знаком замешательства? И тогда вмешался Деррис:

— Медару Герцогу, похоже, придется сказать это еще раз. Меда Ирма любит, когда урок повторяют не единожды.

Никто не засмеялся. Никто не отвел глаз. Меня будто держали на руках, бережно, нежно.

— Медар Герцог, — начала я нерешительно, — верно ли я поняла вас? Вы велите мне раздеться?

— Нет, маленькая меда. Не велю. Приглашаю.

— Но... Здесь же мужчины? — прошептала я, и щеки опалило багрянцем.

— Именно так.

— Что нужно снять с себя? — Совсем уж нелепый вопрос.

— Все, что на вас надето, — последовал незамедлительный ответ.

Я медленно встала.

— Не понимаю...

— И не поймете, пока не сделаете то, о чем я вас прошу. — Голос Герцога стал совсем тихим и вкрадчивым.

Тишина вдруг зазвенела в ушах так, что захотелось их заткнуть, а толку?

Я беспорядочно бродила руками по складкам туники, бессмысленно взялась несколько раз за ворот, потеревала рукава.

— Но как же я могу?..

— Меда Ирма, мне показалось, что с «благовоспитанностью» уже давно покончено. Я ошибался? — В последних словах я отчетливо услышала разочарование. — Вы не представляете себе, что вас ждет, Ирма. Доверьтесь. Нагота, в которой мы видим друг друга каждый день, — в слезах, в смехе, в открытых признаниях. Нагота же вашего тела гораздо обыденнее. Дайте себе ощутить это.

Я вдруг сдалась. Медленно, как во сне, убрела за высокую грудь камней позади нашего бивуака. Помедлив, сбросила на землю шаль и стянула через голову теплую от солнца, любимую и вдруг такую родную тунику. Горячее марево тут же укутало меня парчовой своей мантией, и будто вместе с туникой я стянула

с себя кожу. Сердце барабанным боем разгоняло по телу не кровь, а кипящий грог.

— Я... готова! — крикнула я, все еще сомневаясь, готова ли.

— Так идите же к нам, меда Ирма!

Решиться, отважиться. Обратный путь есть — одеться, отказаться. Но он отчего-то скучен и сер.

— Идите-идите, мы уже ждем вас!

Я как могла прикрыла самые тайные места, зажмурилась и пошла навстречу своему ужасу. Меня встретили негромким смехом: так, вероятно, взрослые веселятся, глядя на чадо, которое ждет особый подарок. Я осторожно открыла глаза — и едва не отпрянула к спасительным камням.

Все ученики и сам Герцог приветствовали меня стоя. Совершенно нагие.

— Ну же, Ирма! Как видите, мы все равны — и, в общем, одинаковы.

Я глубоко вздохнула и еще раз осмелилась глянуть.

Девять фигур, словно храмовые свечи, осиянные солнцем, неподвижные, тихие, они были божественно, ослепительно красивы.

— Дерейн, проводите.

И словно в память о той незабвенной ночи, Дерейн шагнул мне навстречу и протянул руку.

— Смелее, Ирма. В тот вечер, осенью, вы были одна. Теперь — нет. И дождя не будет.

И в который раз с благодарностью приняв его помощь, я подала руку, ученики расступились, и Дерейн повел меня к воде. Я не боялась замерзнуть: казалось, моя кожа раскалена добела. Я вошла в говорливые волны, и вода, безразличная, веселая, закружилась вокруг лодыжек. Дерейн был рядом.

— Айо, Ирма, — шептал он, — еще, заходите поглубже.

Когда река обхватила меня за талию, мы остановились. Песок на дне тек меж пальцев, затягивал, держал, не давая реке унести меня с собой.

— А теперь закрывайте глаза, — скомандовал Герцог. Я повиновалась.

Заплескало, зазвенело текучее серебро. Ученики один за другим сходят в реку. Шелковыми узлами вяжется поток: меня обступили, взяли в плотное кольцо. Я слышу, как восемь воздушных ручьев омывают мне лоб, глядят веки. И вдруг вода не течет уж мимо, а лунчинным пламенем пеленает мне голову, плечи... и шею, и руки, и струится между лопаток: это шестнадцать рук пригоршнями поднимают реку наверх, и глядят меня, и скользят кончиками пальцев по коже, и я вижу, не — открывая глаз, как вспыхивают и дрожат тысячи искр, облачают меня под кожей в одеяние света, а еще глубже — стеклянный фонарь тела, а в нем — радуга трепета, болотный огонек, мое я.

Мое маленькое разноцветное сердце — в тенетах шестнадцати рук. Льется вода, она гуще топленого масла и такая же вызолоченная: в ней — ужас любви и истинной музыки, которых не услышать, не узреть, не понять на вкус и дух, но которые будут до самой смерти. И даже после нее. Потерян счет касаниям, и хрустальная паутина бесстрашной нежности вырастает в рыдающую от восторга кожу.

Но вот уж редееют прикосновения, отлетают морскими чайками пальцы, перебивавшие пряди моих намокших волос, река успокаивается и возвращается в русло. Нет в этом горечи одиночества, лишь свобода уединения. И меня вдруг подхватывают под колени, и голос Герцога над ухом шепчет:

— Держитесь, меда Ирма.

В одно касание, в три слова он превращает меня в маленькую девочку. Я хватаюсь за его шею, и вместе со мной медар Мастер погружается с головой в неумолчные волны.

Позабыв схватить воздуха, я забилась, как тонущий зверь, Герцог выпустил меня, и я вынырнула, фыркая и поднимая фонтаны брызг. И тут же взорвались визгом и хохотом мои соученики, и Речная Игра началась.

Мы обдавали друг друга каскадами воды, окунали и топили друг друга немилосердно, подставляли ножки, носились по мелководью и раздавали дружеские шлепки и пинки направо и налево. Йамира, обнажив свою ведьмовскую сущность, одной левой макала Мелна с головой; Амана подплывала под водой и подсекала всех без разбору; Богран подкидывал Алис на несколько локтей над бликующими волнами, и та, в веерах капель, обрушивалась в поток, а мы валились сверху, пытаясь не дать ей сплыть. Солнце горело на наших спинах и плечах, плети мокрых волос хлестали по лицам. Шума и брызг было что от табуна лошадей.

Водяная истома забрала нас нескоро, но пришел и ее час. Один за другим мы выбрались на берег, задохнувшиеся, хмельные, усталые. Высокое небо принялось сушить нас и греть. И лишь тогда вспомнила я, что все мы сейчас — нагие. И я засмеялась, сначала — тихо, про себя, но совсем скоро — в голос.

— Поделитесь шуткой, меда Ирма! — загомонила разом вся компания.

— Мы же... ха-ха... мы же совсем... совсем голые! — Я давилась словами, смех отменял речь.

— И что? — переспросил Дерейн.

— И ни-че-го! — ответила я и захохотала пуще, а вслед за мной — все остальные. Герцог веселился вместе с нами, а потом предложил все-таки одеться: ему бы не хотелось, чтобы мы все назавтра слегли в лихорадке. Еще недавно я не желала обнажаться, теперь же едва не отказалась облачиться.

Мы выпили по бокалу вина, и стало уютно и тепло. Разговоры затихли, и в молчании продолжала цвести и переливаться музыка Речной Игры. Мое племя. Один

на один с собой родилась я, один на один с собой умру. Но пока жива, я знаю теперь — я не одна. Ничто и никогда не сможет отменить, вычеркнуть сегодняшний день, священную связь, величие разделенной игры. Я наконец поняла разницу между фернским и деррийским словами, обозначающими дружбу³².

— Именно так, меда Ирма. Спасибо за Игру. — Я обернулась на голос Мелна. Герцог и Богран кивали, улыбались. Я вернула им блаженную улыбку, искала верные слова:

— Спасибо. Я вас очень...

— О-о, Ирма, ну разумеется! — прервал меня Герцог. — Вы так громко это чувствуете последние полчаса, что эти ваши слова уже безнадежно устарели. — Сулаэ фазтар!

Глава 11

После нашего купания в леса вокруг замка внезапно пришло лето. Дни стояли полные кипучей майской неги, парк утопал в цветах. Ночи стали коротки, как полет стрелы, и ученики целыми днями упивались солнцем, старались перенести все свои Дела в парк. Все, кроме нас с Деррисом.

Вдруг оказалось, что лишь Деррису и есть до меня дело — остальные, все как один, внезапно с утроенным азартом занялись своими Делами и в один голос твердили, что я уже могу заниматься самостоятельно, они меня всему научили, и теперь дело лишь за упорной ежедневной практикой наедине с собой.

И я с головой погрузилась в ваймейнский. Я уже могла по памяти написать те несколько строк, что начертаны были под драгоценным рисунком, и нетерпение мое

³² В деррийском языке понятие «дружба» обозначается словом медахари, что буквально означает «неназываемое братство».

росло день ото дня. Не раз и не два я сличала черты рисунка с теми, отсыпанными в гравии внизу, во внутреннем дворе — и не находила ни единого отличия. Не могло быть никаких сомнений: блиссова песчаная картина во дворе замка была создана именно по рисунку из ваймейнской книги.

После Речной Игры Дерриса будто подменили, и я, по правде сказать, не знала, радоваться этому или нет. Он прекратил насмехаться надо мной, грубить и сыпать колкостями, стал угрюм, немногословен и будто зато сковал. Я даже набралась смелости задирать его, но в ответ получила лишь сумеречное молчание — ни заносчивой улыбки, ни встречной дерзости.

Йамира дружила с Деррисом ближе прочих, и я решилась спросить у нее, что не так с моим наставником. Морская королева вскинула шелковые брови и глянула на меня, как смотрят на жеребят или щенков, — умильно и снисходительно.

— Ирма, детка, вы не устаете меня изумлять.

— Меда Йамира, простите мое любопытство, но мне и впрямь беспокойно за Дерриса. Пусть уж лучше он грубит, чем тоскует.

— А вы спросите у Локиры!

Локира же, как обычно помедлив с ответом, заблестела изумрудными очами и прозвенела:

— Смотрите на него не отрываясь, меда Ирма. Ваши глаза рано или поздно выведут ответ. И скорее рано, чем поздно.

И сколько бы я ни спрашивала больше, Локира лишь улыбалась, качала головой и гладила меня по спине ладонью узкой ладонью.

И снова приходил день, и снова мы встречались с Деррисом — то в библиотеке, то на площадке в башне, то в парке, то на галерее... Он подолгу терпеливо правил мое произношение, объяснял совсем уж хитрые

грамматические правила, но наотрез отказывался взять и перевести мне написанное в книге.

— Меда Ирма, вам нужен ваймейнский или сорок слов в вашей книжке? — спрашивал он, обращая на меня тусклый немигающий взор.

Я изворачивалась, как умела:

— Мне очень важно прочесть эту подпись — вы же знаете, медар Деррис... Я очень полюбила ваймейнский... — И здесь я нисколько не кривила душой: родной язык Дерриса — куда живописнее и точнее фернского — стал за прошедшие недели мне дорог и близок. — ...Но нет и не будет мне ни сна, ни покоя, пока я не узнаю, что там написано, понимаете? Помогите мне, самую малость, — умоляла я.

Деррис только вздыхал и в который раз призывал меня к усидчивости и упорству. И я покорно зубрила затейливые глаголы, произносимые не по правилам, надсаживала горло на хрипах и свистах концовок прилагательных, различала и запоминала бесчисленные эпитеты, обозначающие человеческие чувства.

И вот пришел день, когда я с волнением и трепетом уже сумела собрать несколько слов из загадочной подписи. Вот что получилось: «Блажен Парящий... Себе (или Себя?), Потому Что Он Возвращается (или Возвратился?)... Легкость (или Легкий? или Легко?)». Далее шла мудреная датировка (с ваймейнскими числительными у меня было из рук вон плохо), а следом, похоже, — имена художников и еще несколько слов, среди которых «изображение» (или «изображено», или «изобразил»?). Я чуть не захлопала в ладоши, когда перечитала еще раз то, что можно было с большой натяжкой назвать переводом на фернский. И хотя пока мне было очень мало что понятно, — я торжествовала: еще немного — и тайна блиссова Всемогущего откроется мне! Я живо представила, как красиво перепишу точный перевод, покажу его Деррису и Герцогу и заслужу их

вожделенную похвалу: не поленилась выучить целый новый язык, сошлась со своим неприятелем и приняла, признала его как учителя!

Я так громко все это думала, что сквозь собственные мысли услышала откуда-то громкий смех Мелна. Я сидела в обнимку со старой книгой на ступенях заднего крыльца. Задрав голову, я увидела медара Мелна на галерее прямо надо мной. Он свесился через перила, а рядом с ним хихикала белка-Алис.

— Меда Ирма, да вы тайная гордячка!

— Но ведь это же все правда! Мелн, Алис, не смейтесь надо мной! Я так старалась, вы же все знаете про Дерриса...

— Ну, разумеется, кто бы сомневался! — Алис охотно кивнула. — Герцог как-то сказал: приходит время, и доброе вино начинает особенно сильно пахнуть. Знаете, когда?

Я с готовностью заглотнула наживку:

— И когда?

— Когда только что скисло!

И они снова прыснули. Понимая уже, что ничего хорошего про меня сейчас не скажут, я все-таки решила переспросить:

— Дорогие соученики, потрудитесь объяснить вашей маленькой глуповатой подруге, в чем соль поучения?

— Охотно! — отозвался Мелн. — *Когда ведешь подробный счет своих заслуг — не движешься вперед, мой милый друг.* Понимаете?

— Ах вот оно что... — Меня сочли зазнайкой. — Благодарю за науку. «Или стану думать потише!» Но это я уже отметила про себя.

— Вот-вот, или хотя бы думайте потише!

То утро, когда я собрала воедино всю подпись под рисунком, отеканено в моей памяти, как в меди. Она снится мне до сих пор: ваймейнские слова завязываются в путаные узлы с фернскими, и в сплетении букв видятся мне ощеренные в глумливых оскалах крохотные демоны с осклизлой змеиной кожей, визгливый мерзкий смех царапает мне ухо даже в грезах, и я просыпаюсь в холодной испарине отвращения — и облегчения, что это всего лишь сон. Но тогда, выводя слово за словом текст, ставший для меня заклинанием, я отказывалась верить своим глазам, надеялась, что все еще не разумею языка.

Надпись гласила:

«Блажен Парящий в Себе, ибо Возвратился Он к Легкости. 2753 год по Халлис³³. Точная копия с изображения Риду, внутренний двор замка герцога Тарлиса. Каффис Лирн, Хадис Лирн».

Не помню, сколько я просидела, опустив книгу на колени и бессмысленно глядя в пространство. Рисунок в книге был не исходным изображением для разноцветного блиссова Риду и второго, мозаичного. Он был их копией! И это единственное изображение, которое я нашла, перерыв всю замковую библиотеку, не объяснило мне ровным счетом ничего. Сначала внутри зуда пустота — а потом неотвратимо, как тяжкий смрад, как смерть, как смерч, накатило ядовитое жгучее разочарование.

И разразилась ярость. Меня затрясло от ледяной злобы. Я скинула книгу с колен — обманка, фальшивка, бессмысленная кипа бумаги, — и почти вслепую бросилась к себе в комнату.

³³ Ваймейнское летоисчисление, основанное на народном мифе о сотворении мира женщиной-птицей Халлис. 2753 г. — приблизительно 30 лет спустя после года ухода Риду, согласно летоисчислению по Святому Братству Риду.

Я не желала никого видеть. Время уже истерло, изгрызло в труху зазубренный каменный осколок того дня, и он болтается по карманам моей памяти докучливым песком, но не ранит пальцев. Но тогда этот камешек сотней бритвенных щелоковых граней разодрал мне кожу, изъязвил сердце, отравил ум. И заслонил собой, изгнал прочь увиденные в замке чудеса, в клочья порвал своим ничтожным весом расписную вуаль здешнего волшебства. Обратил вино улыбок, прикосновений, нежности в уксус фальши, притворства, предательства. Сотрясаясь в тошнотворных спазмах, память извергла мне в лицо все до единой двусмысленные шутки, колкости, снисходительные замечания, ехидные шпильки Дерриса. И Мелна. И Алис. И Йамиры. И Герцога.

Ядовитая мыльная пелена застлала мне взоры, и предо мной явилась прежняя жизнь в отчем доме — простая, понятная, без дурацких вопросов и шарад. В замке у меня украли самое ценное, что дано человеку с рождения, — предопределенность, а с нею безмятежность и незатейливое счастье. Немедленно вспомнилось, что меня оставили здесь насильно, заморочили голову, одурманили, заморозили. И вот уж полгода я, глупая марионетка, играю в дешевом представлении бродяг и обманщиков, а отец и дорогой друг Ферриш ждут меня и верят без оглядки той липкой лжи, что Герцог подсунул им в том подложном письме.

Я рыдала до икоты, до дрожи, до судорог, а солнце безразлично плыло по задернутому пыльными облаками небу. К вечеру мне стало пусто, холодно и ясно. Я умылась, прибрала волосы и отправилась в залу. Я знала, *что* собиралась сказать Герцогу и всем остальным. И это будут мои последние слова.

Когда я распахнула дверь обеденной залы, вечерняя трапеза уже подходила к концу. Я остановилась на пороге и увидела, как восемь пар глаз воззрились на меня в предгрозовом молчании. Герцог медленно поднялся с кресла. «Со своего трона, — в несчетный раз за сегодня завозилась внутри меня каменная тварь. — Я не дам ему начать, не дам ему снова заморочить меня. Говорить буду я».

И костистый осколок, раздирая мне гортань, заговорил моим голосом. Я выдвигала обвинения — кучке дураков, отказавшихся от жизни ради этого жалкого заточения в замке, ради этой дремы наяву. Ради этого «учителя». Лже-Мастера. Мне казалось, я проникаю вещи и людей насквозь. Коварное гостеприимство, заговор против меня и заточение в темноте, выставление меня на посмешище во всяком разговоре, еретические изображения Всемогущего, фривольное (даже разнужданное!) обращение учеников друг с другом, позор вынужденной наготы, подстроенные никчемные уроки с Деррисом, жестоким, отвратительным, глумливым... И главное: разлучение меня с отцом и моим женихом.

Слова сыпались из меня раскаленными серебряными шариками, обжигая горло, разгоняя по телу липкий тягелый жар. Я сама не заметила, как лед моей речи перешел в кипящую лаву. Сорвавшись на крик, я даже не почувствовала, как свело мне руки и грудь и как ужасно, должно быть, исказилось мое лицо. Мелн и Амана пытались остановить меня, но Герцог пресекал эти попытки коротким, еле заметным движением руки. Он не отрываясь смотрел мне в лицо и слушал хладнокровно, бестрепетно — и, как ни силилась, я не могла пробить броню его возмутительного спокойствия.

Бурля и кипя невозбранно, я мало-помалу выдохлась. И вот уж замолчала. Эхо моего голоса постепенно

истаяло под сводами залы, разверзлась пропасть безмолвия. Герцог, по-прежнему не сводя с меня глаз, не спеша опустился в кресло. С задумчивой улыбкой он произнес:

— Меда Ирма, если я правильно понял, вы собираетесь в ближайшее время оставить нас. Вы вольны сделать это в любую минуту — замечу, что так было и есть. И для вас, и для всех остальных. Но не ранее, чем завтра утром, с вашего позволения. При вашем теперешнем состоянии духа лошади могут понести.

Все сказано. Я покинула залу, хлопнув дверью. Я вернулась к себе. Звонящая пустота вмораживала меня в пространство. Дрожа всем телом, я рухнула на кровать и бессильно, бесслезно заплакала. Подтвердились худшие мои догадки. Здесь я никому не нужна, меня и впрямь все это время обманывали. Жизнь простиралась передо мной серой, раскисшей от дождя голой степью.

Текли вязкие, мутные столетия. Рыхлое забытье едва не прибрало меня к себе за пазуху, и вдруг, как сквозь туман, я услышала стук в дверь. Изможденная и безразличная ко всему, я не потрудилась выдавить из себя ни полслова, не то что открыть. Стучать прекратили, но чуть погодя дверь приоткрылась, и на пол лег конверт. Невидимый слуга сообщил, что это послание от Герцога, и удалился. Не сразу нашла я в себе силы восстать с ложа, добрести до двери, поднять и распечатать конверт. Внутри лежали тонкий черный платок и записка. Бездумно, онемело я развернула плотный лист бумаги, разобрала знакомый почерк:

Меда Ирма, завяжите глаза платком и позвольте слуге проводить вас. Ни под каким предлогом не снимайте платка, пока с вами не заговорят. Прошу вас выполнить мою просьбу. В последний раз.

Нет, я не бросила платок и записку в камин, повинуюсь желчному порыву. Черный шелк обвивал мои

незрячие пальцы, несмело ластился к ладоням, и строгий покой дышал в переливчатых ночных складках. Захолодило горло, и тень дорогого сердцу восторга — ожидания чуда — остудила мой горячечный лоб. Я приблизилась к двери, усмирила растрепанные волосы, закрыла глаза и медленно, с особой старательностью замкнула концы платка на затылке. Пусть случится. «Это — в последний раз, в самый последний раз, слышишь!» — брюзжал внутри каменный хозяин.

Я открыла дверь. Ожидавший в коридоре слуга взял меня за руку.

Глава 14

Мы двигались по тихим ночным коридорам и лестницам, через внешнюю галерею, петляя и часто поворачивая. У меня не было ни сил, ни желания слушать запахи и звуки вокруг — я просто следовала за поводырем, не сопротивляясь и ничего не ожидая. Вскоре мы остановились, передо мной открыли дверь, меня впустили внутрь и оставили одну.

Я наконец прислушалась и осторожно втянула воздух. Где-то рядом потрескивал огонь, струилось густое ровное тепло. Пахло мускусом и еще чем-то неуловимо знакомым — но никак не вспомнить, откуда знаю этот терпкий будоражащий запах. «Не одна, я здесь не одна», — тревожно прошелестел внезапно присмиривший звереныш внутри. Я несмело протянула вперед руки, и кончики моих пальцев уперлись в мягкую ткань. А еще через вздох моей щеки невесомо, едва осязаемо коснулись. Неведомые пальцы, легче и нежнее плеска мотылька, заскользили по лицу. И уходящий день немедля вычеркнул себя: только у живого бога могли быть такие руки.

Движение, какое ни на есть: танцует вода, играет огонь, мерцают листья на ветру, блуждают облака,

рисуют небо птицы, и травы щекочут марево июля, — застыло все, и сквозь замерший мир проступает Рид Всемогущий, и он один лишь дышит и ходит, и руки его, усыпанные далекими звездами, гладят мне лоб, перебирают влажные от прогорклых слез волосы, размыкают мне губы. И его дыхание — солнечный ветер, соль всех морей, — ласкает мне гортань. И я слышу, как впивает он мой запах, и сама тяну к нему руки и знаю — не оттолкнет. Прими меня, Рид, люби меня, как от рождения и до смерти все равно будет, но ты пришел сам и утопил меня в золотой смоле, так дай мне остаться здесь, сотвори камео себе на плащ, я обрету вечность, спеленатая янтарной твоей любовью, — лишь бы никогда, никогда не перестал ты прикасаться ко мне. Лишь бы никогда не оставил меня просто верить в тебя. Ибо явлено чудо: Рид сам приходит любить меня.

Рид плачет надо мной; я собираю на кончики пальцев горячую ртуть его слез, смешиваю ее со своей. И черный шелк у меня на лице тяжелеет, густеет, и вот уж бежит моих век, чтобы увидела я и не могла говорить, что все приснилось. Я разомкнула ресницы и встретила глазами с Деррисом.

— Выслушайте меня сейчас, меда Ирма. — Он шептал быстро, чтобы я не успела прервать. — С того самого вечера, когда мне пришлось взять вас, — я пропал. В вас для меня — мой Рид.

Не было во мне слов — вопросов, ответов. Я желала слушать его, без вчера и без завтра.

— Я делал свое Дело, Ирма, и Рид мне свидетель — никогда оно не давалось мне с такими муками.

И я спросила, потому что он ждал вопроса:

— О каком Деле вы говорите?

— Я — актер, меда. Мне выпало повторить путь моего знаменитого соотечественника. Пока вас испытывали тьмой, Герцог велел мне стать для вас особым учителем. Он поручил мне едва ли возможное: я должен был

изображать ваше проклятье в этом замке. Учить вас быть свободной от привязанности к чужому мнению, к вашей гордости, к вашей чопорности. Мои драконы — такие же, как и ваши. Герцог всегда это знал.

Мне нужно понять, *что* он говорит. Зачем-то нужно понять.

— Значит, все это время вы усердно обманывали меня? Сознательно уязвляли меня? — Откуда я знаю такие слова? Не мой голос, не мое горло, не мое сердце стучит в этих «т», не моя душа поет эти «о».

— Да, дорогая моя меда. Поверьте, это было не меньшим испытанием для меня самого. Не знаю, кому из нас было больнее.

И моя с Деррисом история перевернулась на глади памяти, как рыбацкий поплавок. И каждое слово моего бога-наставника вплелось в понятную мне птичью песнь.

— А как же остальные ученики?

— Они всё знали и дали слово поддерживать эту затею. Они разыграли представление вместе со мной, с вами в главных ролях. Но у каждого, разумеется, была и своя партитура. Им не пришлось лицедействовать — они изображали самих себя.

Все было сказано. И более всего боялась я, что вот сейчас, еще немного — и Деррис разомкнет объятия, и Рид, отступив в полуночную тишину, покинет меня, оставит лишь запах торжествующего ливня и умытой листвы. Тысячи тайн и загадок сплывались в одну — и ее не требовалось разгадывать. Ответы — украшения ума, вопросы — его игрушки. Я обнимаю Рида. Это ответ.

— Мне кажется, что теперь меда Ирма умеет слушать, но ей не нужны ответы. Что ж, самое время их дать.

В подсвеченном факелами проеме двери чернел силуэт Герцога.

Герцог был совершенно прав. Всё теперь светло, ясно, пусто. Чистый лист бумаги.

— Теперь, когда исчезла *нужда*, когда развеялись ожидания, я готов предложить вам все, о чем вы просили. Итак: умница и весельчак, любитель и любимец женщин, талантливый артист — жил-был один юноша-полукровка, полудерри, полуваймейн. Между бродячих артистов-дерри он слыл лучшим среди равных, но быстро достиг подлинных высот мастерства. Ему никогда не приходилось *играть* — он всегда *был собой!* Он рыдал и смеялся так, будто выплескивал в публику всего себя. Дерри признавали его как совершенного мастера своего Дела. Они даже дали ему старинное, исключительное имя — Арриду³⁴.

Я слушала, как в детстве — нянину сказку: затаив дыхание, представляя героев в лицах. Герцог продолжал:

— В зените славы Арриду бросил свою труппу и надолго исчез невесть куда. И лишь кое-какие слухи доходили, что великолепному Арриду подарил целый замок какой-то сумасшедший герцог, его полоумный поклонник, — и стал его первым учеником. Но далеко не последним. Арриду начал появляться то здесь, то там — мимолетный, неузнанный, и он всюду находил себе учеников. Этих людей он видел в гончарах, кузнецах, певцах, художниках, охотниках, белошвейках и даже — в тихих домашних фионах, меда Ирма. Он учил их сливаться с тем, что они всю жизнь считали свои ремеслом, наставлял, как отдаваться каждому движению, забывая о прошлом и будущем. Так, как он играл на сцене. Прошло много лет. В замке Арриду перебивали десятки людей со всего Королевства. И пришел день, когда Мастер назначил преемника и вновь

³⁴ Арриду (*дерр.*) — мастер.

бесследно пропал. Но ненадолго: он готовил свой последний спектакль. В финале своей прощальной пьесы он непостижимо вознесся над сценой и растворился в воздухе, оставив лишь шутовскую просьбу к людям: не забывайте парить!

Поначалу в Святое Братство Рида входили зрители того памятного представления. Среди них оказалось несколько вполне влиятельных особ, желавших сменить стезю своей власти: не силой править, а именем божьим. Были там и некоторые ученики Арриду, стремившиеся владеть не только знанием, но и с его помощью — чужими умами. Новоиспеченные самоназванные Святые Братья в узком кругу сочли, что до свободы, предложенной Арриду, публика не доросла, ей опасно знать Арриду в лицо. Они сделали его Всемогущим и укоротили его имя до «Рида», чтобы никто и никогда не догадался о его истинном происхождении. Разумеется, кроме имени были уничтожены заодно и все люди дерри, а также их романы, стихи, пьесы, оперетты, памфлеты...

Герцог на миг погрузился в печальное молчание, но вскоре заговорил вновь:

— Ваймейны, за редчайшим исключением совершенно чуждые театру — простите великодушно, медар Деррис, — считали Арриду сыном своего народа, хотя половина крови в нем была от дерри. Именно поэтому только в их книгах сохранились какие-то упоминания о нем. Картинка, которая так долго лишала вас сна, меда Ирма, — дань обожания, которую воздали ученики первому герцогу замка. Ах да, кстати — вероятно, нет нужды уточнять, о каком замке идет речь, не так ли?

Этот вопрос не нуждался в ответе.

Герцог закончил. Он опустил подбородок на скрещенные бледные пальцы и теперь смотрел на меня с какой-то невыразимой усталой нежностью. Я бездумно кивала, но взглядом блуждала где-то там — по лабиринтам этой древней истории, которая только что

отзвучала под сводами комнаты, в эту ночь ставшей для меня храмом. Чуть погодя я робко спросила:

— Герцог, могу ли я просить у вас прощения за вчерашние мои опрометчивые и такие близорукие, жестокие и неблагодарные слова?

— Не стоит, меда Ирма. Я бы рад был простить вас, но не могу. Потому что не обиделся.

Я улыбнулась ему сквозь слезы:

— Тогда позвольте испросить у вас разрешения остаться. Я желаю продолжить обучение.

— Увы мне, но и эту вашу просьбу я не удовлетворю. Вы уедете, меда Ирма, через несколько часов — сразу после завтрака.

Немая мольба в моих глазах и дрожащие мои губы, вероятно, сказали даже больше, чем могли бы слова.

— Нет, я не прогоняю вас, Ирма. Выражаясь языком театра, я скорее отправляю вас на этюды. Верно, Деррис? Вы еще не раз вернетесь сюда, драгоценная Ирма. Но сейчас пришло время пожить снаружи. Понимаете?

Внезапно мне стало невыразимо легко. Я поняла, о каких «этюдах» говорил когда-то народ *моего племени*.

— Медар Герцог, а что я буду делать... снаружи? — Слова все еще давались мне с трудом.

— Ваш Арриду вам подскажет, меда Ирма. Жизнь — музыкальное представление без партитуры, и дирижер незрим. Играйте только себя — и изо всех сил.

— Но вы же столько всего еще могли бы мне рассказать, столькому научить... — Я знала, что бестолку просить, что Герцог уже все решил и ему, без сомнения, виднее. — Я не знаю историй Аманы, и Алис, и Мелна... Я не прочла и десятой доли вашей библиотеки. «И я так мало говорила с вами, Герцог», — я не сказала этого вслух, но знала, что и так будет услышано.

Медар Коннер Эган улыбнулся:

— Моя библиотека — всегда в вашем распоряжении, дорогая меда. Она — ваша. Что же до историй, то основы

сюжетов я вам с легкостью подброшу: Алис еще ребенком случайно отбилась от семьи блиссов, и я подобрал ее в глухом лесу, довольно далеко отсюда. Мелн еще подростком был мастером-гончаром, и я не мог пройти мимо такого самородка: сделал ему довольно необычный заказ — и получил его вместе с исполнителем. Разумеется, с согласия Мелна и его почтенных родителей. А Амана... Пусть ее история будет когда-нибудь рассказана ею самой — такие легенды должны дарить только их главные герои. Вам же, чтобы услышать, придется, отточить мастерство бессловесности до совершенства. А подробности вы прекрасно домыслите сами.

— Герцог, вы несправедливы. Я записываю подлинные истории, слово в слово.

— Нет и не может быть в этом мире ничего слово в слово — из того, что видят и говорят люди. Нам не дано видеть как есть. Шарад никогда не становится меньше — ум из всего сотворяет игрушку.. На этюдах вы сами убедитесь в этом. А чтобы вам не скучать по здешним играм, я дам вам попутчика. Медар Деррис, ваша последняя роль удалась на славу, и это последний урок, который я намерен был вам преподать. Во всяком случае — пока.

Я не видела лица Дерриса — тот стоял сзади и обнимал меня, — но почувствовала, как вздрогнули его руки у меня на плечах.

— Да, медар Герцог. Как вам будет угодно, медар Герцог. — Он склонил голову, и матовая черная прядь мазнула мне по щеке.

— Прекрасно. Я всегда ценил вас за понимание, драгоценный медар. — Герцог вернулся к своему излюбленному ироническому тону. — Настало время нашей Рассветной Песни. Уже утро.

Мы спустились в часовню. И мы спели нашу Рассветную Песнь. Кто знает, быть может, последнюю для нас с Деррисом. Остальные ученики уже всё знали.

От слез, затоплявших меня целиком краски рассветного Рида плыли и сливались, как на палитре у Локиры. Сквозь эту радужную сверкающую пелену я вглядывалась в лица моих друзей — бесценных, невыносимо близких. Они пели для нас, они провожали нас в путь, они желали нам любви и сил. И большой смелости. Я стояла на коленях, и не было ничего во мне, кроме сердца. Герцог вошел, как всегда, последним, но не припал к стопам Рида, а остался между мной и Деррисом. Я смотрела на медара Мастера снизу вверх — и мне вдруг захотелось пасть к его ногам, благодарить, славить его наставничество. Я тихонько потянула его за подол, мы встретились взглядами. Грусть и радость прощания, из которого состоит все время, что мы дышим, придали мне сил и вновь ответили на незаданный вопрос.

Потом мы сидели все вместе, обнявшись, не разговаривая ни вслух, ни без слов, и мое племя дышало и пело: «Мы еще встретимся, не бывает прощаний». И я проваливалась в эти карие, зеленые, стальные, синие глаза, падала и не находила дна.

А за столом все уже дурачились как ни в чем не бывало. Я поначалу смущалась и пыталась грустить, но Локира шепнула мне на ухо:

— Пока все живы, праздник неминуем, так начинайте сейчас же готовиться!

И когда подали фрукты, на своей тарелке, среди любимых фиг, я увидела ожерелье: восемь малых и одна огромная бусина, нанизанные на суровую темно-синюю нитку. Подарок крошки Алис, верное дело.

— Это вам, маленькая меда, — счастливо заулыбалась она.

Я тайком поглядела на Локиру — пусть солнце высушит подступившие слезы.

— Ваше племя — в полном сборе. А кто есть кто, угадывайте сами.

Я перебирала бусины, как четки. Угольно-черная, матовая с таинственными искрами — Йамира. Серебристая, блестящая — Амана. А вот и сама Алис — золотисто-коричневая с шоколадными прожилками. Локира — бездонно-изумрудная. С другого края — медары: Мелн — голубая, морская, переливчатая бусинка, Богран — бурая с горячим металлическим блеском, Дерейн — цвета весенней травы со случайной оранжевой крапункой... а вот и белая, совершенно белая бусина — без переливов, без блеска, молочной тьмы. Кто это?

— Это ваш попутчик, меда Ирма! Поймете сами, какого она цвета, подсказок не будет. — Блиссова дочь хитро подмигнула мне, и маленькие демоны заплясали в воздухе между нами.

Большая бусина посередине горела ночной синевой. В самом сердце этой главной бусины словно тлел крошечный дрожащий огонек, озаряя всю ее тонкими огненными сполохами. Герцог.

— Алис, они великолепны... Как мне благодарить вас?

— Не потеряйте их, грейте в ладонях почаще, меда Ирма. И мы всегда будем знать, как сильно вы любите замок и... всех нас, — почти прошептала она. — Мы будем знать, что странствие ваше еще не окончено.

Я надела оберег, спрятала его под ворот, и незримый свет девяти сфер озарил меня, согрел, обнадежил.

Но вот наше время пришло: в залу вошел слуга и сообщил, что лошади запряжены и ждут у крыльца. Все поднялись прощаться. Герцог церемонно поклонился:

— Меда Ирма, медар Деррис. Время ехать. Ваш новый урок начинается.

У нас было ровно сто мгновений ока на сборы и переодевания. Тоска расставания вновь заслонила мне

солнце тяжелой багровой тучей, и я повторяла про себя слова Локиры — чтобы не плакать, чтобы верить.

Залитое солнцем крыльцо, свежие сытые лошади. Все сказано, прощанье бессловесно: мы уже в седлах, я и Деррис, подо мной — та самая Любовь, она помнит меня и сегодня смирна и добродушна. Замок грезит в лучах лета, как многие сотни лет до этого дня, безмятежный, незыблемый и, кажется, вечный. Скажите мне, серые камни, я ведь правда вернусь? Вы станете ждать меня? Вы всё еще, может, ждете, что вернется хозяин Арриду?

Герцог стоит у моего стремени, и я слышу его безмолвную речь:

«Скажите, Ирма... Вы любите его, если по правде?»

Шарад никогда не становится меньше, вспомнила я. «Н-не знаю... Не совсем уверена, что верно понимаю вас, медар Герцог».

«Ах, Ирма, уж не думаете ли вы, что я про Дерриса?»

«Как радостно, как привычно изумляться рядом с вами, Герцог. Тогда о ком речь?»

«О Риде, меда, только о Риде!»

«Но ведь... Его же уже давно нет в живых!»

Деррис старательно не вмешивался в наш обмен мыслями, лишь улыбался лукаво.

«Ну вот — выходит, Дерейн зря загадал вам свой ребус... Не стоит выбрасывать из головы ребусы: вдруг кто-нибудь когда-нибудь подарит вам ключ?»

Я вспомнила наш разговор с Дерейном — тогда, на галерее, в дождливую зимнюю ночь. Мой ангел-хранитель говорил тогда что-то о вкусе Рида во всем... О том, что Рид — это всего лишь название вкуса... И еще — «как дышать».

«Ну конечно, меда! Поэтому нет нужды всякий раз называть имя того, кто рядом с вами. Кем бы он ни был — Деррис или не Деррис... У меня плохая память

на имена. И для простоты я запомнил всего одно. Так проще. Как дышать».

— ...Сулаэ фаэтар! — промолвил Герцог, и мы тронули поводья...

О нет! Как я могла позабыть?

— Медар Герцог! — Мне показалось, что стены замка ответили мне тройным эхом.

Он обернулся. Он уже взялся за ручку двери.

— Да, меда Ирма?

— Прошу вас — еще один вопрос!

— Вы ненасытны, маленькая меда. Слушаю. Но пока вы живы — не бывать последнему вопросу.

— Скажите же, каково же мое собственное Дело?

Герцог улыбнулся и ткнул указательным пальцем на мою седельную сумку. Я лихорадочно расстегнула ремни и вновь перебрала все, что в спешке туда побросала. Пара флаконов с духами, сухая синяя роза моего заточения, две записки от Герцога, синий замковый плащ (моя драгоценность!) и... два пухлых дневника... Объяснений не будет: Герцог уже скрылся за тяжелыми дверями замка.

Деррис мягко тронул мою руку:

— Нам пора, Ирма, едем.

Мы шагом ехали меж Рубиновой и Бирюзовой долями парка к воротам, за которые я так давно не выбиралась долее чем на день. Каскады цветущих пурпурных и синих роз провожали нас в путь. И лишь когда в гомон и щебет птиц впитались басовый срежет отпираемых привратниками запоров и еле слышный скрип петель, и огромная ненаписанная еще мной книга замковых ворот распахнулась передо мной — в неведомое, — я наконец *услышала* Герцога.

FIN

2004, 2010–2011

САША ЗБАРСКАЯ

ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

*Вместо послесловия к переводу
«Повести о том, как
в моей жизни произошла
одна поистине замечательная
история» Ирмы Трор*

*До просветления колол дрова, носил воду.
После просветления колю дрова, ношу воду.*

Дзэн-пословица

*Ваше ожидание еще не исполнилось.
Роберт Хайнлайн, «Чужак в чужой стране»*

*Чарльз: Хочу предложить тебе никогда
не выходить за меня замуж. Ты согласна?*

Кэрри: Да.

Из к/ф «Четыре свадьбы и одни похороны»

*Drench yourself in words unspoken
Live your life with arms wide open
Today is where your book begins
The rest is still unwritten*

Natasha Bedingfield, «Unwritten»

Э тот текст меня подвигнули написать, желая того или нет, три не знакомых друг с другом человека: меда Локира — ее светлой памяти и безупречному сияющему образу посвящены как минимум эти мои слова; Федор, который во все *такое* не верит; и Лев Александрович, инопланетный седой писатель-волшебник, прочитавший когда-то Ирмины дневники и не раз повторивший, что следует дорассказать о людях, про которых пишет Ирма. Хотя бы потому что они этого заслуживают. Есть и две идеальные музы, но их я не стану называть — это их тайна, не только моя.

Все это произошло годы спустя после того как дневники Ирмы Трор были изданы. Ей, Ирме, важно было *написать* — и только, а на публикацию ее подбили друзья, чьим расположением я очень дорожу. Но, к моему всегдашнему огорчению, никакой совместной истории у меня с ними не было, пока не случилась та, о которой, среди прочего, тут пойдет речь.

Деррис позвонил, как у него это принято, ближе к рассвету. Он редко представлялся: *интересный* акцент работал звуковой визиткой.

— С-саш, Ирма ушла. — Вместо «здрасте», но сразу же: — С-сулаэ фаэтар, пардон.

Безжалостно бужу заспанные мозги. Ирма ушла. В бессчетный раз. Что ему сказать в ответ? Что спросить? К кому? Идиотский вопрос, ответ на который

я слышала бесчисленно минус один число раз. Куда? А ему почему знать?

Меня всегда интересовало, почему и зачем люди в некоторый момент «икс» пытаются поменять себе жизнь, когда все в ней ладно, во многих или даже во всех смыслах слова. Когда эпитафия поутру не «остановись, мгновенье», как могло бы показаться, а наоборот — «мгновенье, брысь»? Какие-то внутренние чародеи прерывают вдруг молчание и предлагают — или требуют — немедленно обратить текущее настоящее в замершее прошлое, заменить его на какое-нибудь, иногда — какое угодно — другое настоящее? Когда все плохо или неправильно или скучно — тогда понятно. А когда нет?

— Ты как сам?

Пауза.

— Ну как... Трудно. Я ж не Коннер Эган. Для меня в ней вс-егда Рида больше, чем во всем остальном. — Только не скажи сейчас, Деррис, «вместе взят», не сделай вложенное множество равным большему. Герцог бы поглумился на славу. Счастье, что по телефону никто из этих чудиков слышать несказанное не умеет.

— Хочешь — приезжай. Рассветной Песни не обещаю, но кофе налью. Ну или что ты пьешь утром.

— Через час пр-риеду. Не одевайся. — Внутрикомпанейское символическое присловье.

Несколько лет назад, во время одной знаменательной попойки на мосту Дез Ар в Париже именно Деррис, в прошлом — вольнослушатель лекций по физике: факт, который меня всегда порядком забавлял, — вложил мне в голову концепцию квантующейся судьбы. В большой компании мы всю ночь хлестали красное, играли в «вопрос или действие», целовались вперемешку и трепались, как школьники. И ближе к утру, совсем уж до визга пьяный, но на удивление отлично вязавший лыко, Деррис сообщил мне конфиденциальным свистящим

шепотом, что все самое важное и прекрасное в жизни происходит внезапно, а все эволюционное, предсказуемое, очевидно причинно-следственное — вторично, несущественно. Я, будучи в почти аналогичной кондиции, оценила это явление как «коэзь-формулу» и проигнорировала. Но когда к полднику следующего дня наступило-таки долгожданное отрезвление, мое штормящее сознание первой навестила именно эта его сентенция. И с тех пор не могу отделаться от привычки сортировать любые события в своей жизни на квантовые и эволюционные. С некоторого — не первого — раза исчезновения Ирмы стали, без сомнений, проходить по второй категории. Но этот, последний, побег вдруг показался мне квантовым. Деррису, очевидно, — тоже.

Через час после звонка этот стареющий демон сидел в кресле напротив, цедил — по собственному желанию — пустой кипяток из чашки и почти отвлеченно рассказывал мне историю, мало отличавшуюся от той, что я слышала от него при обсуждении предыдущих Ирминых исчезновений.

Но лет десять назад с Ирмой приключилось совершенно квантовое событие: ее занесло в одно удивительное место, которое все, кому довелось там побывать, называют «замком». Эту своеобразную, очень тихо живущую и никак не афиширующую своей дислокации коммуну держит некто Коннер Эган, по прозвищу (или по действительному титулу) Герцог. Тогда я не знала, где она располагается, теперь у меня появились некоторые призрачные шансы даже нанести туда визит, но об этом после. Есть подозрение, что где-то в Шотландии. Или в Ирландии — той или этой. На напрямую заданный вопрос ответ всегда бывал один и тот же, без вариаций: «Пригласят — узнаешь». Одновременно на территории коммуны, как следовало из Ирминых текстов, обитало до девяти учеников, всегда — пять женщин и четверо мужчин. Одни приезжали и уезжали, другие же оставались

в замке неопределенно долго, некоторые — немногие — прибыли бог знает когда и по сию пору живут там постоянно. Личное наставничество Герцога, со слов очевидцев и по моим собственным наблюдениям, являет невероятную ценность для его учеников — в том числе и потому, что он умеет неким загадочным образом прозревать призвание человека, и замок представляет собой нечто среднее между монастырем и творческой лабораторией, с прекрасной библиотекой и многочисленными мастерскими. Герцог исповедует занятную религиозно-философскую доктрину, подробности которой Ирма изложила в своих дневниках, поэтому я, пожалуй, воздержусь от пересказа. Кроме того, мне отчего-то всегда казалось, что формализовывать подобные системы означает убивать их, а этот цветок, даже если он цветет не на моем подоконнике, неисповедимым образом дорог и ценен мне живым, не рассеченным на составляющие. Скажу только, чтобы дальнейшее было понятно, что центр этой мировоззренческой картины — существо по имени Рид, полчеловек-полубог, которого с некоторой натяжкой можно назвать вселенским гением творчества.

Вылазки из коммуны во внешний мир называются «выездами на этюды». Для Ирмы и Дерриса в свое время эта вылазка оказалась совместной и затяжной. Дерриса это более чем устраивало: неброская внешне и всегда словно слегка затуманенная, Ирма ухитрилась, сама о том долгое время не подозревая, выкрасть сердце Дерриса. Он нашел свою музу, а с персональной миссией ему в свое время подсобил Герцог: Деррис был (и остается, дай ему бог вдохновения) прекрасным актером. От Рида, как у них принято говорить. Славы он не стяжает совсем, уличные театры — его стихия. Но у Ирмы все оказалось сложнее: ей призвание практически на блюде поднес Герцог, и, сдастся мне, в некотором смысле решил за нее, чего ей добиваться: Герцог счел Ирму писательницей.

Ни я, ни тем более наши общие друзья не считали сроду это герцогово видение ошибкой: у Ирмы получались блистательные журналистские очерки, о театре — имея богатую натуру перед глазами — она писала много, добротнo и с большим сердцем. Ей отлично давались портреты людей, с азартом филателиста она собирала личные человеческие истории, в интервью себя чувствовала как рыба в воде — любила всех своих визави чистой, свободной от бухгалтерского учета любовью взнезмого пришельца. Жизнь на колесах, без «порта приписки», по выражению приморской девы Йамиры, еще одного члена старой ученической когорты: Деррис почитал себя имманетным приезжим и переходим, а Ирма, в меру оскандалившись побегом из дома, в целом тоже не тяготела к оседлости, — дала ей возможность писать и всякие очерки путешественника и публиковать их время от времени в разной толщины журналах, а чуть позже — там и сям в онлайнах. И Герцог ни разу не уточнял, каковы должны быть объемы и жанры ее публикаций. Но Ирме отчего-то привиделось, что мир (и Рид, раз уж на то пошло) ждет от нее как минимум романа-эпопеи. И от этого личная ее жизнь с Деррисом регулярно сбивалась на штрих-пунктир.

Если в девятнадцать лет тебе начисто перерисовывают карту реальности, трамвай судьбы сходит с рельсов, сбрасывает слепые стальные колеса, отращивает гусеницы и превращается, судя по всему, в вездеход. Хочется сесть на перекрестке всех дорог и упиваться потенциальными возможностями, ничего конкретного при этом не выбирая. Весь кинетический ресурс при этом с тихим шелестом уходит в песок. Поначалу так и было: в вечных разъездах с Деррисом Ирма двигалась с потоком, без всяких усилий, свободная от бремени выбора. Ирмина инерциальная система отсчета перемещалась вместе с нею, и сама она поэтому всегда оставалась в нулевой точке — в перманентном полусонном покое.

Но года четыре спустя после того как покинули замок Ирма и Деррис, провидение совершило кувырок через голову: «на этюды» выехала Йамира. Она без труда отыскала Ирму в онлайн, вытащила ее на свидание в одно идиллическое дублинское кафе и там вкрутила Ирме концепцию пяти приоритетов; и та вдруг вообразила, что должна уже наконец сделать какой-нибудь выбор. Йамира рассказала Ирме, что, говоря строго, у любого человека есть всего пять больших дорог во *внешней* жизни, и идти можно, если хочется *прийти* и если не врать себе, только по одной, а остальные навещать раз от разу, каникулярно. Дороги эти — парность, карьера (или слава), чистое сотворение за деньги, бессребреническое чистое сотворение и стяжание духа — со слов Йамиры, никогда не совмещаются в одно, невзирая на очевидную возможность сотворения в парности или стяжание духа в чистом сотворении. Привкус обреченности в любой концепции Йамира считала критерием истинности. И еще ей страшно нравилось *судьбоносить* — влезать со своими концепциями в чьи-нибудь размягченные мозги и глядеть, что из этого выйдет. Прослушав однажды от нее примерно часовой экскурс в теорию организации космоса и хаоса — и неделю потом проходив в пьяном ощущении, что меня посвятили в окончательную версию устройства вселенной, — я спрашивала у ребят (у себя в «ЖЖ» под хитрым замком — чтобы всем, кроме Йамиры), готова ли Йамира отвечать за последствия своих выступлений. Получила ответ с кучей гнусного хихиканья: Йамира считает, что крепкую голову не размочишь, а рыхлую не жалко. Из нее, мол, что ни положи, вывалится все равно.

В общем, Ирма, под сильным впечатлением от разговора с Йамирой, выбралась из кафе, потерянная и заново найденная, смешалась с толпой и... *ушла* в первый раз. В ту пору Деррис решил, что она вернулась в замок, и попытался снестись с Герцогом. По-первости ему плохо

давалась разлука с персональной музой, и он решил, что вот узнает сейчас, где она, даст ей небольшую передышку — и поедет забирать. Ни тогда, ни теперь ему и в голову не приходило, что Ирма не хочет его видеть. И, насколько я знаю с полуслов Ирмы, так оно и было — не от Дерриса она, конечно, убегала. Тогда на мой нелепый вопрос: может, ей Эган нужен, а не ты? — он невесело (и не грустно) усмехнулся и сказал, что даже если бы она давалась, он бы не взял. Очевидно было, что Деррису не хотелось развивать эту тему, но я, демонстрируя чудеса бестактности, спросила в лоб: что же, недостаточно хороша наша Ирма для Коннера Эгана, только для Дерриса — лучшая? Ожидая и провоцируя пикировку, получила прекрасное, точное, сказанное почти беззвучно: «Она не лучшая. Она единственная».

Герцог тогда не вышел на связь — ни в почту, ни по мобильному. Был еще один номер, который знала только Локира, но Локира не покидала замка уже много лет, и с такими людьми никогда не знаешь, они еще тут или уже сместились по траектории Земля—Кассиопея без обратного билета. Тогда Деррис выехал без предупреждения, но Герцога в замке не застал, равно как и Мелна с Алис. Йамиру же, как было сказано, уже вынесло на внешние просторы, и никто из оставшихся Ирмы не видел. Новеньких добрали до положенных девяти, но на них Деррис не обратил толком внимания: он искал *свою* женщину.

Мелн, старый дружбан одного моего однокашника, печатая шаг, возник в моей жизни, как и все самое в ней лучшее, совершенно случайно — на какой-то факультетской вечеринке, куда означенный однокашник приволок его прямо из аэропорта. Он-то, Мелн, позднее и сосватал меня Ирме переводчицей — примерно год спустя после того, как они с Деррисом выбрались из замка в широкий мир. К переводу предлагался Ирмин дневник, который

она вела полгода в замке. Я тогда находилась на излете некоего, как впоследствии оказалось, сверхценного и предельно странного периода собственной жизни, и Ирмины трепетные отчеты о том, как очень похожие на факты моей биографии вещи происходили с ней в замке, среди прочего, показались мне бесконечно родными и понятными. И я засела возиться с текстом. Объем там был довольно скромный, и через пару месяцев все было более-менее готово. Автором Ирма оказалась невероятно покладистым, если не сказать — безразличным: время от времени создавалось впечатление, что текст писала не она, а некий малознакомый человек. К редакторской правке относилась, как к стрижке ногтей, — смиренно и отсутствующе. Всего раз я ощутила некоторое напряжение на том конце провода (мы утверждали правку по телефону): когда я попросила уточнить, хоть в паре слов, ее отношение к Герцогу. Ну, женское отношение. Она отказалась наотрез. Без аргументов, не споря, просто сказала: «Нет, это лишнее», — и все тут. Я вымарывала повторы, сокращала количество эпитетов с пяти до двух, дробила предложения, убирала ее бесконечные «который, которая» и заменяла их на причастные обороты, в паре глав поменяла местами абзацы (последнее уже исключительно ради проверки реакции). Никакого сопротивления. «Саша, вы же знаете русский лучше, чем я, я вообще его не знаю, — шутила она. — Сделайте так, чтобы русский читатель меня понял, ладно? Как это по-русски? *Отсебятина*? Давайте отсебятину. Она же есть у вас, отсебятина, верно?»

Потом мы встретились в Осло, поехали с какими-то ее друзьями в Боттн-фьорд — деревню из двух домов, в гробовую тишину полярного лета. Ловили треску и спали, когда зашторено. Это был ее второй побег от Дерриса. Меня она пригласила под жестким условием не выдавать места ее локализации «никому из наших». К концу первого дня этих крайне-северных каникул она заперлась

в одном доме, вывесив табличку: «Пытаюсь писать. Живите чуть-чуть без меня». И я весь день шлялась среди кривенького леса, браконьерски собирала слегка недозревшую морошку, а вечером мы с ее друзьями пекли блины и ели черничное варенье из гигантской пластиковой банки от «Тиккурилы». Говорить было почти не о чем, и норвежцы травили анекдоты про себя самих. Запомнился только один, самопроизвольный: желая сделать национальный комплимент, я для поддержания разговора сказала: молодцы, мол, вы, норвежцы, — хоть и терпели столько веков, но вот же выгнали шведов со своей территории двести лет назад. На что мне честно ответили, что никто никого не выгонял, шведы сами ушли: им с норвежцами стало скучно. Решили, видимо, сделать себе новое настоящее — шведы, не норвежцы.

Двое суток спустя Ирма Трор вылезла из затворничества, голодная как черт и тихая-тихая. Съела все, что нашла на кухне, и командным голосом велела собираться домой. Все смиренно послушались, и вот мы уже забрали свой катер где-то на полпути между деревней и океаном и дернули в Бодо. По пути Ирма настояла на заезде в городок, где Гамсун писал свой «Голод», там мы обожрались — по ее же инициативе — козьего сыра, а к вечеру были в Бодо, скучнейшем новоделе, отстроенном после войны заново, — неисправимо военном городе с военным же аэропортом в самом центре, что придавало городскому пейзажу сходство с лицом Терминатора, если смотреть сверху, с ближайшей горы. Там Ирма села в поезд и уехала в Трондхайм. Никто не удивился — кроме меня. Это позже я привыкла к ее манере исчезать и появляться в режиме чеширской улыбки.

— Ты знаешь, что «Трор» по-датски — «предполагать»? — спросил меня как-то Мелн.

— Теперь знаю.

— Ну и вот. У меня в мобильном она забита как «Предположите Ирму». Смекаешь?

- Правильнее, кажется, все-таки «Ирма предполагает», разве нет?
- Нет. Ирма у нас страдательный залог.
- Залог чего? Не страдания же?
- Ты у нее у самой спроси, чего она залог. Ну или у Дерриса.
- Да ну тебя. Вы все так общаетесь?
- Кто «все»?
- Ну, которые Герцогом меченные.
- А ты грубиянка, Саш. Не знал.
- Скажи еще, что обиделся.
- Повтори-ка последнее, никак к твоему произношению не привыкну.
- Обиделся, говорю.
- Не знаю такого слова.

Мелн практиковал прикладное искусство. Они с Алис творили невообразимое из любых, самых простых предметов и выставлялись и в разных МОМА, и в заштатных кафе где-нибудь в Гамбурге. Им было все равно, кто и где смотрит на их «поделки», как они их называли между собой. Мелн колдовал за гончарным кругом, сутками не вылезая из мастерской, из его посуды ели и пили все наши общие друзья. Сидр не портился в его кувшинах даже на прямом солнце, и никакое мое знание естественных законов природы не могло объяснить этого феномена. Алис делала из мелких бусин, осколков бутылок и другой блестящей дребезги что угодно — от многометровых панно до микроскопических сережек. У нее были вечно изрезаны пальцы, царапины не успевали заживать, поверх ложились новые, но на вопрос, как ей вообще, не больно? — ответ был всегда один: оголенное лучше чувствует. Было у них что-то с Мелном, помимо общей мастерской, или нет — не моего ума дело, но однажды, совершив оплошность и довольно громко подумав об этом в их присутствии,

я немедленно огребла: «Да-а-а! Между нами ничего, совсем ничего, глубокий вакуум! Ближе не бывает!» И так всякий раз.

Мелн рассказывал, как учил Ирму лепить горшки. На гончарном круге, все как положено. И сколько, цитирую, всего протекло из Ирмы и в нее, пока он ей руки ставил как надо. Про это я читала у автора, да. Признаться, не вполне могу понять, с чего меня так остро интересовало, какого именно свойства были отношения между мужчинами и женщинами в этой компании и почему столько времени потребовалось, чтобы осознать, насколько комичен и пуст этот интерес. Только проведя, по случайному стечению обстоятельств (мы как-то изобрели повод сгонять на машине во Львов — только чтобы иметь возможность трепаться много часов подряд, скользя вдоль пустынных малороссийский второстепенных трасс), одну ночь рядом с Бограном, который с небольшой натяжкой годился мне в отцы, я наконец уяснила, какова вообще природа связей между этими людьми. Но пересказать это ни тогда, ни сейчас, увы, не в состоянии. Русский мне тут с презрением отказывает. Дерри только и спасает, но кто ж его теперь знает? Мертвый язык.

Про Бограна, как, впрочем, и обо всей этой братии, — разговор отдельный. Из дневников Ирмы я знала, что он был женат как минимум один раз, очень давно, и своими руками тот брак разрушил. Знала я также, что «на этюды» он уехал, среди всех «студентов» своего созыва, последним. Совсем недавно осел в Канаде, где-то на северах, живет бирюком, подрабатывает перевозками и очень хорош с любимым железом, чуть ли не вплоть до кузнечного дела. Нахватал и еще каких-то ремесел, может починить любой механизм. Играет на нескольких ударных инструментах, все — сплошь экзотика. На любые вопросы о своем прошлом до замка отвечает с улыбкой и не то чтобы скрывает что-то, но умудряется

всякий раз запорошить словами так, что вопрос расплывается и тонет в пучинах разговора. Зато о музыке, о странствиях и о книгах с ним можно было трепаться часами. До встречи с Бограном я думала, что долгие разговоры могут быть либо о прошлых событиях в жизнях говорящих, либо об абстракциях, больших и малых. Богран доказывает мне на каждом свидании, что я заблуждаюсь. Он редко пишет и звонит, но примерно каждые полгода за последние лет шесть устраивает так, что мы видимся то там, то сям — и проводим пару дней вместе. Где-то к третьей такой встрече я поняла, что подседа. Они нужны мне, эти странные свидания, когда мы шляемся весь день по тому городу, где назначено, сидим в кафе или в кино, сначала он рассказывает, я слушаю, а когда он умолкает или начинает задавать вопросы мне, наступает самое непостижимое: он слушает и смотрит на меня так, что я внезапно и с дневной ясностью осознаю, что простой факт моего существования — необходимый и достаточный повод для того, чтобы мироздание, скрутившись в тугую подвижный поток, изливалось на меня, звеня и смеясь, через эти очень, очень старые глаза, и в потоке этом я каждую секунду ощущаю себя неоспоримо, вечно, бескомпромиссно любимой. И от этого жизнь со всеми ее смыслами предстает вдруг понятной и изумительно простой. Только с Бограном мне удастся хоть ненадолго превозмочь неистребимый зуд поскорее превратить настоящее в прошлое, только с ним мне хватает объема легких, чтобы вдыхать то, что есть, пока оно есть. А не сладковатую пыль памяти. С ним время уходит вертикально вверх, не тратя на взлет расстояний, и ни одно зрелище, видимое или нет, в этом мире не пробуждает во мне столько священного ужаса — и счастья. Дурацкая же часть этой истории сводится к следующему: я никак не соберусь ему рассказать, что такое он со мной творит. Отчего-то не уверена, что ему это нужно.

В один из последних разов Ирма растворилась на «*Burning Man*»'е. Йамира, постоянный резидент подобных сходок, настучала Деррису, что, мол, видела Ирму, мельком. К тому времени Деррис уже перестал гоняться за своей дамой сердца по всему глобусу, а научился спокойно ждать, когда сама вернется. Ирма воротилась тогда бритая наголо, дочерна загорелая и совсем уж потерянная. Деррис принял ее, как всегда, с цветами и мороженым, как любимое чадо из пионерлагеря. И она опять сделала вид — или в самом деле так чувствовала, — что ничего особенного не произошло: ну уехала на пару месяцев без предупреждения невесть куда, подумаешь. Может показаться, что все это — капризы, эгоизм и непростительная детскость, люди так не поступают с ближним своим, попирается священное правило близкого человеческого общежития — «*noli nocere*». Но вот нет. Как хотите. У *этих* — нет. Я бы не смогла. Но я — не они.

— Мне почему-то к-кажется, что на этот раз она не вернется. — Деррис не меняется в лице, будто говорит о том, что сегодня, в отличие от вчера, будет дождь.

Молчу. Молча разговаривать не умею. Интересуюсь:

— Что будем делать?

— Надо, да, вероятно, что-то сделать. Верно. Но что? И з-зачем?

Когда он так спрашивает, мне кажется, что он меня чувствительно младше и мне его сдали, как бонне, пока родители ушли смотреть свежее киномочилово. Но это ложное впечатление: дети, истинные и внутренние, задают самые прямые и честные вопросы.

— Ну как... Хоть понять, чего она хочет. Она же не говорила никогда.

— Да и так понятно. Ей писать надо, одной.

— И что она написала за эти... э-э... скажем, десять лет? Ну серьезно, Дерр.

— Мне нравится, как ты все любишь сокращать. И упрощать.

— Не отвлекайся. Тебе как актеру-людоведу должно быть интересно, что такого происходит в голове у женщины — не посторонней тебе женщины, между прочим...

— Посторонних женщин не бывает. И я не бабник, как тебе известно.

— А мужчины посторонние бывают? Хоть это и не имеет отношения к делу.

— Тебе виднее, ты — женщина. Но думаю, что посторонние — это те, которые не открывают. А которые открывают — те свои.

— Что открывают?

— Дверь в себе. Тебе. И сидят за дверью и ждут, когда войдешь. Которые открывают и потом носятся за тобой — наверное, тоже немножко посторонние. Так?

— Ты у меня спрашиваешь? Это у *тебя* прямая линия с Ридом.

— Не заставляй меня произносить... как это?.. эзотерическую чушь.

— Что, типа, «у всех есть»?

— Вот зачем ты это? Банальность — худший вид пошлости. Не я придумал. И считай, что не я сказал даже.

— Отмыть от рук — и вполне хорошая мысль получается, что такого. Прописное от затасканности не становится менее прописным.

— Ну, то есть ты сама с собой договорилась уже, как мне кажется. Положу в мешок, отвезу в замок и сдам Герцогу на поруки, допрыгаешься.

— На кой ляд я ему нужна? Я ж не самородок, вроде вас всех. Я простая смертная с бессмысленным существованием.

— Дура ты, Саш, от Рида, — беззлобно, совершенно беззлобно говорит, эдак между прочим. Сколько в этом любви!..

— Любви в этом масса. Гениальная бестолковость — бутон блистательного цветка виртуозного ученика. — Узнаю стиль замкового общения — еще в Ирминих текстах не понимала, как с этим нужно обращаться: на русском пришлось покрутиться, чтобы не вышло совсем уж оголтелой выпренности.

— Чему, чему меня учить, Дерр? Короче, вернемся к нашим Ирмам. Я же не могу ее искать сама — ваши не поймут.

Вздыхает. Не сдаюсь. Мне самой интересно.

— Ладно. Только ради твоего естествоиспытательского голода, не ради меня. И уж тем более не ради нее. Если она решила уйти совсем, я последний, кто сможет ее удержать.

Прятки с Ирмой начинаются, по крайней мере, всегда с одного и того же: с дозванивания «своим». «Свои» встают с зарей, так что приличное для звонков время линейно зависит от времени года. За окнами апрель, в семь утра уже все на ногах, верное дело. Локира за пределами списка — она в замке и в ее жизни уже давно происходит что угодно, кроме событий, и новостями она не то чтобы не интересуется, а просто плывет над их поверхностью, на восходящем воздушном потоке. Далее — Йамира, Мелн (вкупе с Алис, знает один — знает вторая), Богран (сложнее, мобильным он не разжился, интернет не провел, только по домашнему), Амана — немая, к ней надо ехать или в «гугл-токе» ловить, или сообщения в телефон строчить; Дерейн — самое верное дело, он не только с людьми умеет разговаривать, как я знала из Ирминих текстов, хотя в Святого Франциска на публике играть очень не любит, но если очень нужно, то и у птиц спросит, и у тополя, и у ясеня. Обычно хотя бы кто-то что-то слышал, знал через третьи руки — от других учеников других герцогов, в основном, и я не переставала удивляться масштабам выпускниковской осведомительской

сети и всеобщему ненавязчивому пригляду за всеми. В самом крайнем случае можно было попытаться звякнуть непосредственно герцогам и даже одной герцогине (вот это уж совсем крайний-раскрайний случай: эта самая герцогиня устно вообще практически прекратила общение несколько лет назад, в ее португальском имении собирались сплошь виртуозы-невербалы). Была и еще одна община, под Амстердамом, куда меня даже разок занесло, но тамошний герцог в качестве всеобщей практики культивировал тот род либертинства, который даже Йамире с ее полной расторможенностью казался некоторым перебором, а мне и подавно. Ирма же покрывалась пятнами при одном упоминании. Но амстердамская братия — самая информированная: эта армия любовников вербовала добровольных «доносителей» толпами, спаивая, укуривая и залюбливая до полусмерти.

Ближний круг дружно ответил полным неведением. Самый последний контакт с Ирмой был у Дерейна, месяца три назад: на какой-то молодежной (!) конференции в Восточной Европе. Что там делала 35-летняя Ирма — другой вопрос: пригласили как консультанта по молодежным СМИ. Дерейн же там подряжался ай-тишником, нужны были деньги. Ирма, с его слов, зажигала: танцевала на вечеринках, много и горячо вещала, и пленарно, пардон, и в кулуарах — и даже пережила диво одной ночи с неким юным македонцем из участников. К подобной информации Деррис — и все они — отнесся односторонне: понравилось ей? Да, кажется, понравилось. Ну тогда прекрасно. Больше Дерейну добавить было нечего. С остальных же и такого клока шерсти не перепало: судя по амулетам (есть у них у всех такие вот языческие «передатчики» — разные мелкие предметы, которые они друг другу дарят в особых обстоятельствах, по состоянию которых можно судить о делах и самочувствии дарителя), у Ирмы все в порядке, жива-здорова. Но в этом-то никто и не

сомневался. Выловленный же на полминуты в «скайпе» субъект Майкл по кличке *Filthy*, из тех самых, амстердамских, явно играя бровями, сообщил, что знает, где скрывается наша «нордик шакти», как он выразился, но нам не скажет: он, мол, сам к ней собирался, пока вокруг нет Дерриса. В следующем абзаце Майкл, в традиционной для этой компании манере, перешел к вопросу «что на мне надето», был вполне дружелюбно послан к черту, нисколько не обиделся и предложил непременно звонить, когда и если я окажусь за пределами «пояса верности» — так ему угодно было называть границу РФ. У него на меня планы. Учувя, что *Filthy* включил верхнюю передачу двигателя совращения, переход на горячечный шепот я, хоть и с некоторым усилием, но не поддержала, и мой визави быстро потерял интерес к разговору.

В связи с полным отсутствием у Дерриса склонности к ревности я бы могла без всякого риска передать ему содержание этого разговора, но почему-то решила, что не стоит. Потому что Майкл врал как сивый мерин. Так мне отчетливо показалось.

С амстердамцами на одном языке и из любого положения умела говорить только Йамира. В свои очень приблизительные пятьдесят эта женщина имела «любовь в каждом порту», насколько мне известно, и все до единого ее кавалеры — ее персональные короли. Ни об одном из них она сроду не сказала ни единого дурного слова. Придыхания, впрочем, тоже не демонстрировала. Переход из вертикальной плоскости в горизонтальную для Йамиры был так же прост и естественен, как смена темы или модальности разговора; она любит приговаривать «не переспшишь — не познакомишься». Разговоры с Йамирой никак нельзя назвать доверительными: доверительность предполагает хоть какую-то исключительность конкретного собеседника, у Йамиры

же в качестве конфиденнта выступал весь мир, наделенный ушами. Майкл *Filthy* был одним из сотен Йамириных королей, и я знала о нюансах его анатомии и манер гораздо больше, чем хотела бы и должна была. Однако в исполнении Йамиры все эти подробности звучали как сказки тысячи и одной ночи, и осознанием масштабов ее гусарства накрывало сильно после того, как разговор заканчивался. Эта донья жуан давно и полностью реализовала все самые немыслимые фантазии — и свои, и чужие, — и теперь, по ее собственным словам, «перешла на тренерскую работу». Юные фавориты уже не первый год аплодируют стоя.

Так вот, никто, кроме Йамиры, не продемонстрировал никаких эмоций ни в связи с исчезновением Ирмы, ни зачем Деррис ее ищет. Такое положение вещей было неотъемлемой частью жизни, как смена времен года: Ирма тут, а потом — где-то. Деррис либо с ней, либо ее ищет. Все в порядке. Нечему сочувствовать, нечему удивляться. Йамира же поинтересовалась, когда уже Деррису надоест Ирму звать, и предложила съехаться с ней самой, с Йамирой: она, по крайней мере, не испытывает нужды в уединении, потому что уединение доступно независимо от присутствия кого бы то ни было рядом, в каких угодно составах и количествах. Будничным тоном предложенное — будничным тоном отвеченное: «Спасибо, меда, ты следующая в списке». «Заметано». Отбой.

А вот с Герцогом было куда интереснее. На звонок он не ответил, а на СМС, чуть погодя, отписал, что сам перезвонит ближе к обеду. Деррис уехал куда-то возиться с декорациями. Он уже второй месяц торчал в Москве, готовился к какому-то очередному фестивалю самодельных театров; подавать на какие угодно гранты в части искусства и получать их ему удавалось так же просто, как и отрабатывать. Йамира через раз именовала его «медар грантоед». А я легла доспать, примостив телефон под подушку так, чтобы никак не упустить звонок от Самого.

С Герцогом я не виделась ни разу в жизни — до событий, речь о которых пойдет далее. Мне время от времени казалось, что герцог Коннер Эган (и все остальные герцоги и герцогини, раз уж на то пошло) — фикция, розыгрыш, и что со мной каждый раз разговаривает кто-то из дружков Дерриса, столь же сценически одаренный. Но это иногда. Если я не на проводе с медаром Эганом. Потому что когда слышу этот голос, эти паузы между словами, этот выговор, я понимаю, что кем бы он ни был — святым, просветленным, виртуозным прохиндеем или вербальным авиатором высшего пилотажа, — это владение речью навсегда останется абсолютно непревзойденным.

Звонок я, как ни странно, не проспала. Но собирать мозги в кучу пришлось с утроенной скоростью: с такими людьми разговаривать спросонья — изнурительный труд.

— Фиона, вам — доброе утро.

— Здравствуйте, Коннер. — И, спохватилась, добавила: — Медар.

Трубка улыбнулась:

— Рад, если так. Ну-с, опять ищите наше золотое перо? — Как называть вот эту тональность? «Любя ехидствует»? «Ехидствует любя?»

— Надо полагать, она не в замке, верно?

— Что именно заставляет вас так думать?

Действительно, что?

— Видимо, то, что мы ее там находили всего раз, а бомба в одну воронку падает редко.

— Не аргумент. Она человек, а не механизм.

— Так она с вами?

— Она всегда с нами.

— Герцог, ну серьезно.

— Зачем серьезно?

Ну вот как с ним разговаривать?

— Деррису плохо без нее.

— Да? Не замечал. Мне кажется, вы его недооцениваете.

Сейчас разговор пойдет в тупик. Мой собеседник не выказывал нетерпения, эфир между нами — полный штиль. И вдруг, сама от себя не ожидала, совершенно не по делу:

— Герцог, а почему вы не позовете меня?

Кратчайшая пауза.

— Потому что вам про себя и так все понятно. А прочие... забавы вам, по моему мнению, не нужны.

Вот те на. Будто без сладкого оставили.

— Вы, Саша, очевидно, черпаете представление о нашем шапито из Ирминых дневников. Там явный перебор с прилагательными. Вы же сами их и вымарывали.

— Да.

— Ну вот. А вы уже большая, и у вас все должно быть в порядке с предикатами.

— Медар, мы оба знаем, сколько через ваши руки прошло людей еще старше меня. Мы оба знаем, что это для них значило.

— Вы несносны. С вами надо *разговаривать*. Хорошо, пожалуйста на вивисекцию. Замок, Саша, — прибежище юных неопределившихся и неюных отчаявшихся. Им есть что менять, догадываются они об этом или нет. Вы — ни то, ни другое.

— Откуда вам знать? — А вот это уже грубо. Прижала уши на всякий случай. И не зря. Голос на том конце вообразаемого провода приобрел ту самую, знаменитую сонную вязкость, о которой столько писала и говорила Ирма.

— Вы *успокоенная*, меда. И все-то, как вам кажется, знаете. Вы поделали то и это. Наставили вешек. Состоялись как личность. — Впервые в жизни слышала, чтобы в этот трюизм втиснулось столько усталого льда. — Научи тесь уже наконец отдаваться. Съешьте апельсин

без рук. Искренне и без драмы осмелитесь потерять себя, *из-умиться* — поговорим. Но не пытайтесь это имитировать. Как там по дзэну? Про полную чашку? Вот так.

Вот так. «Успокоенная». Ох. Ладно, с этим позже.

— Так что все-таки с Ирмой?

— Она не приезжала.

— И вы ничего не знаете о том, где она и с кем?

Герцог усмехается:

— Не то и не там ищите. И вы, и Деррис.

И вот тут я уже совсем не могла не сказать то, что много лет хотела:

— Герцог, послушайте. Это же вы их скрестили. Это же вы срежиссировали Деррису эти отношения. Это же вы толкнули Ирму к тому, что она упорно считает писательской судьбой. Вы все решили за них, играючи ли, по одному вам доступному прозрению или еще по каким неведомым никому причинам. И что мы имеем? Есть женщина на четвертом десятке, есть мужчина на пятом, она — с болотным огнем вместо личной звезды, он — с болотным огнем вместо подруги жизни, а вам — хоть бы хны. Да, они-то во всю ширь неуспокоенные! Некоторая ответственность за судьбы ваших учеников вам присуща вообще — ну чуть-чуть хотя бы?

Уже на середине моей филиппики Герцог начал тихонько хихикать, а к финальному вопросительному знаку уже смеялся в голос, из деликатности, видимо, несколько сдерживаясь, чтобы не заглушать меня и разбирать, что я там говорю.

— «Судьбы». «Ответственность». Вы идеальный переводчик для Ирмы, меда. Прямо настоящее дежа вю.

— Ответьте на мой вопрос, пожалуйста.

— Я с радостью удовлетворю ваше любопытство, как только вы проговоритесь о его мотивах. Которые мне более-менее очевидны, но вам будет полезно. Давайте считать, что наставничество, которого вы от меня хотите

в такой неоднозначной форме, вступило в силу и распространится на данный конкретный разговор. Но не дальше.

Я устала сидеть в окне. За окном был юг весенней Москвы и море неба; умудрялись как-то хорошеть, хотя бы раз в году, грязно-белые хрущевские девятиэтажки. Окна бы надо помыть, вообще говоря. Фион тьернан Коннер Эган молча ждал, пока я соберусь для ответа. А я почему-то начисто забыла, что первой задала вопрос.

— Потому что мне завидно, Герцог. Что может быть лучше прошлого, если оно — гербарий, сколь угодно занимательный и редкий, с которым можно делать что угодно? Запамятый в вечность, нестареющий, мой навсегда? Так я устроена: все самое прекрасное должно поскорее перейти из шевелящегося настоящего в неподвижное прошлое. Вся моя жизнь — череда умерщвлений. А умные книжки — и ваши ребята — говорят, что нет ничего лучше живой, текущей неопределенности — если ее не бояться. А со мной все понятно, да, вы правы. С Ирмой — нет. С Деррисом — чуть менее, но тоже нет. И вообще со всеми вашими. Вы зашили им ген неопределенности. Насколько по доброй воле и сознательно они приняли от вас это хирургическое вмешательство — не знаю. И, конечно, нет ничего бессмысленнее, чем задавать этот вопрос хирургу. Может, стоит спросить самих ваших ребят, которых вы выдернули из их цветочных горшков и пересадили каждого в какую-то совсем уж неведомую посуду. Или вообще в открытый грунт. Мне очень хотелось бы не имитировать настоящее и не перебирать сухие цветочки, а попробовать сидеть на клумбе среди живых. И мне нужны вы, вы все, но в первую очередь — Ирма, потому что, как мне кажется, она знает про это хотя бы что-то. И потому что вы мне только что отказали.

— Понятно, да. — Голос оттаял, хотя и раньше я не ощущала отчуждения. Но холодного космического

«дальше — сама» там тоже было хоть отбавляй. — Однако, дорогая меда, Ирма не сможет ничего объяснить вам, думаю. Видите ли, чтобы добыть из яблока сок, плод придется уничтожить. Если бы Ирма все еще пребывала по эту сторону, где есть слова, логика, объяснения, она бы не убежала опять и опять. Не ладонь вам надлежит разглядывать, а зазоры между пальцами. В эту тайную комнату никто не сможет вас пустить. Не от недоверия, не от страха, а от простой неспособности *называть* сущности, которые населяют это место. Растворенность в настоящем — это чистый абсолютный Рид, вот так вот банально и буднично. Поток фотонов оказывает давление на поверхность, освещает материю, но попробуйте остановить его и рассмотреть.

— Ушам своим не верю. Медар, вы и обреченность всегда существовали в параллельных вселенных для меня. — Я поборола ручку оконной фрамуги. Отчего-то вдруг очень захотелось замерзнуть.

— Обреченность? Вот это да. Мы с вами, простите, сколько уже знакомы?

— Нисколько. Я вас никогда не видела, а вы не фотографируетесь.

— Предоставьте мне валять дурака, возраст дает мне такую привилегию. Мы с вами знакомы, если не ошибаюсь, лет пять? Семь? Это я к чему: вы отчего-то всякий раз слушаете, разговаривая со мной, какое-то третье лицо, не меня. Саша, есть многое во внутреннем космосе человека, о чем не получится ничего сказать, что нельзя объяснить, зато можно — и нужно — *пережить*. О какой обреченности речь? Мне казалось, что и для вас это очевидно. Просто, как вы справедливо и с присущей вам комической рефлексивностью отметили, страшно: то, чего вам хочется, нельзя превратить в словесную труху, нельзя проконтролировать, с этим нельзя *управиться*. Съешьте, говорю вам, в кои-то веки апельсин без...

У меня сел телефон. Связь прервалась. Я вытянула хвост зарядки из-под кровати, положила аппарат на кормление, но перезванивать не стала. А фион Эган в таких случаях считал, что современные технологии — тоже от Рида. И вопрос, в конечном итоге, так и остался без ответа. Ладно.

Прошла, кажется, неделя, прежде чем я написала в «ЖЖ» и «фейсбуке»: «Ирма, если вы это читаете — выйдите на связь. Вы мне очень нужны. Обещаю, что никому вас не сдам. Смайл». Деррис практически сразу подрисовал мне комментарии, в обоих местах: «Ага, и мне, и я». И музыку прикрутил: в «ЖЖ» — «*Just Say Yes*», в «фейсбуке» — «*One Headlight*». Чуть погода, с шутками и прибаутками присоединились Дерейн и Алис. И еще пара человек с *нормальными* именами, которые были в курсе всей этой истории про Ирму — по крайней мере, ее внешней части. Прошла неделя, посты уехали вниз по лентам, а от фионы Трор не прилетело ни слова.

Так уж устроена у меня голова, что ну буквально ни к чему я не в состоянии по-крупному, всерьез пригорать надолго. Тефлон внутри, видимо. Жидкости собираются в капли и стекают, в конечном итоге не смачивая поверхность, а твердые материи могут жариться хоть до углей, антипригарному покрытию — хоть бы что. Тут можно сказать, что и пороху не нюхала. «*Посражаемся до шести, а потом пообедаем*». Не умею остервенело фокусироваться дольше нескольких дней — если нет дедлайнов. Но все, у чего в жизни есть дедлайны, имеет довольно поверхностную природу и устроено просто. В общем, я на время слегка забыла про Ирму — копалась в очередном переводе, таскалась по издательствам и жила свою весну.

Но в один из дней подруга моя, из самых близких и особых, художница Даша, вытащила меня пошляться,

и на десятой минуте наших шляний Ирма всплыла сама собой.

— Ну как, нашлась она?

— Ой. Я и забыла уже.

Даша, выносной голос моей совести и памяти, хмыкнула:

— Как же удобно у тебя там все устроено.

— У меня к ней есть вопрос, на который, со слов Герцога, она мне все равно ответить не сможет. Так что на этот раз можешь считать это простой рациональностью.

— Может, тебе побыть с ней надо просто? Без разговоров, то есть.

— Может, и надо. Но ей-то это зачем?

— Исходя из того, что ты о ней рассказывала, за спрос она денег не возьмет.

— «Мы бы им дали, если бы они нас догнали». Ее найти сначала надо.

— Так ты ж не ищешь.

Прошла еще пара месяцев. Деррис завершил свой московский проект и улетел валять ваньку куда-то в Латинскую Америку. Прислал оттуда пустое письмо, со ссылкой на «*You Can't Always Get What You Want*» в исполнении стариков «*Jolly Boys*», в теме письма указал: «такой вот муд, меда». Ну да. А в конце июня меня понесло в Питер, и там, на какой-то полуквартирной выставке я нос к носу столкнулась со Стивеном. Чистой случайностью это столкновение считать нельзя: выставка была связана с «импрессионизмом» одного индийского умника современности, а мы оба им — и импрессионизмом, и тем умником, в смысле, — давно мазаны.

Стив — увесистый и богатый пункт моей биографии. Еврейско-ирландский рыжий фигаро, бонвиван и искатель приключений. У герцогов ему было бы самое место.

Но он как-то обошелся штатом Махараштра и тамошними мудрецами — и еще парой-тройкой похожих мест. В общем, если коротко, мы как-то сцепились шестернями, встречая миллениум в одной голландской деревне, по стечению обстоятельств — в прямой видимости от той самой «амстердамской коммуны», — и с тех пор нерегулярно дружили, ожесточенно ссорились и потом не менее ожесточенно мирились. В какой-то момент особенного прилива дружеского чувства даже договорились, что тот из нас, кто дольше проживет, придет куда угодно, когда другой соберется помирать. А потом Стив, перезнакомившись со всеми моими друзьями, а потом и с друзьями друзей, нашел то, что искал, по его собственному признанию, многие годы — любимую женщину, сильфиду по имени Катя, вполовину себя младше, что им обоим, насколько я могу судить, страшно нравится до сих пор: они бурно, однако счастливо женаты.

Так вот, Стив после выставки поволок меня обедать, а за обедом извлек из внутреннего кармана пиджака «мыльницу» и стал показывать свежеснятое. И вот, среди обилия лиц (преимущественно девичьих), где-то на обрезе кадра, я вдруг заметила узнаваемые пепельные локоны с характерным таким завихрением, которое в народе именуют «бычок лизнул». На фотографии было человек десять незнакомцев, в каком-то кафе, где мне точно приходилось бывать. Люди на фотографии смеялись и разговаривали, а эта будто случайно оказавшаяся в объективе женщина читала книгу и широко улыбалась, безучастная к болтовне, хотя было отчего-то понятно, что все эти люди друг друга знают. В грудной клетке клацнуло.

- Это кто?
- Это? Мм... Ирэн. Нет, погоди... Карэн?
- Ирма.
- Точно! Ты ее знаешь?

— Я ее переводила. Где ты это снял? И когда? — Вот, пожалуйста, само в руки приплыло.

— Одну секунду, гляну дату... 20 мая. Ты что это разволновалась?

— Где?

И еще до того, как он выдал географическую точку, я опознала место.

— Автобусная станция в Гавре! — сказали мы хором. Месяц с лишним назад. Черт-те где — в Гавре.

— Так с чего ты?..

— Ничего особенного. Ее тут просто друзья разыскивают.

— Да? Она казалась вполне благостной. Даже чересчур. Мы ехали вместе в поезде — все эти барышни, я и она. Побратались, в общем. — Ну, конечно. Мне пока не встречался человек, независимо от пола, возраста, расы и вероисповедания, с которым Стив не породнился бы после часового общения. — Зачем ее ищут?

На этот вопрос я лично имела собственный ответ, а вот за всех говорить не могла:

— Ну, ее... э-э... очень близкий друг беспокоится, а мне ей вопросик надо задать. Остальная компания ищет, видимо, по привычке.

— Она это регулярно проделывает?

— Ага.

Стив сунул пятерню в рыжую свою гриву, задумался.

— Почему бы не оставить человека в покое?

— Потому что *некоторым* с ней особым образом хо-рошо.

— А ей с *некоторыми*?

— Насколько я знаю, тоже.

Диалог из ниоткуда в никуда. Стив помолчал.

— Ну, в общем, месяц с лишним назад она была в Гавре. Если барышня подвижная, ее местоположение в мае почти ничего не значит для ваших поисков сей-час.

— Да понятно... — Теперь я крепко задумалась и, похоже, чуть погода надумала.

Надуманное не требовало немедленных действий, и мы еще часа полтора трепались, как у нас со Стивом это бывает, обо всем на свете. Про Катю, про его давние затеи с экопоселением и прочей «зеленой идеей», про секс-наркотики-рок-н-ролл, по старой памяти. Стив кем только ни поработал в жизни. В том числе — в некоей клинике на Гавайях, куда приезжали очень пожилые состоятельные люди, чтобы умереть в окружении тамошней внепланетной красоты. Там-то он и научился слушать так, как никто из моих знакомых, и его способность воспринимать предложенные истории и рассуждения в абсолютно любом количестве и с каким-то плохо постижимым участием неизменно поражали мое воображение. Старые прожженные хиппи — раса, к которой мне, в силу времени и места рождения, никогда не суждено принадлежать. Но хоть погреться рядом иногда, чиркнуть спичкой собственной жизни по этому коробку с выгоревшим на солнце портретом Тимоти Лири — искушение, которое мне никогда не приходило в голову преодолеть.

А потом мы целовались в какой-то подворотне возле Литейного, и Нопфлер еле слышно летел из окна высоко над нами, и, как всегда в таких случаях, никаких вопросов на время не стало. Когда все на своем месте: угол падения солнечных лучей на темя, ветер нужного направления и силы, время и место года, парфюм на щеке, которую видишь в паре миллиметров от собственных глаз, руки, не предающие ни хозяина, ни его визави, длинное абстрактное прошлое и предельно номинальное будущее, заработанные за годы право и обязанность молчать, когда надо молчать... Ответы не приходят, нет. Уходят вопросы.

А вечером я села в поезд и уехала в Москву. Стив унесся в Айдахо — воссоединиться с Катей. Чтобы лететь

дальше. Мне же было понятно, что́ делать. Прибыв до-мой рано утром, я полезла мониторить цены на билеты до Парижа.

Вылететь на днях не очень получалось: цены кусались, а лишних денег у меня по карманам не наблюдалось. Да и дела недоделаны. И, похоже, лечу не на пару дней. Занимать деньги мне никогда не нравилось. И я взялась быстренько накарябать пару статей для некоего онлайн-портала.

Денег дали дней через десять, но во мне засела уверенность, что я знаю, где Ирма сейчас и что никуда она оттуда не сдвинется — ни завтра, ни послезавтра. В итоге вылетела я аккурат на экваторе лета, 15 июля.

Париж принял меня разморено и манерно, как всегда. Последний поезд в Гавр отходил с Сен-Лазара около шести вечера, а первый утренний — примерно в семь, и я решила, что поеду спозаранку.

Стоит сказать, что по траектории Москва-Париж-Гавр и обратно я могла бы двигаться вслепую или в глубоком сне: так получилось, что пару лет назад я, случайно увидев в «ЖЖ» фотографии невозможной красоты белых холодных скал, отвесно обрывающихся в умеренно приветливый океан, решила, что мне туда надо, и пару месяцев спустя, в компании университетских за-кадык, мы уже дышали солью, лазали по валунам и хлестали изумительно дешевое красное на нормандском побережье. Достигнутый успех пожелали закрепить, и мы взялись ездить туда чуть ли не раз в полгода. Снимали за смешные евроценты один и тот же дом на горе, развлекались всякий раз одним и тем же, с неу-вядающим энтузиазмом и удовольствием: дальними пе-шими прогулками, сыром, портвейном, разговорами до утра. Об этих вылазках моя герцогоцентрированная бра-тия не знала — никто, кроме Ирмы. Ей я почти случай-но рассказала об этом городке как об абсолютном крае земли в рамках цивилизованной Европы. Ирма сильно

впечатлилась и подробно расспросила меня, что да как с маршрутом и размещением. Я не придала тогда этим расспросам ровным счетом никакого значения.

Ночевка в Париже — это либо шляться всю ночь до поезда, что летом — легкое и приятное дело, не то, что в декабре (поставили мы как-то подобный эксперимент, врагу не пожелаю), либо поспать у друзей, либо совмещение первого со вторым: шляться с друзьями. Звоню Йенсу.

Иногда кажется, что землян на третьей планете либо гораздо меньше, чем приезжих, либо они маскируются и от меня прячутся. Йенс — еще один мой старый друг, бывший довольно продолжительный бойфренд и очередной представитель внеземной цивилизации. Сейчас он без пяти минут муж и пять минут как папа. Музыкант, фрикер и сотрудник ЮНЕСКО. Некрасавец и чудодей — всё как мы любим. Наши до крайности своеобразные отношения начались с того, что я выпала из музея Чернобыля в Киеве — аккурат к нему на руки, и как-то мне плакалось от увиденного и услышанного, а ему как-то все это терпелось. А через несколько месяцев он назначил мне встречу на мосту Конкорд, в этом же самом Париже, и под утро, наболтавшись до хрипоты, мы вдруг обнаружили друг друга рядом, без одежды, в квартире его друзей. Ну и как-то остались приблизительно в этом положении еще на полтора года. А потом случились две вещи, обе — у меня: дурацкий мимолетный роман и перевод Ирминых дневников. На этом наше неоперившееся парное счастье быстро и элегично свернулось, как белок в кипятке. Дурацкий мимолетный роман ненадолго, но нацело поглотил мое сердце, а дневники — мозги. И Йенсу ничего не осталось. Но он чуть погодя великодушно согласился со мной дружить.

На встречу Йенс пришел, гордо неся в слинге на груди Лу-Ноу — Леланда-Ноя, себя в миниатюре. Мы неловко обнялись. Нам всегда это давалось неловко:

тридцать сантиметров разницы в росте, очевидно — не в мою пользу. А тут еще и ребенок между.

— Опять туда же? — улыбается.

— Ну да, — улыбаюсь.

— А где все? *Antosha? Max?*

— У меня миссия, одиночная.

— Ух ты. Секретная?

— Нет, не очень. Помнишь ту книгу, которую я перепроводила... ну.. тогда?

— Когда ты меня бросила? Помню.

Я попробовала это уточнение на вкус. Кажется, не горчит.

— Да, эта. — И тут вроде тоже. Ну, может, самую малость. — Вот с ее автором на встречу еду.

— Странное место выбрали. Почему не тут, не в Париже?

— Ей сейчас не нравятся большие города.

— Писательская дача, значит?

— Не уверена.

— А зачем еще пишущему убегать от людей?

— Я не уверена, что она — пишущая.

— Загадочно.

— Не то слово.

— Не хочешь рассказывать, как хочешь. — Улыбается.

— Пока нечего рассказывать, одни спекуляции и ни на чем не основанные догадки. — Улыбаюсь.

— Арсен Люпен ты, Саша.

— Не, я другой персонаж, Йенс. Крошка-сын пришел к отцу. Это Маяковский.

— Маяковский? *Hasta la Revoluci n Siempre?* — Теперь смеется.

— Нет, это большевистский дзэн-стих.

— А, ну конечно. Она что-то такое знает?

— Мне кажется, да.

— Тогда езжай, конечно. Всё ближе, чем в Гималаи.

— И это тоже.

— Удобно мы устроились. Уму-разуму учат практически на дому.

— Думаешь, это хорошо?

— У нас есть выбор?

Шляться ночь, имея ребенка на себе, Йенс, конечно, не собирався и ближе к девяти, переломившись где-то посередине своего богомолообразного тела, чмокнул меня в щеку и отклонялся. К себе не позвал — все-таки маленький ребенок. И его мама. Значит, мне далее — Пон дез Ар, центр тяготения.

На мосту Дез Ар я просидела в относительном одиночестве до утра: мое уединение разбавляли многочисленные гуляющие (пьющие, пикникующие, целующиеся) — и книга. Деррис как бы случайно оставил у меня в то мартовское утро «Чапаева и Пустоту» на английском, а оттуда вдруг вывалилась небольшая пачка сложенных бумажек, исписанных стихами на фернском — судя по всему, собственного, Дерриса, производства, с его же карандашными почеркушками на полях. Сначала я подумала, что неприлично будет совать нос в личные записи Дерра, но потом решила, что нечего было бросать их где ни попадя, и взялась разбирать его каракули при мутном свете уличных фонарей.

Где-то третьим по счету шел стих, от которого у меня запершило в горле. Я где-то слышала эти строки:

*Ведь не был же, нет,
Но с последней луны
Я храню полусвет
Ее снов тишины
Люблю до теней
Коль хочешь — сломай
Пожелаешь — разбей
Но только лишь рай
Ее рук не развей
Люблю до теней.*

Ирма, вне всяких сомнений, об этом знает. И мне вдруг стало слышно, как Деррис шевелит губами, повторяя за Кабрелем, — сначала на французском, которого почти не знает, потом на фернском, который не любит, потом — на дерри. На котором смотрит сны.

Поезд притащил меня в Гавр за обещанные расписанием два часа. В Гавре дул веселый кусачий ветер, плескали юбки прохожих негритянок, автобуса к набережную ждала немаленькая толпа курортников. Багет, кофе, два евро — и час рассеянно глядеть, как за холмами то появляется, то исчезает линия атлантического горизонта, пока автобус петляет по полям лаванды и сурепки, и просторы эти луговые невозможно заподозрить в близости к большой воде. Тамбовская область, ни дать ни взять. И вот, на исходе часа поля вдруг начинают прогибаться к воображаемому океану, автобус закатывается в эту складку и въезжает в игрушечный город. Этрета. *Étretat*. С некоторой натяжкой — почти Страна Бытия. Мой выход.

Полторы тысячи аборигенов. В разгар сезона еще примерно полстолько — отдыхающих. Спрашивается, как найти в этом небольшом, но все-таки стоге сена требуемую иголку? Надо сесть на променаде и, если просидеть достаточно долго, мимо непременно проплывет тень искомого друга. Потому что променады в таких городах центростремительны, как мне всегда казалось, и сюда выпадает хотя бы раз в день каждый курортник. Вещей на мне практически не было, если не считать небольшого рюкзака, я решила побомжевать до вечера на скамейке. Дала себе слово отлучаться только в уборную. Надо ли говорить, что Ирма так и не появилась? Но уверенности, что она здесь, неисповедимым образом прибавилось.

Заночевать удалось — везет дуракам, влюбленным и смертельно пьяным — в самой удаленной от пляжа

гостинице и то за неприятные для моего тощего бюджета деньги и строго на одну ночь. По неведомым причинам во мне окрепла убежденность, что я а) завтра найду Ирму, б) она захочет разделить со мной свой съемный кров. Я ее без нее женила на своем желании поговорить. Мне казалось, что она оценит мой конкистадорский раж — если судить по ее текстам (да и по ее биографии), Ирме нравились и свои, и чужие дурацкие поступки.

Утром я вернулась на пост. К полудню пляж уже кишел купальщиками, а прогулочная набережная — гуляющими. На флагштоках рядом с будкой спасателей пляскались объединенные ветром и солью разрешающие флажки. На скалах слева и справа толпились фотографирующие. Высокая вода случилась в тот день примерно к завтраку и сейчас крадучись отползала, оголяя нугу облизанных водой известняков и старые бетонные конструкции, оставшиеся здесь со Второй мировой. Я бездумно глазела на это гостевое мельтешенье — на нас, визитеров в этом вечном замке, где-то здесь уединился в подводных гротах или в дубраве на склоне, рядом с полем для гольфа незримый герцог и не желает ни наставлять, ни даже просто общаться. Но его присутствие пропитало воздух этого места, слабое, как запах сигары, которую докурили много часов назад, как духи уехавшей после обеда юной дамы. Начистоту: это к нему я возвращалась сюда раз за разом, ожидая опять и опять, что он покажется мне и уверенно, по-учительски, возьмется за штурвал моей жизни, скажет, что *именно* мне отныне и навсегда следует считать самым главным. В мире, где все войны — не здесь, в жизнях, где волей providения все складно и в целом симпатично, в судьбах, свободных от отсекающих все «излишества» катаклизмов, в клинически здоровых головах могут себе позволить плодиться разные деликатесные мысли, и вдоволь в таких головах простора для чистого беспримесного квеста на внутренней местности.

Время близилось к трем. Тяжелые хамские чайки невозбранно приканчивали мой бутерброд, забытый рядом на скамейке, когда из толпы в сотне метров от меня вынырнула и прислонилась к парапету незаметная хрупкая женщина с внешностью плохо сохранившейся девочки, в темно-синем длинном платье-мешке и сандалиях. Длинные, до самой поясицы, пепельные волосы затейливо переплетены темно-синими же шнурами. Я вас нашла. Сулаэ фаэтар, меда Ирма.

Когда я приблизилась и обратилась к ней — церемонным полусшепотом, на ломаном дерри, — Ирма вздрогнула и обернулась не сразу. Мы не виделись несколько лет и теперь, почти забыв, для чего я здесь, я ждала первой встречи взглядов. Наконец она повернулась ко мне — всем телом. На чуть обветренном лице, как тени от волшебного фонаря, мелькнули одно за другим секундное замешательство, удивление, растерянность, легкое недовольство, радость узнавания. У меня за ребрами в смятении заколотилась птица.

— Саша?

— Простите меня, меда, я приехала без приглашения. Молчит. Разглядывает. Пока вроде не сердится.

— Могу я спросить, зачем?

Ох. Так сразу. Ва-банк.

— Мне надо с вами поговорить.

— ...

— Вернее, даже побыть рядом. Кажется.

Разглядывает, молчит, совсем не сердится.

— Непонятно пока. Идемте ко мне, Саш. Вы одна приехали?

И вот мы не торопясь шагаем куда-то вглубь городка.

— Да.

— Кто-нибудь знает, что я здесь? Ну.. из наших. — Последние слова Ирма произносит неуверенно и будто бы виновато.

— Нет, я никому не говорила. — Хотя бы потому, что не могла быть в этом уверена. А к чему баламутить даже одного Дерриса, не говоря уже обо всей остальной команде.

— Да, Дерриса точно не надо баламутить. Он уж сам как-нибудь.

Молчим. Стараюсь не думать ни о чем действительно, смотрю впереди себя, пытаюсь любоваться ностальгически знакомыми красотами.

— Майкл, *Filthy*, сказал, что знает где вы. Мне показалось, что врет.

Ирма вскинулась, покраснела.

— Мы виделись, да.

— Где?

— У них. Но еще до того, как я сюда приехала.

Я вытаращила глаза.

— Как вас занесло в эту.. в это место?

Ирма покраснела еще гуще:

— Мне всегда казалось, что они знают что-то особенное.

— Вот уж никогда бы не подумала. И как?

— Во мне нет столько сердца.

Я оторопела.

— Какое сердце, Ирма? Берите на полметра ниже.

— Вы были в Каджурахо, Саша? — вопрос на вопрос.

— Нет.

— Секрет этих вот пресловутых храмов, ну, которые все в лепнине... Понимаете, о чем я, да? — Я поспешно кивнула. — Ну так вот, секрет в том, что это всё — снаружи. А внутри пусто, прохладно и нет ничего, кроме шивалингама. Сознание, пронзающее материю. В тишине и пустоте. Чистая концепция. Но прежде чем попадешь внутрь, долго-долго разглядываешь фасад. Вот я и подумала, что, зажмурившись, проскочу внутрь и увижу нечто, не имеющее ни экспозиции, ни развязки. Такое,

вокруг чего можно написать что-то стоящее. Медар Кама знает, что делает, как это ни странно.

«Медар Кама знает». О фионе тьернана Каме Торо, амстердамском герцоге, я была премного наслышана от Йамиры. Но даже наша Афродита сбивалась на благоговейный шепот, в невесть какой по счету раз выкладывая историю о ее с ним... приключениях. Ирма меж тем примолкла, и разговор явственно не предполагал продолжения. Но мне же нейдет.

— И что же?..

— Я не смогла зажмуриться.

Если бы не ослепительное солнце, на меня вместе с этой фразой спустились бы густые, пахучие сумерки. За доли секунды я вообразила себе такое, что немедленно захотелось спрятать от Ирмы как можно дальше.

— Я не полезу к вам в голову, меда, думайте о чем хотите, правда, — произносит, не глядя на меня, почти в сторону; и вдруг: — Вы говорили с Герцогом обо мне?

— Да. — Так быстро я не успеваю уклоняться от ответа.

— И что Герцог?

Мы между тем подошли к двухэтажному домику, по самый подбородок утонувшему в мальве.

— Какой милый! Повезло же вам снять такое чудо, Ирма!

— Ладно, не хотите сейчас — потом, может, еще раз спрошу. Заходите, Саша.

Внутри все было почти так же, как и в том доме, который постоянно снимали мы: тяжелые старые кресла с льняными подголовниками, каменный пол, камин, широкие подоконники с бестолковым, но трогательным фаянсом. В первом этаже обитали хозяева, но их дома не оказалось. Ирма снимала мансарду-студию, на которую вела узкая новенькая лестница, смотревшаяся тут чужой и странной. Мы забрались наверх, и Ирма

сразу же скинула сандалии, стащила через голову платье и направилась к холодильнику. Сыр, холодное белое, хлеб, стаканы для виски.

— Извините, бокалы внизу, а я уже разделась. Ничего?

— Конечно.

Крыша — почти сплошное окно, распахнутое, над коньком купаются в ветрах тяжкие ветви вяза. На полу под окном — листья. Ирма машинально обходит их всякий раз, курсируя между кухонным углом и креслом в глубине комнаты. Я все еще стою в дверях.

— Ведите себя как хотите, что вы, право.

— Мне раздеться?

Ирма прыснула.

— Вам — необязательно.

Каждый раз это неделикатное подчеркивание моей непринадлежности к людям Герцога задевает меня за живое. Скидываю кроссовки, носки, прочее оставляю, немедленно ощущаю собственный абсолютный идиотизм. Подходит, кладет руку на плечо.

— Потом, все потом. Не надо событий. Сядьте.

Первые минут сорок мы молча сидели каждая в своем кресле, тянули вино, таскали с тарелки сыр. Ничего не происходило. Ирма была тиха и спокойна, как мертвый радиоприемник, и лишь изредка задерживала на мне взгляд, и он слегка беспокоил, но природа этого беспокойства ускользала от меня: Ирма ничего не спрашивала, ничего не ожидала, не читала меня, ничего своим молчанием не говорила. Просто *была*. Я же разглядывала ее обиталище, пытаюсь найти подтверждение или опровержение собственным догадкам о резонах ее затворничества.

Закрытый ноутбук я заметила почти сразу: он валялся у кровати и, судя по легкой пыльной патине на крышке, его не открывали уже минимум неделю.

На прикроватном столике лежала распахнутая тетрадка, насколько мне было видно, на обозреваемом развороте — девственно чистая. Книг я заметила две: телефонный справочник непонятно какой страны (но ни одного телефонного аппарата в поле зрения) и «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом». Последнюю, впрочем, похоже, ни разу не открывали. Старенький музыкальный центр — еще даже со слотами для кассет — сонно моргал в режиме «*stand-by*», а на нем сверху высилась горка дисков, коробки же их аккуратной шеренгой стояли на ветхой этажерке рядом. Саймон и Гарфанкел, «*Penguin Café Orchestra*», Арво Пярт, Нина Симоун, Бобби Макферрин — и вдруг лютневая музыка, а следом — что-то такое «*Muse*», сборник «Карма Бар» и какие-то неведомые мне дискотечные миксы. Открытый стеллаж с одеждой, почти все — синее, но есть и что-то белое, голубое, бежевое. Не накидано, но и не сложено. На вешалке у входной двери — тяжелая гигантская шаль, почти плед. Такая синяя, что почти черная.

— Та самая.

Я чуть не подпрыгнула.

— Ладно, давайте поразговариваем, может?

Ее голос еще как-то можно было воспринимать после всей этой тишины. Свой я откровенно боялась услышать.

— Ирма... Меда Ирма, давайте я все же объясню как-то цель своего визита.

— Давайте попробуем.

И я говорила. Ирма слушала, приносила еще сыру и хлеба, а чуть погодя взялась готовить салат и варить мидии. Я рассказала ей и важное, и несущественное. Много несущественного. Но она слушала, не прерывая, не выказывая нетерпения, не задавая вопросов, и постепенно мне стало казаться: все, что я говорю, имеет

какое-то значение, и ей будет проще помочь мне, если я выверну все карманы ума наизнанку. Я рассказала, что коллекционирую приоритеты других людей — мне кажется, так я сумею разобраться в собственных; про свою тайную комнату (тут она улыбнулась, безошибочно услышав слова Герцога, мною присвоенные) — из ее окна всякое несомненно важное там, в мире снаружи: права человека, мир во всем мире, поиски бога, свобода, творчество, дети, любовь (и прилегающий к ней секс), карьера, деньги и любая прочая телесность и духовность, — тут, в тайной комнате, кажется если не равновеликим, то, по меньшей мере, одинаково *странным*, и непонятно тогда, куда и зачем, особенно когда свободен, бездетен и в конечном итоге так или иначе ощущаешь любовь и имеешь все возможности для этого самого пресловутого творчества, а произвольно усаживаться на оставшееся не понимаешь, для чего. Время, которое движется из удобного мертвого прошлого в фиктивное будущее, беспокоит меня своей фальшивой линейностью. Я рассказала, что не раз набивалась к Герцогу в студенты, но неизменно получала отказ (на этих словах Ирма взглянула на меня с жалостливой нежностью). Я рассказала, что хочу разделить с ней и всеми остальными счастье дарованной бесцельной однозначности (на слове «бесцельной» Ирма на секунду замерла, но потом, как ни в чем не бывало, продолжила резать что-то на разделочной доске). Я рассказала ей о том, что у меня не бывает *любовников* — только друзья, с которыми время от времени случаются более-менее вдохновенные ночи. И наконец я спросила:

— Зачем вы опять уехали, Ирма?

Она спокойно, будто в полусне, завершила дела на кухне, собрала на поднос наш с ней ужин, зажгла и расставила вокруг с полдюжины свечей, сервировала стол, сняла с вешалки сонную шаль, уютно завернулась

в нее, забралась в кресло с ногами. И только после этого заговорила:

— Я захотела, чтобы все перестало происходить.

Неумолчная моя внутренняя болтовня замерла на полуслове.

— В смысле?

— Чтобы прекратились *события*. Совсем. Может, тогда я махом расправлюсь и со временем, и со смыслами, которые сто́ят того, чтобы о них писать.

— ...

— Попробуйте мидии, Саш. Вы же наверняка их тут ели, когда приезжали, каждый раз. У меня есть карри, если хотите.

— ...

— Музыку?

— ...

— Давайте тогда без, действительно.

Далее — молча. После ужина она разложила кресло, постелила мне, достала из стопки на стеллаже белое хлопковое платье, протянула мне — это вам, Саша, ночнушка, — после чего облачилась в нечто столь же бесформенное, что и днем, и ушла. А я сунула в проигрыватель «Пингинов», переделась, легла на спину и уставилась в открытое окно. В густеющих сумерках приборой мешался с шорохами дерева над крышей, сладко и подсолонно пахло цветами, и в голове моей внезапно воцарилась глубокая прозрачная тишина.

Ирма вернулась, когда я уже спала. А утром был кофе с круассанами, абсолютный штиль — и продолжение молчанки. Непонятно было, как жить день: ходить за человеком хвостом было неловко, задавать вопросы о ее планах на ближайшие сутки — тем более. И я просто уселась после завтрака в кресло и попыталась имитировать ее вчерашнее покойное сидение. Ирма же прибралась в кухне и, словно меня не существовало, оделась

и опять ушла. Я еще какое-то время посидела в полном одиночестве, довольно скоро мне стало скучно; обнаглев, начала было читать Пёрсига, но фразы расслаивались, не смешиваясь, слова рассыпались, любопытство, как известно, стубило кошку, и я двинулась в город — низачем, просто гулять, как мне казалось. Но «гулялось» мне слишком уж целенаправленно и по-московски: я то и дело сбивалась на бег и выискивала в толпах отдыхающих известно кого. Да, я все-таки ходила хвостом. За Ирмой.

А она и не скрывалась. Я нашла ее там же, где и вчера, — у парапета набережной, в той же позе. Встала рядом, стала смотреть, как и она, в Атлантику. Выводок детей из местной серфингистской школы брал штурмом прибрежную волну. Визгу и гвалту аккомпанировали чайки, и я не сразу услышала, что Ирма внезапно продолжила вчерашний разговор, но с некого произвольно-го места.

— Вы, Саша, приехали, чтобы узнать, какое-такое писательское священнодействие потребовало от меня в очередной раз убраться подальше от дружеского круга?

Уже нет, но лиха беда начало.

— Так вот: никакое. Я ничего не пишу. И никогда не писала. Мои журналистские игрища не в счет.

К моему огорчению — и радости! — в последней фразе не слышно было никакой драмы.

— Ее и нет. — Теперь она смотрела мне в лицо и улыбалась. — Видите ли, Герцог, провожая меня со своего двора, не обозначил, как оказалось, двух самых главных вещей: что именно *важно* в конце концов *сказать* и что бывает после «долго и счастливо». Ибо, как оказалось, ничто в самом деле не важно, а «долго и счастливо» не существует — в сказуемой реальности, по крайней мере. Не в том смысле, что все истории, если разобратся толком, несчастливые. Я про «*ever after*». Герою

пристало исчезать в потоке серебряного света. На худой конец — просто белого. Святая воительница обязана растаять в воздухе после того, как человечество спасено ее усилиями. Воинству добра необходимо покинуть планету с последним победным аккордом. Светлый маг должен раствориться в живущих, мгновенно, бесследно. Герцогу положено был счастливо прекратить быть, когда я в последний раз обернулась, уезжая. Деррису и мне надлежало стать бесплотным облаком в ту ночь, когда все случилось в первый раз. Хорошо, не в первый — в тот, когда это было лучше всего. Время должно прекращаться с последним словом действительно хорошей книги.

Я изо всех старалась по-честному и с полной самоотдачей *молчать*. Затаила все дыхания. Не спугнуть бы...

— Но Герцог и не обязан был. У него другие задачи. Ну и потом — я единственная его ученица, которая «про слова». Быть может, у него просто не хватило на меня опыта, как вы думаете? — Теперь она уж точно резвилась. Я с облегчением вздохнула:

— Не могу знать. Вы же нас так и не познакомили.

— Герцог сам выбирает, с кем ему знаться.

Ну конечно. Как всегда.

— Словом, нет никакого «долго и счастливо», Саша. Я коллекционировала сильные события, внезапные отъезды, случайные встречи, готовила свои и чужие победы, маленькие и покрупнее, делала ставки, искала провалов и взлетов, восторгов и ужасов — до куда позволял инстинкт самосохранения, конечно. — Она невесело вздохнула. — Лишь только понять, что бывает *потом*, после того как все произошло. И всякий раз оказывалось: адреналин мелеет, к вечеру следующего дня уже заспал все случившееся до уютной гладкости и «капли дождя продолжают падать мне на голову». Скажете, это очевидно? Мол, жизнь продолжается, мгновенья не останавливаются, земля по-прежнему

вертится. Конечно. Ничего, то есть, на самом деле *не происходит*. Но чтобы создавать собственные несуществующие миры, надо разобраться, как работает созданный Ридом. Самому разобраться, понимаете? Поставить все эксперименты. Нащупать его правила пунктуации.

— Но любая книга — это история. *A story*. По крайней мере, художественная литература, а вы, как я понимаю, хотите написать что-то в этом жанре.

— Я хочу уничтожить нарратив, Саша. Хочу чтобы сама жизнь вошла в текст, слилась с ним — и уничтожила его.

— Мне всегда казалось, что самым актом занесения руки над чистым листом бумаги или созданием нового документа «Ворд» вы предаете свою цель? Вы *порождаете*, а не убиваете рассказ, чем бы он ни был? Ну и потом — это уже придумали до вас, в телевидении. Называется «телесериал». Реалити-шоу.

— Мне нужно третье. Мне нужна книга, состоящая из нерассказанной неистории.

— Как это?

— Как транс шамана.

— Почему вы уверены, что такое... эхм... повествование — теоретически хотя бы — может существовать?

— Потому что я этого хочу, вероятно, сильнее всего на свете.

— О-о. Ирма, дорогая, я хочу, чтобы существовали карманные драконы.

— Придумайте его себе. А я придумаю нерассказанную неисторию. И никаких «долго и счастливо».

— Ну хорошо. Допустим. Но здесь, в этой игрушечной гавани, какое ни на что не похожее «ever after» вы рассчитывали увидеть?

— В том-то и фокус, что ни-ка-ко-го, — объявила она с детским триумфом в голосе. — Спасибо вам, меда, что когда-то натолкнули меня на эту мысль. Именно

поэтому я и готова принимать вас тут и отвечать на ваши вопросы: благодаря *вам* я тут провожу финальные, надеюсь, испытания.

Ирма пристроила щеку на теплый, вылизанный морским ветром парапет и стала вдруг совсем похожа на грустную девочку.

— Я решила прекратить события. Полностью совпасть с генеральной линией творения Рида. Лечь на нулевой меридиан. То, что некогда Локире далось без всяких усилий, как выдох, как движение плеч, мне пришлось изобрести самой, и я долго ходила кругами. Именно тут, а не в тибетском монастыре или в глухих лесах Камбоджи или у вас, в Сибири, ничего не происходит. Это не место силы. Это равнина. Плоскость, на которой можно покоиться, как шар, предоставленный самому себе. И тогда, кто знает, время спустя, наблюдая за собой неусыпно, я смогу увидеть, почувствовать свой самый первый импульс, который вытолкнет меня из зоны абсолютного покоя. Он-то, как мне кажется, и будет тем самым — самым главным *«ever after»*. Но пока во мне все еще есть энергия качения, затихающая, но ощутимая. Ваш приезд, увы, этому движению вернул некоторый момент.

Мне, естественно, тут же стало неловко и грустно.

— Простите меня, Ирма, пожалуйста. Я сегодня оставлю вас. Что могли — вы рассказали, а я поняла, что могла.

Признаться, я рассчитывала, что она или станет меня удерживать, или великодушно простит и проводит на автобус. Она же выпрямилась, уперла взгляд в перламутровый горизонт и затихла. Надолго.

Мы простояли еще около часа, Ирма — совершенно неподвижно, я — тихонько переминаясь с ноги на ногу и совсем уже не зная, что с собою делать. Я рассматривала ее: сначала таясь, чиркала взглядом по ее лицу, а потом, как-то разом поняв, что ее нимало не беспокоит,

что я на нее тарашусь, уже совсем в упор зачиталась ею — как чужой книгой из-за чьего-нибудь драпового плеча в метро.

Умные взрослые утверждают, что, говоря строго, любой человек — дверь. Скорее всего, так и есть. Но самой мне это видно мало в ком: наверное, я еще маленькая. Но глядя на Ирму, а точнее, с некоторого момента нашего с ней стояния у парапета, — в нее, я ловила лицом рваное шершавое дыхание Ла-Манша и мне казалось, что не с британского берега, а из приоткрытой Ирмы меня обдает ее солнечным ветром, и тогда расплывались ее неправильные вечно ускользящие черты, штормовая серая вода прищуренных глаз захлестывала меня с головой, трепетала музыка, не имевшая ничего общего с тем, что я когда-либо слышала, и пейзажный звездный парк распахивал свои ажурные кованные ворота передо мной, а за ними — формы без формы, тишина и звуки, взлетно-посадочные полосы, верхушки сосен с высоты не птичьего даже полета, капающая с бесконечными перерывами в тумане вода, ночные шаги по каменным плитам, пространство без верха и низа, серебряные коньки, библиотека, больше похожая на грудную клетку изнутри, потоки букв и знаков, опознаваемых и незнакомых, бесконечность близко разглядываемой кожи в матовом фруктовом пуху, и на всем — разноцветные расплывающиеся блики зеркального дискотечного шара над танцполом, где играет Шадэ... Я могла бы не моргать еще сколько угодно, сколько угодно вслушиваться. Как, как прекратить все это?

— Там теперь гораздо тише, чем было, маленькая меда. — Голос Ирмы просачивается между смутными эхами, которые мне все еще слышно, дверь остается деликатно открытой, но в прихожей включили свет: Ирма смотрит теперь на меня, все ее лицо улыбается — лукаво и весенне, как всегда, как только она умеет, и салюты

морщинок разлетаются к вискам. — Пойдемте домой, может? Кажется, мы обе нагляделись, куда хотели.

Ночь, несмотря на календарь, оказалась внезапно ветреной и зябкой, Ирма закрыла окно в крыше, и к нам спустилась стеклянная тишина. На ужин Ирма предложила бифштексы с кровью, и теперь мясная сонливость настойчиво всасывала меня в вязкий разморенный водоворот. А хотелось, наоборот, бодрствовать и слушать, как спит (или нет?) Ирма, пытаться, не глядя на нее, опять просочиться в зазор между дверью и дверным косяком, откуда так сладко дул Ирмин ветер, где замедлялись ее туманности и звездные скопления, опять войти зачарованным ребенком в этот тайный планетарий и остаться на всю ночь. Но хозяйка, похоже, уже проводила меня — не запираясь, не выгоняя, а вот так, простой кухонной магией, вывела меня за ручку вовне. Аудиенция окончена. И я уснула — безнадежно быстро, мне включили какое-то безобидное и бестолковое кино, и проснулась я, когда запах утреннего кофе перебил все остальные. Свежими утренними улицами, под никогда не приземляющимся пурпурным дождем петуний в ящиках на окнах верхних этажей, мы дошли до мэрии, так и не произнеся за все утро ни слова, и на двенадцатичасовом экспрессе я уехала в Париж, а там провалялась в полудреме на газоне перед Лувром, рядом с десятками гладких одинаковых офисных красавцев и красавиц, проводящих здесь все свои ланч-таймы. В сумерках сошла с аэропортовского поезда, в самолете без признательности и бездумно жевала скучную аэро-еду, поочередно то угрюмо давя откуда-то всплывающие слезы, то отключаясь в тусклый, мало-подвижный сон.

Еще слоняясь по вавилону генерала Де Голля, я нашелкала СМС Макс — тому самому, с которым мы не раз навещали Этрета. Попросила встретить. Макс — мой однокурсник и настолько старый друг, что я время

от времени забываю, что нас водили в разные детсады, а потом — в разные школы, и вообще до университета мы не были знакомы. Полчаса спустя прилетел ответ: встречу, конечно, номер рейса скинь.

Пока ехали из липких ночных Химок, Макс поведал, что находится в начале новой главы своей биографии: у него завелась юная подруга. На фоне сказанного Ирмой все, что произносил Макс, звучало со странными абберациями: звук и смысл слов, преодолев порог слуха, распадался на два рукава: один, сонно-печальный — вот оно, бесконечное, «*ever (and ever, and ever) after*», второй, облегченно-радостный, словно бы с вызовом, понятно кому, — вот же, продолжается жизнь-то, и ничего, все довольны. Из этого раздвоения не рождалось никакой адекватной реакции, и я, как игрушечный бульдог на «торпед», кивала и улыбалась, кивала и улыбалась. Макс, со свойственным ему простодушием, не очень интересовался всякими когнитивными нюансами, и по этому разговор гладко шелестел себе по камушкам.

По понятным причинам ночевать Макс не остался — уехал к своей барышне. Я не протестовала: мне и одной-то непонятно было, как спать, не то что в тандеме. Невзирая ни на какие этические запреты, к утру я уже не на шутку страдала от мысли, что Деррис — не в России. Больше всего на свете я хотела сейчас выболтать ему все до последнего слова, сказанного мне Ирмой, а заодно сдать с потрохами ее дислокацию, каким бы вопиющим свинством это ни было. Но просто так, по телефону, «палить» Ирму мне было совсем не интересно: я жаждала живого, овеществленного сочувствия, какого-то осмысленного лицом к лицу диалога с кем-то, кто мог откомментировать то, что наговорила мне Ирма, что я надумала потом сама. Часам к шести сознание все же великодушно отключилось: я дала ему слово, что, как только проснусь, позвоню Герцогу.

Утро началось существенно раньше, чем предполагалось. Пока я спала, жизнь не стояла на месте: она квантовалась, по Деррису. Меня разбудил звонок одной моей до крайности деловой знакомой по имени Софья. Вместо «здрасьте» она пригласила меня возглавить некий миниатюрный издательский проект: есть человек, с какого-то перепугу желающий вложить деньги в книжный рынок.

Софья в книжном деле уже тогда была зубром — с нее началось мое хождение в слова: это она после ночи возлияний и болтовни предложила мне, пару месяцев как окончившей вуз, попробовать сделать словник к одной научной хрестоматии — такие тогда ударно печатало ее издательство. Я, ни секунды не веря в собственные потенции, изваяла некий документ, который, к моему бесконечному изумлению, через месяц был утвержден редакционным советом. Софья любила говаривать, что войти в книжный цех непросто, покинуть его — невозможно. Было и остается по слову ее: я здесь, здесь и пребуду, похоже.

Чуть погодя телефон опять воззвал ко мне, и я вытаращила глаза: звонили другие, не менее деловые знакомые, которым внезапно и срочно потребовалось написать каких-то текстов на сайт, дедлайны — «вчера». Как, как, Ирма, скажи, тебе удастся выпасть из игры? Ее проще поддерживать, чем прекратить. Ну и потом: как тебе удастся стать свободной от потребности быть нужной? Впору лететь обратно в Этрета — доспросить. Или писать рассылкой всем «нашим». «Нашим»... Если бы. Они «их», не мои. Но утра на то и утра, что в жанре драмы редко что показывают, и вот эта детская обиженность на Исключенность Из Круга по утрам не накрывает, а так, слегка дразнит, почти не задевая. Ну и, да, *дела-дела* — лучшее средство от памяти. И насупленности. И несбыточного.

Темы для текстов, которые мне заказали в то утро, вызвали легкий приступ паранойи, приправленной нервной смешливостью: «Игра как стиль жизни», «Природа времени для “чайников”» и «Некровные родственники: как и зачем мы ищем свое “племя”». Если бы не знала лет сто людей, от которых поступил заказ, я бы сочла, что это большой тройной привет от Герцога. Или от Йамиры. Но поскольку я активно писала всякие благоглупости примерно про то же самое у себя в блоге, да и прилюдно о том же поспекулировать была обычно не прочь, то списала все на эти две причины и успокоилась — если так можно назвать то взъерошенное нервное состояние, в которое я впала, таращась часами в крахмальный носовой платок «Ворда» на мониторе в тщетной попытке написать хоть что-то формально осмысленное и статьеобразное. То, что в итоге вышло, во всех трех случаях тянуло на хилую отписку. Как-то я подперла эту немощную писанину цитатами из Твена и «Монти Пайтона», пытаясь за чужим юмором спрятать свое тотальное непонимание тем. Зарядила письмо — преодолевая стыд, но зная, что накарябанного вполне хватит, чтобы удовлетворить заказчика, страсти с него некоторых денег и остаться с ним друзьями. И получить изрядный, хоть и неоднозначный бонус: без всякой моей просьбы, в полном неведении, посторонние, в общем, люди буднично и внятно сформулировали, сложили для меня из слов три янтры, к которым я снова и снова возвращалась, в которые вперялась опять и опять, почти без всякого результата. Но придание формы непостижимому — уже часть дела. Ирма добавила некоторой ясности — и одновременно все усложнила. Проще было жить, отказываясь от возможности понять. Теперь я была лишена этой простой радости. А тут еще и эти сайтоводы подлили масла в огонь. Как бы то ни было, материалы я сдала, а угрызения профессиональной совести потонули в невнятном гуле смешанных

чувств: возникли ясно поставленные вопросы, и от этого становилось чуть легче, но от полной неспособности — по крайней мере, пока — ответить на них самостоятельно меня снедала смутная тревога.

На участие в издательском проекте я тоже согласилась, почти не раздумывая. Вообще, скорость, с которой я в те месяцы принимала любые предложения, веселила и пугала меня одновременно. Потому что, как бы мне того ни хотелось, сделать вид, что я не убегая от, а бегу к, не удавалось. Меж тем, как это обычно бывает, за теи — как дети: если их честно любить и все для них делать, твои внутренние экзистенциальные мотыляния их нимало не беспокоят — первые несколько лет уж точно. А то, что могло станцеваться из всей этой затеи с издательством, меня искренне заводило. И как-то я вынесла за скобки и Ирму, и наши разговоры на линии прибора.

Редакция окопалась где-то в переулках у Зубовской площади и состояла первый месяц из меня одной. Навозившись в течение дня со звонками, письмами и бесконечным переформулированием издательского кредо, которое предстояло в скором будущем предъявлять литературным агентам и авторам, которых нам хотелось бы залучить, я слонялась в раздумьях по слишком большому полупустому офису. Он не спеша обрастал нехитрой мебелью и оргтехникой под будущих сотрудников, с которыми я уже начала аттракцион под названием «собеседования», — вместе с той самой Софьей, которая все это затеяла. В толстых неподвижных августовских сумерках я валялась на диване в «гостиной» (мы снимали квартиру, конечно), пялилась в высокий сталинский потолок и думала о том, каких книг не хватало лично мне для полного счастья. Мне казалось, что лишь такие книги я и смогу предложить пресыщенному все издававшему читательскому взору. Дни напролет я копалась в онлайн-версиях толстых журналов, в старых

подшивках и свежих публикациях, и отчего-то смотрела не только и не столько на тексты, сколько вглядывалась в лица авторов на фотографиях и искала все больше там, чем среди букв. И вот наконец встретилась глазами с маленькой сияющей женщиной в лыжной курточке и с лыжными палками в охапку. С черно-белой поясной фотографии на меня словно глянула Алис. И мне подумалось, что если бы Алис вдруг забросила свои рукоделья и села писать, то ее книги я бы скупала и читала с полным восторгом, независимо от стилистической одаренности автора. На той фотографии я при желании могла бы разглядеть водяные знаки — повторяющаяся пара слов «здесь квантуется».

Я позвонила в редакцию того журнала, с интернет-страниц которого мне так невозможно улыбнулась та писательница, секретарь на телефоне — не слишком охотно — дал ее домашний номер. А когда в трубке прозвенело с десятикратной силой той улыбки, которую я видела: «Да! Это я! Здравствуйте, Саша! Мне тоже приятно!», — я поняла, что Алис — не уникальный представитель своего вида. Так невероятная Евгения Борисовна вошла в мою личную и редакторскую жизнь и стала нашим первым именитым автором. Она же привела к нам еще нескольких одаренных писателей и иллюстраторов, которыми теперь богато наше издательство. Она же познакомила меня с моей Дашей.

К сентябрю вокруг завихрился тайфун из новых людей. Не то что бы я не общалась с коллегами по цеху ранее, но когда из офицера-капеллана превращаешься в офицера-кастеляна, формальный круг общения разбухает на глазах. Первые пару месяцев, как и положено на старте, еще можно было жить враскачку, делать все самой, но тут уже пришлось спешно выбираться из аутичной редакторской скорлупы. Среди прочих в мою жизнь посредством найма вошли чудодейственная

всемогущая Кира и субъект невыносимой красоты и профессиональной прыти по имени Андрей. Андрей же по случаю познакомил меня со своим довольно юным другом детства, Федором («дядей Федором», как у них с Андреем было принято его называть), с которым я, тоже недолго думая, съехалась. Примерно на пятый день знакомства. Ну не было времени на церемонии, на конфеты-и-букеты — дела, дела. Кира-владычица же быстро научилась всему на свете и к ноябрю волокла на себе бóльшую часть технических задач.

Замаячил декабрь. Улетел в типографию первый макет; чудесную книгу о гениях созидательных мелочей — между прочим, строго в духе Рида, Ирма бы порадовалась, — ждали к традиционной ярмарке «*re:ad|diction*» и даже договорились с одним милым издателем, что он приветит нашу детку у себя на стенде. За конец лета и осень мне только дважды толком вспомнилась вся эта весенне-летняя история: сначала позвонила Йамира и сообщила, что Деррис просил — строго по секрету — узнать как бы невзначай, не слышала ли я чего об Ирме, да и самой ей, Йамире, интересно, «как там наша девочка». Я сказала, что, увы, ничего. Йамира поугукала и, сославшись на некоторые признаки (известно какие — амулеты же у них, натурально), успокоила, что с Ирмой явно все в порядке — физически. А потом вдруг написал Дерейн. Тут уместно уже наконец будет заметить, что слово «вдруг» я бы предложила потомкам в качестве собственной эпитафии.

от: *Dhereihn* <*reihn@sulaefaetar.net*>

кому: *Sasha Zbarskaya zsashasashaz@gmail.com*

дата: *XX ноября 20XX г. 12:37*

тема: *Kom Tugezer Novyj GOD*

отправлено через: *sulaefaetar.net*

подписан: *sulaefaetar.net*

Меда, привет!

Слушай, может, приезжай на Новый Год, а? Полный сбор всех наших, есть шансы ;). Пока не знаем, где и у кого, но ты все равно напиши, приедешь или нет.

С.ф.,

Д.

PS. Эт-та... Герцог, кажется, тоже, ага :-). Я бы на твоём месте... ну ты понимаешь.

+++

от: *Sasha Zbarskaya <zsashasashaz@gmail.com>*

кому: *Dhereihn XXXX reihn@sulaefaetar.net*

дата: *XX ноября 20XX г. 12:40*

тема: *Re: Kom Tugezer Novyj GOD*

отправлено через: *gmail.com*

подписан: *gmail.com*

Привет, медар!

Буду. Скажи, куда лететь.

И тебе с.ф.,

С.

PS. Умеешь ты уговаривать!

PPS. А он в курсе, что вы меня приглашаете?

+++

от: *Dhereihn <reihn@sulaefaetar.net>*

кому: *Sasha Zbarskaya zsashasashaz@gmail.com*

дата: *XX ноября 20XX г. 12:50*

тема: *Re: re: Kom Tugezer Novyj GOD*

отправлено через: *sulaefaetar.net*

подписан: *sulaefaetar.net*

Да неважно ;-)

Сутки после этой переписки я ходила, как пыльным мешком стукнутая. Распечатала оба Дерейновских

послания, пришилила на стенку над столом в редакции. Было отчего ошалеть: меня впервые пригласили на сходку этой компании — без даты и места встречи. С каждым из этих людей по отдельности и с двумя-тремя сразу мне время от времени удавалось общаться, а вот чтоб со всеми одновременно... После того, как детство объявлено формально окончившимся, такие вот сюрпризы возвращают веру в деда мороза, питера пэна, мэри поппинс, карлсона и мировую гармонию. Хоть ненадолго, пожалуйста, давай это нам, дорогое мироздание. Жутко и весело впадать в детство. Со временем эта радость становится ценнее и реже, чем смех до слез, или великий секс, или с любовью приготовленный тебе гурманский ужин, или даже — страшно сказать — мгновения абсолютной внутренней внятности. Как и все перечисленное, она, эта радость, нерукотворна, неуловима, произвольна, и ее можно только отчаянно желать и надеяться, что чудеса на твоём кредите еще не исчерпаны, и есть еще варенье на дне банки.

Восторженный амок предвкушения чуда постепенно накрыл меня с головой, хоть я и пыталась банализировать предстоящее событие, чтобы чуточку вернуть себя на землю и как-то приготовить к тому, что после него будет то самое вездесущее и неизбежное «долго», черт бы его побрал, и «счастливо», непреодолимое это *«ever after»*, заслонившее в уходящем году половину моего неба. Христиане и рожающие женщины более-менее элегантно решают для себя эту проблему. Но я-то — не они.

Макс и Антоша отпраздновали одновременно, в очередной раз, свои дни рождения — так вышло, что оба моих самых старинных друга родились в один день. Сидя за столом в шумной компании закадык, я не могла отделаться от чувства, что, никем не замеченная, я уже вся — в другой семье, и это — сладкая форма предательства, игрушечная, детская, но словно видимый мне одной знак запасного выхода, мигающий со скоростью

произнесенных шепотом двух слов «новогодняя ночь» над видимой мне одной дверью, за которой — реальность, которую я была не в силах себе даже представить. Но она уже казалась мне галактикой обетованной. И Макс, и Антон миллион раз слышали от меня о *той племени*, но не могли догадываться, в какой пропорции мое существо уже поделено между тем и этим. Пангея-то раскололась давно, но события последних месяцев придали тектонике захватывающего дух ускорения.

Москву постепенно заносило снегом, и снег той зимой тоже был волшебный, настоящий: целовальный, красивый и томный. Что-то нехорошее традиционно творилось в новостных лентах, привычно гудел трансформаторной будкой «ЖЖ», и самую малость было стыдно, что нет мне дела до всего этого, что я уже уехала к меня зовущим голосам, в сверкающий туман встреч и чудес. А что чудеса непременно будут, сомнений не возникало. Всерьез меня волновало только одно: не начать бы оплакивать свой не родившийся еще январь, где уже опять будет жизнь, в которой все заново, все заново.

Перебирая в уме дорогих мне людей — чтобы как-то не очень нервировать своей социальной несознательностью посторонних окружающих, — в очередной раз я поняла, что подобное притягивается к подобному вопреки законам электротехники. Даша, Макс, Вовка, Андрей, Соня, Антоша и даже Федор (с некоторыми оговорками) пребывали в таких же параллельных галактиках, что и я, каждый — в своей и по своим личным причинам. И тогда, и сейчас я не знаю ответа на вопрос, делают такие, как мы, мир лучше или бездействием своим приближают воображаемый апокалипсис. Но когда есть команда на внутренний взлет (а так оно и было тогда, в декабре), когда в каждой стене — невидимая розетка и гарантированная немедленная подзарядка, мне казалось, что достаточно жить, повинуюсь императиву

«трудись, не вреди, делись тем, что имеешь» — и будешь оправдан. И чтобы уж совсем реабилитироваться, думала я и про тех, кто далече: про Стива и Йенса, про Катю, про Птичку (это одна моя старинная практически-сестра, давно уехавшая в страну, где ее асоциальность оказалась куда уместнее, чем здесь), про Фулла, с которым мы по случаю мотались когда-то в Индию, про Льва Александровича (тоже покинувшего Москву, увы или ура), с которым меня счастливо свело издательское наше чадо, и еще про целый легион людей, предрасположенных к ловле солнечных ветров. Помогало.

К середине декабря, однако, никаких вестей о времени и месте встречи не поступило. К двадцатым числам начали возникать унылые предчувствия. 22 декабря доехала к деду с бабушкой на кладбище — посоветоваться. Старейшины молчаливо благословили звонить и спрашивать. Там же, не сходя с места, набрала номер Дерейна. Не снял трубку. Но полчаса спустя, где-то на перегоне между Нагатинской и Нагорной, прилетел СМС: «Разводим м. К. Э. на замок. Терпение». Вот это да! А еще пару дней спустя, в сочельник, отпеленговался Деррис: «Встречаемся в Этрета, 31-го утром».

Они ее нашли. Кто бы сомневался. А Герцог увернулся от гостей, что меня тоже не удивило. Нарисовала себе календарь из семи дней — на ватмане, чтобы клеточки зачеркивать, — и принялась копать интернеты: в канун Нового Года решение вопроса с авиабилетом простым не бывает.

Довольно скоро стало понятно, что шансы моего невылета тридцатого декабря растут с каждой минутой. Билетов до Парижа попросту не было. Ни за какие деньги, никаких, ни с какими пересадками. А до Берлина? А до Франкфурта? Брюсселя? Вены? Барселоны? Я была готова лететь хоть через Рейкьявик — и мобилизовать под это любые ресурсы. Ощущение, что эта встреча есть литературная кульминация всей моей жизни, быстро

приобретало формы и масштабы ядерного гриба на близком горизонте. Завтра никогда не наступит, аллилуйя! — без всяких на то рациональных оснований верещал воспаленный ум. Я уговаривала себя: а) прекратить паниковать, б) прекратить накручивать. Тщетно. Имелась и еще одна техническая заковыка: мне все никак не приходилось к слову сообщить дядь Федору, что Новый Год я планирую встречать без него.

28 декабря, уже в полуобморочном состоянии, я позвонила в контору, где подвизалась сразу после университета: ребята занимались авиаперевозками для молодежи и студентов, к которым я уже никаким образом прислониться не могла. Их АТС, кажется, уже перешла в фазу холодной плазмы, и трехчасовое висение на телефоне не дало никаких результатов. А Каро — так звали директрису этой богоспасаемой компании — с гарантией 95% уже наверняка отбыла в аркадию — в Индию то есть. Каро, родная, сними трубку, умоляю! Не упомню случая, чтобы чье-то «аллэ» вызвало во мне такую бурю эмоций.

— Каро! — заорала я в телефон, не веря собственному счастью, — Это я, Саша Збарская!

— О-о, приве-ет, Санька! Ну и везет же тебе: у меня завтра випасана, полный дисконнект и адьос. Что у тебя там?

— Карошечка, миленькая, спасай. Мне послезавтра надо быть в Париже. Обязательно. Вопрос жизни и смерти.

На линии возник сухой треск и кваканье, и я испугалась, что сейчас ее потеряю.

— Еще раз. Куда тебе надо?

— В Париж, хоть на палочке верхом!

— Уж не к Йенсу ли? — Каро была до некоторой степени в курсе моей личной истории.

— Нет, Йенс женат и вообще... Я сейчас не про это.

— Ты? Не про это? Малыш, ты что? Не в пирогах счастье? — Она явно веселилась и была расположена поболтать. Ей очень не впервые приходилось решать мои острые транспортные проблемы. Но рассказывать, что да как на этот раз, меня не тянуло совсем: время кипело в гортани.

— Клянусь, все расскажу потом. Сотвори чудо, а?

— Ладно-ладно. Перезвони через полчаса. — И повесила трубку.

Все хронометры мира с ощутимым скрежетом замедлили ход и замерли на месте. Я сидела в темной редакции под мигающей гирляндой и сверлила глазами заставку на мониторе — Ирмин косолапый рисунок Рида, скопированный через кальку из деррийской летописи.

П о л ч а с а .

П
О
Л
Ч
А
С
А

.

Полчаса.

Истекли.

— Каро?

— Записывай номер. — Я сломала два карандаша, прежде чем руки прекратили трястись; записала. — Звони прям сейчас, бронь провисит час-полтора. Вылетишь завтра утром. Удачи тебе с ним, ну, кто у тебя сейчас в Париже! Ом нама шивай, — и гудки.

Через сорок минут я уже была в битком набитом людью офисе на Чистых Прудах. Если бы не Соня, в последний момент поднявшая голову от своего компьютера и флегматично предложившая мне все-таки надеть куртку, а не выскакивать в футболке и джинсах на улицу, я бы только у памятника Грибоедову осознала, что экипирована не по сезону.

За прошедшие годы состав офисных сотрудников Каро сильно поменялся, но пару человек я еще помнила. Из своего кабинета выглянула Ольга — пышная шатенка с неисполнимыми требованиями к мужчинам, многолетний партнер Каро. Ей я и звонила — на некий секретный номер, потому что доставать ее в это время года по обычному было делом совершенно пропавшим. Оля неизменно светилась чистой, беспримесной вампической энергией. Безупречный минимальный макияж, блузка без секретов, брюки, каблуки, мнимая тень от хвоста со стрелкой на конце — на полу. И я такая — расхристанная, красная, всклокоченная и в футболке с котом Саймона, прилипшей к спине. Путь вверх по эскалатору на Чистых заставил засомневаться в пользе зимней одежды.

— Са-а-аша! Какие лю-у-уди! Ты, как всегда, вспоминаешь о нас, сырых, когда тебе приспичило нас покинуть, неспа?

— Привет, Олечка! Как вы? Сезон полыхает?

— Всё как всегда. Заходи.

Я протолкалась через общую приемную и закрыла за собой дверь в Олин кабинет.

Тут все было по-прежнему, на стенах только прибавилось дипломов — и принтов с рисунками того самого индийского умника, чьими текстами зачитывались и мы с Каро и Олей, и Стив, и многие прочие наши общие знакомые. Компания не афишировала пристрастия генералитета ко «всякому такому», но свои знали. На подоконнике, как всегда в разгар сезона, громоздилась

батарея дорогих бутылок — транзитно, впрочем: ни Оля, ни Каро алкоголь давно не употребляли, и все даримое с околосветовой скоростью передаривалось всяким нужным людям. Большая экономия, между прочим.

— Как ваши дела, Оль? Как сама?

— Дела в порядке, сама хорошо. Плюнь на приличия, вот твой билетик.

Я приняла из ее рук бланк.

— Полетишь в лучшем виде. «Калининградские авиалинии» — скоро обанкротятся, похоже, но пока летают. Придется, правда, посидеть немного в Кёниге, но тут уж не до жиру. Поздно спохватилась, дорогая.

Оля, Оля. Знала бы ты, как они, эти люди с ненормальными именами, умеют спохватываться.

— Как же вы меня выручили, Оль. Ты не представляешь себе.

— Как там было-то?.. *True love will never fade?* — Подмигивает. — Ты же знаешь, как мы тебя любим тут все.

Это после того, как я дезертировала пять лет назад на издательские пажити. Каро мне это простила совсем недавно, хоть и виду не подавала.

— Спасибо вам большое. Не знаю, как и благодарить, честно.

— Деньги в кассу, милая. И заходила бы почаще, что ли. — Олин голос и манера разговаривать были и остаются, думаю, одним из ключевых активов компании. Странно, что не Фелицией назвали в свое время.

Уже шагая по бульвару и поминутно проверяя, на месте ли конверт с билетом во внутреннем кармане куртки, я неохотно призналась себе, что примерно через час мне все-таки предстоит как-то объясниться с дядей Федором.

Когда я ввалилась домой, в костюме снеговика, Федора еще не было. Вариантов два: начать собирать рюкзак еще до того как он заявится и все узнает, или дожждаться

его и собираться уже после разговора. Вот оно, прохладное и гулкое — свободное — падение с большой высоты: шаг в пустоту уже сделан, дальше — все в руках providения. И я, потоптавшись в прихожей, отправилась в ближайший супермаркет — реализовывать неучтенный третий вариант: закупаться подарками. Коробка для Федора уже давно была задвинута под елку и теперь ждала своего часа, так что хотя бы тут я повела себя как хорошая девочка. Дрянной девчонкой мне еще предстояло побыть в самом ближайшем времени. Я терялась в догадках, пытаюсь предвидеть реакцию Федора на новость, что наш первый совместный Новый Год — сюрприз! — ему предстоит встречать без меня.

Увешанная кулками, я поскреблась в дверь, потому что ключ из-под всего можно было извлечь только археологически, а окна кухни к моему повторному возвращению уже светились. Федор открыл мне, автоматически принял пакеты и только удивленно воззрился на них:

— Это кому столько?

Начать прямо тут, не снимая гамаш, или все же раздеться?

— Сейчас расскажу, погоди.

Федор пожал плечами, сгрузил блестящее и шуршащее на пол в комнате и вернулся к любимым мониторам. Я же разделась и боком-боком просочилась на кухню, все еще надеясь, что Федор вдруг сам прозрит несказанное, все поймет, и мы счастливо проспим до четырех утра, после чего я чмокну его в пухлые губы и возьму курс на аэропорт, а он, счастливый и довольный, станет готовиться к уединению в новогоднюю ночь. Но ожидать такой плотности чудес было уж всем и непрактично, и борзо.

— Так что в итоге?... — Федор, мастер краткого художественного слова, скрестив руки на груди и, видимо,

смутно ощущая, что дело нечисто, остановился в проеме кухонной двери.

— Акхм. Ну.. — Давай уже разом, ну правда. — Дядь Федор, слушай, я завтра утром улетаю.

— Та-ак. На один день, что ли? И далеко?

— Нет, на неделю. П-примерно.

Пара секунд все же потребовалась, чтобы Федор осознал сказанное и его следствия.

— Потрудись объясниться, пожалуйста.

Уфф. Пока все ничего.

— Помнишь, я тебе рассказывала про книгу, которую я переводила с фернского?

— Помню, да, девчачьи глупости. Анти-Буковски, анти-Мураками, ага. И что?

В интересах дела я сочла возможным пропустить эту реплику мимо ушей.

— Ну да. Вот эти ребята не пускали меня в коллектив, все эти годы. А тут, представляешь! — Побольше трепета и восторга в голосе. — Позвали Новый Год отмечать вместе.

Пауза.

— Я с тобой.

— Федор, прости, но никак. Один билет еле добыла, вот буквально сегодня. — Пошла в прихожую, достала заветный бланк. — Смотри.

С некоторой опаской протянула ему билет как вещественное доказательство. Федор, все же мельком зафиксировав пункт назначения, в целом проигнорировал мой жест и продолжил допрос:

— Не убедила. Ты что, не можешь с ними в другое время встретиться?

Пришло время юлить и лебезить:

— Ну милый, ну может не быть другого времени: они ж такие, они в другой раз не позовут. Вот представь, что тебя приглашают на мальчишник самых крутых чуваков

с РБК! — Федор увлеченно играл на бирже; находчивость — наше все. — Один шанс на всю жизнь.

Милый, судя по лицу, учел мой аргумент, но решил все-таки обидеться, пока — в квазипарламентских выражениях:

— Сань, это блядство, я считаю.

— Не-ет, Федь...

— Не называй меня так.

— Прости, пожалуйста. Нет, Федор, со всей ответственностью заявляю: это не блядство. Я ж не к другому мужчине еду, ну правда.

Федор обдумал этот аргумент.

— Допустим. А мне что делать?

— Позвони Андрею, Вике, Антохе, встретить с ними. Обещаю набрать тебя ровно в полночь по Москве.

— Вот спасибо-то. Извиниться не хочешь за все это?

Извиниться? Да я его готова была целовать до крови в темя за то, что так легко отделалась.

— Извинииизвинииизвинииизвини, пожалуйста! — С сильным запозданием я не менее сильно виноватилась, но с раскаянием было туго: я *уже* была вся там, в *Стране Бытия*.

— Ладно. Не лезь ко мне какое-то время. Собирай вещи пока. — С этим Федор развернулся на пятках и вернулся в гостиную. А я зарылась по пояс в платяной шкаф.

Сборы заняли примерно полчаса. Я решила, что все теплое и объемное напялю на себя, а остальное много места не потребует. Две трети рюкзака заняли купленные подарки. Да и не планировала я ничего такого брать. Интуитивно показалось, что там всем будет чхать на расфуфыренность. Шурша пакетами, я прослушала вопрос из другой комнаты, и Федору пришлось напрячь голосовые связки:

— Где встречаетесь хоть?

— В Этрета.

— Где?

— В ЭТРЕТА! ЭТО ТАКОЕ МЕСТО В НОРМАНДИИ, ПОМНИШЬ?

— Чё так сложно-то?

Я решила, что нелишним будет дойти до него и даже присесть на подлокотник его кресла.

— Ирма — которая автор книги — удрала туда полгода назад. Подозреваю, что они таким способом хотят сделать ей сюрприз.

— Красавцы. Человек явно от всех убежал, а вы планируете припереться и все испортить.

— Ты не понимаешь. У них там так все устроено...

— Да куда уж мне.

— Ну не обижайся... — Попытка приласкаться.

— Да ну тебя. — Неохотное объятие.

— Ты такой у меня замечательный, Федор. — Никакого вранья, серьезно.

— Не подлизывайся, фу. — Но все равно обнимает.

— Я не подлизываюсь. Я восхищаюсь.

— Предательница.

— Не кидайся словами.

— Поучи деда кашлять.

— Дед, тоже мне.

— Собирайся иди. Спать-то будешь ложиться? Я бы вызвал такси уже сейчас, на всякий случай. Смотри, как метет.

Из такси я послала Федору с полдесятки СМС. Он ответил на все. «Люблю» у нас не принято — Федор не верует в этот глагол, поэтому всякое синонимическое. Мне в последний момент, как это всегда бывает, взгрустнулось и стало не по себе: куда лечу? зачем? Но теперь быстро отпустило — еще на подъездах к Домодедово. Пресловутая полоса отчуждения съела меня целиком, не жуя.

В Калининграде, как и было обещано, я провела несколько часов. А потом еще несколько — из-за метели не давали взлета. Полная анестезия вечно ноющей железе треволнений: сутки в запасе! На радостях я сперла в аэропортовом кафе шикарный стакан для виски — «дьюаровский». Подарю Федору, когда вернусь. «Когда вернусь». «Долго и счастливо», да.

Вылетели, в итоге, ближе к трем. На Париж одновременно с моим самолетом опустелись напитанные рождественскими огнями сумерки, акварельно расквашенные дождем пополам со снегом. Обнять бы Йенса.

«Привет, эльфище! Я до утра в твоём городе. Встретимся?»

Ответа пришлось ждать долго. Я приехала на Северный вокзал, купила ритуальный багет с сыром, выбралась на улицу и пошла куда глаза глядят. Руки немедленно украсились багряными цыпками и окостенели под ветром, мне было промозгло и абсолютно одиноко — в значении «уединенно»: я совсем, совсем одна на расползающейся под ногами Пангее, и счастье шло в метре впереди меня, размахивая полами настезь распаханного легкого не по сезону пальто, и шлейф из корицы и гвоздики тянулся широким конусом, волоча меня за собой. Но отчего-то нагнать его и заглянуть я никак не могла, и от этого росло и росло перчившее горло беспокойство.

И вот оно. Ближе к десяти прилетело: «В Ютландии. Хороним Риикку. Автокатастрофа. Прости». Я не глядя перешагнула порог первого попавшегося кафе, где-то на Сен-Жермен. Играло что-то Франсуа Фельдмана, кажется. Люди за окнами бежали туда и сюда. Официанты хамили, как обычно. Звякала посуда, бармен шумно рассказывал анекдот каким-то мужикам в подпитии. Кивала и подмигивала праздничная иллюминация. Сходили с ума водители в пробке. По шкурам окостеневших платанов стекало мокрое небо. Риике, сводной

сестре Йенса, было от силы двадцать четыре. «Не плачь, я сам», — высветилось на телефоне чуть погода.

А ночью пошел уже настоящий дождь. Мне хотелось вымокнуть, устать в хлам и не чувствовать, по возможности, этого вот *всего и сразу*. Запихивать себя в настоящее стоило каких-то совсем уж нечеловеческих усилий. Я шла и шла, как заводная, закладывая сложные петли по седьмому, кажется, округу, стараясь думать хотя бы в пяти направлениях одновременно, лихорадочно подбрасывая уму игрушку за игрушкой, — только чтобы он оставил меня в покое. Риика. Ушла. Мое племя. Приходит. К четырем утра я была совсем уж по разные стороны океана. В шесть открыли Сен-Лазар. Свернувшись криветкой на стальной скамейке вокруг своего рюкзака, я провалилась в ржавый водосток забытья. В семь залила в себя кофе и впихнула булку, а в семь сорок забралась в поезд до Гавра. Если бы не погода, дежа вю было бы полным. Розовые и оранжевые закорючки на зеленом фиктивном плюше вагонных кресел съели остатки моего внимания, я скрылась по уши в вороте свитера. Вселенский клошар — мокрая, заляпанная по колено городской беготней, залубеневшая насквозь, блаженно ничего не соображающая. Этот портал в пространство свободы от вопросов, вероятно, — старее мира.

По прибытии поезда карликовые боги минут даровали мне еще полчаса паралича сознания: в ожидании автобуса я слонялась по гаврскому вокзалу, распаханному всем ветрам с набережной. Самозабвенно впитывала холод, пораженный в правах за два часа жизни в тепловатом поезде, — со вполне мазохистским сладострастием: мне отчего-то продолжало казаться, что мне предстоит получить подарок, который я никак до сих пор не заслужила.

К полудню автобус выдохнул меня на любимой площади перед мэрией города Этрета. «Следуй за внутренним голосом, меда, — и ты найдешь нас!» — прибыло

сообщение с неопределяемого номера. И, через минуту, оттуда же: «Ну или позвони Мелну, он сегодня дежурный встречающий. Что с тебя взять ;)))»

Прошрое и будущее, закручиваясь в мутную воронку, покидали щелястое корыто моей реальности. Герцог, смотрите же, смотрите, моя чашка пустеет! Тащите свой апельсин! Шагала я за пределами усталости, будто по колено в сахарной патоке, по улице к набережной, мимо елок в огнях, сквозь праздничную толпу, а она дышала — пока лишь слегка в этот обеденный час — глинтвейном и рыбным супом, готовится к очередному праздничному вечеру. И вдруг я пожелала хоть немного оттянуть встречу, которую так долго ждала, тянула на себя что есть сил. Я все еще не готова, я не дозубрила к экзаммену, я не все отложила, не все забыла. Дайте мне еще пять минут. Десять. Полчаса. День. Жизнь.

Эти герои ментального сыска меня нашли, не прошло и часу. Стоило мне окопаться в маленьком баре в тихом углу на второй от променада линии домов, туда немедленно ввалились с грохотом и улюлюканьем Мелн, Алис и Йамира. Я не успела опешить, как они уже взяли меня в плотный круг и стиснули в объятиях. Разговаривать? Вот еще. Эти трое по старой привычке наперебой болтали с закрытым ртом. Но быстро опомнились: я — «посторонняя» и понимаю только сказанные слова.

— Ишь, спряталась, думает!
— Такая смешная!
— Привет, меда!
— Да ты не волнуйся так, Герцог приедет часам к шести, у тебя есть время смотреть отсюда удочки, если что. Ты же на него смотреть приехала, а не на нас, а?

Вот дураки-то. Или прикидываются? Прикидываются, конечно. Гогочут.

— Как же я соскучилась, друзья, — выкашляла наконец.

Поверхности моей головы не хватало, чтобы они все втроем, одновременно, меня в нее целовали. Но эту задачу они тут же как-то решили.

— Давай расплачивайся и пошли. Наши все тебя ждут! — шепнула мне на ухо Алис.

Барменша улыбнулась, наблюдая подобное братание, поздравила нас с Рождеством, и входной колокольчик протренькал нам «пока». Мы двинулись вглубь города, к далекой равнине, и минут через десять дорога начала взбираться на холм к югу от мэрии, параллельно Гаврскому тракту. Подъездная аллея, зашторенная полуголыми ветвями зимних деревьев, вскоре уперлась в кованые ворота, за которыми виднелась просторная усадьба желтого кирпича. Мелн позвонил в домофон, и с тихим пиликаньем ворота приоткрылись, пропустили нас на территорию и так же неспешно затворились за нами.

Толстый сплошной травяной ковер, не заметивший наступления зимы, поглощал шаги. Тропинка была, но я ломанулась по прямой, а мои провожатые, быстро переглянувшись и прыснув, двинули за мной. Окна обеих этажей сияли, сплошно занавешенные каскадными гирляндами, одно было открыто. На подоконнике стоял бумбокс, из него негромко изливался «*Wet Wet Wet*» — «*Love Is All Around Me*». На секунду мне померещилось, что я провалилась по горло в Ирмины дневники. Однако наваждение прошло, когда над бумбоксом показался Деррис — в толстенном туристском свитере с растянутыми воротом и рукавами.

— О-о! С-саша пришла! — заорал он, перекрикивая музыку и тут же скрылся внутри дома в прыгающих тенях, подкрашенных золотым. И вот они, все, вечно юные боги, встречают меня. Все ли? Известно, кого я искала глазами — и не находила.

Богран, Дерейн, Деррис, Амана. Локира? Ирма?

— Будет, будет тебе и та, и, глядишь, другая. — Смеются хором и обнимают, обнимают. А все мое внутри, уверенное, что со вчерашнего дня прошла минимум неделя, вдруг обмякает и начинает плавиться, прямо у них на руках. Так хочется говорить с ними, быть в этом Доме Объятий, чтобы мироздание сфотографировало нас на свою камеру и мы бы замерли навсегда тут, на пороге, все вместе, насовсем, и «*Love Is All Around Me*» пусть замрет и висит, как платоновская идея, в остановившемся зимнем соленом воздухе.

— Сейчас вылетит птичка, меда, допросишься! — галдит мое племя, и время с грохотом обрушивается опять, и они тащат меня в прихожую, сдирая с меня на ходу рюкзак, сырую одежду, усталость, сон, всю предыдущую жизнь. Четырнадцать рук одновременно волокут меня к креслу у резвящегося рыжим камина, наливают мне грога, растирают мне ноги, накрывают пледом. Слышен смутный шум льющейся воды — кто-то пошел налить мне ванну. Ребята, не надо, я сейчас засну, а я не хочу спать — я хочу быть с вами! Как же хорошо, Рид, как же хорошо у тебя в гостях.

Йамира присаживается на корточки рядом со мной:

— Представляешь, Локира — сама! — прознав, насколько сильно... э-э... захлопнуло Ирму, приехала ее выковыривать из раковины. Герцогу, правда, это стоило некоторых усилий. — Йамира играет бровями, а я теряюсь в смыслах, вложенных в эту фразу. — Но у него всегда все получается, ты ж понимаешь. В общем, Локира сейчас у Ирмы, обещала к восьми привести. У нас тотализатор, Деррис играет против всех — говорит, что ничего не выйдет, а мы считаем, что уже в семь обе будут здесь. Присоединяйся!

— Отцепись от человека, Йам, отойди-ка. — Экскаватор-Богран подымает меня из кресла нечеловеческих

размеров ковшами-ручищами. — Алис, дуй в ванную, открой мне дверь.

И Алис уже прыгает белкой на шаг впереди, и распахивает двойные двери в пар и полусвет одетой в лиловый кафель ванной комнаты, и я не успеваю оторопеть от мысли, что сейчас будет то же, что когда-то случилось с Ирмой. Но тогда были весна и река, и молодящийся лес, и грохот пронзительной воды по камням. И все, все они рядом.

— М-м! Хочешь общего собрания, меда-малявка? — Алис не оставляет мне простора для возражений, оправданий или даже возмущений — какого черта она лезет по локоть в липкую вязкую субстанцию, которая в данный момент заменяет мне мозг? — и вопит голодным грифом на весь дом: — Меды и медары, Саша желает, чтоб мы свидетельствовали все вместе!

Мне становится все равно — и нет блаженнее этого безразличия. Мое «я» висит где-то в самых толстых клубах пара, под потолком, и смотрит детскими праздничными глазами, видит: вот по одному, в полной тишине, заходят и заполняют собой эту сумеречную пазуху *мои люди*; вот они рассаживаются на корточках, как индийские подростки, вдоль стен; вот Богран устраивает меня на краю великанской ванны; вот Алис садится рядом и поддерживает меня за спину, чтобы я не кувырнулась до времени в горячую, белесую от налитого в нее лавандового масла воду, и распускает мне волосы; вот Богран с неожиданной для его рук ловкостью проникает мне под свитер и, не прикасаясь ко мне, слушивает его с меня, вместе с пахучей уже майкой, а потом опускает меня на ванный коврик, расстегивает на мне джинсы, — и я с околосветовой скоростью ре- и прогрессирую до двух- — и девяносто- — летней себя, когда твоя материя управляется только чужими руками, когда тело еще и уже не просыпается в ответ, а только умеет благодарить и сдаваться бездумно, без ожиданий. И я вижу, как

они, *мои люди*, видят меня в моей, пусть временной, немощи, и можно не прикидываться, быть и не казаться, позволять, впускать, ничего не бояться. Они видят: вот Богран легко, как писчую страницу с потекшими чернилами, поднимает меня с пола и медленно-медленно отдает меня во власть четвертого элемента, погружает в воду, как новорожденную, и там, у потолочных огней в кисее пара, я с восторгом такой себя и начинаю осознавать — вновь рожденной.

А потом, в трех махровых полотенцах и под пледом, в кресле в гостиной, со стаканом грога в руке — я сижу и ничего не понимаю. Свечи и гирлянды завьюживают все сильнее и сильнее. Или это грог? Или со мной такое от ужаса, что не поймать мгновения, не удержать. Надо встать, подвигаться, покружиться в этом буране. И ничто не изменилось вокруг. Никто ничего не заметил. И в обыденности — спасение, ответ и полная свобода от застенчивости. Богран с Аманой уже ушли на кухню — доводить до ума новогодний ужин, должно быть. Деррис ходит на двор и обратно, таскает дрова для камина — впрок, чтобы вечером уже никуда не бегать, должно быть. Дерейн сидит рядом, держит меня за стопы, и мне все горячее и горячее, и сон отступает, и снуют по телу разноцветные искры — точь-в-точь как описывала Ирма: Дерейн проводит со мной профилактику простудных заболеваний, тем самым манером, который когда-то изумил Ирму. И вот уже я начинаю, кажется, светиться и отражать янтарные огнепады, заменяющие шторы на окнах, как новенькая елочная игрушка, и готова помогать и быть для них всех тем же, чем они — для меня, должно быть. Ну или хотя бы попытаться.

Алис подтаскивает мой рюкзак. Извлекаю все самое сухое, облачаюсь.

— Ну вот и отлично. Дуй на кухню, ты там пригодишься лучше всего.

А на огромной кухне — дым коромыслом. Почему-то лепят простецкие сэндвичи, никак не пир горой. Все равно.

— Отличный дом вы сняли, Богран. Как вас вообще сюда занесло?

Переглядываются с Аманой. Смеются.

— Мы все приехали в гости к Ирме. Но у нее, как нам стало заранее известно, тесновато для такой сходки. Пришлось снять что попросторнее.

— Она же вроде не склонна была принимать гостей. — Я было осеклась, но что толку? Они же все знают — причем, думаю, давно.

— Мы ее не спрашивали, признаться, — отвечает Богран, Амана кивает. — Мы соскучились, а она в какой-то момент слабо, но позвала нас. А тут два раза просить не надо, нам только дай.

Седые, соль с перцем, пряди Богран залихватски подвязал корсарским платком, как и положено шефу. Амана — вне возраста и почти вне пола. О ней мне известно только, что она долго работала в каком-то Иерусалимском оркестре, играла на альте. Деррис, когда я впрямую спросила, с рождения ли Амана бессловесна, долго мялся, потом сказал, что нет, но развивать эту тему отказался. Я больше не лезла. И в этот раз не собиралась. Потому что Амана улыбалась, глаза ее блестели и отражали огни дома, как и у всех остальных, и пусть так и будет.

В кухню меж тем постепенно набились все, и мы болтали, игрались, прихлебывали горячительное. Часы в гостиной пробили шесть, и тут же, дуэтом с ними, запел домофон. Классическая немая сцена, взрыв воплей: «ГЕРЦОГ!» Толкаясь, как школьники на перемене, все ринулись к дверям. Я не осмелилась, хотя дорого дала бы за это право, и выбралась на крыльцо последней, когда остальные уже высыпали на лужайку перед домом.

В опустившейся на бухту Этрета темноте, в рыжем свете зажегшихся над помещьем фонарей, той же интуитивной тропой, что и я несколько часов назад, напрямую по траве, шел фион тьернан герцог Коннер Эган.

Я пожирала его глазами. Лица не разглядеть, высокую тощую фигуру скрывало длинное свободное пальто, полы плескали на поднявшемся к ночи ветру, узким штандартом параллельно земле плыл конец шарфа. Непокрытый голый череп ловил блики света. Руки Герцог держал в карманах, но на полпути к дому помахал нам. Мы замахали в ответ, не стовариваясь, как африканские дети — льву Бонифацию, и я чувствовала, как, бурля и закипая, поднималась в моих друзьях волна глубокой, вечной пылкой признательности, и нет в землянах ничего чище и счастливее этого чувства.

А еще через полминуты они все обступили его, и было еще одно большое молчаливое объятие, безбрежное и прекрасное, даже если в нем не участвовать. Но вот круг нехотя распался, и Герцог впервые взглянул на меня.

— Сулаэ фаэтар, меда Саша. — Я не раз слышала этот голос в телефонной трубке, но язык у меня заплелся, а слова разлетелись спугнутыми воробьями, стоило мне услышать эту формулу приветствия: я на нее не смела и надеяться. Сколько раз я мечтала симметрично ответить ему, а наяву неожиданно закашлялась, окончательно смутилась и подала руку дощечкой, чтобы хоть как-то поздороваться, пока не вернется дар речи. Я разглядывала его лицо, сверяя с тем, что о нем читала. Ирма не переврала ни одной черты. Самый блистательный некрасавец из мною виденных.

— Ну-ну, зачем уж так. — Герцог принял мою ладонь в свою, в темно-синей перчатке, развернул и поднес к губам. И его ладонь через перчатку, и губы показались

мне раскаленными. Чуть не отдернула руку, но импульс успел проскочить, и Герцог выпрямился, улыбаясь.

— Сулаэ фаэтар, медар Герцог.

— Так-то лучше.

Насколько сильно веселились остальные, наблюдая эту сцену, ускользнуло от меня почти нацело, но, уверена, они даже успели не сходя с места придумать инсайдерский анекдот на заданную тему — со мной в главной роли. Молча, разумеется.

Мы вернулись в дом, гомоня и резвясь. Герцог скинул пальто и шарф, под пальто оказались водолазка и элегантные полосатые брюки. Свет гирлянд, окропив самоцветными брызгами облачение Герцога, сделал его человеческой звездной картой: гардероб медара наставника являл все оттенки синего. И только тут я обратила внимание: все до единого собравшиеся были облачены так или иначе в цвета неба — всех времен суток. Мои черный с оранжевым в этом окружении внезапно показались до неприличия неуместными, а я сама — посторонней. Опять.

— Бросьте, меда. Меды, медары, переодеваемся. — Я не успела возразить, как команда была исполнена: через несколько минут гостиная пестрела всеми цветами радуги. Но Герцог остался в чем был.

— Простите старика, Саша, мне так удобнее.

Он еще извиняется!

— Зато вам теперь не кажется, что вы — посторонняя. До полуночи меж тем остается совсем мало времени, а нам еще надо подготовиться. Где уже Локира и наше юное аутичное дарование?

— Ждем, Герцог, медар, с минуты на минуту, — подмигнул Мелн.

Герцог потер руки:

— Ну прекрасно. Не вешайте носа, Деррис. Сегодня будут чудеса, верно?

У Дерриса и правда было сложно с лицом:

— Да, медар Герцог, конечно.

— Итак, за дело.

И все, будто давно обо всем договорились, дружно двинулись к лестнице на второй этаж. Я тоже засобира-лась, но Герцог обернулся:

— А вы пока отдохайте, Саша. Считайте, что актеры удалились на генеральную репетицию. Нам надо... на-строить оркестр. — И горячий натопленный воздух до-нес до меня мягкую, еле уловимую волну, шевельнув-шую волосы у меня надо лбом. — Все хорошо. Вам здесь рады.

И в гостиной стало тихо.

У Времени свой модельер. Бог-кутюрье. Время — неисправимый модник. Вселенная — его гардеробная. Люди — крошечные плюшевые звери, только живые и наделенные сознанием, Время рассовывает их по бес-численным рукавам, цепляет на каждый из миллиардов лацканов своих пиджаков и на тульи миллионов своих шляп. Мы лазаем в складках его мантий и плащей, на-ходим друг друга за обшлагами и голенищами. Есть у Времени и потайные карманы, есть и бреши в под-кладке, и мы иногда проваливаемся туда — и вдруг ока-зываемся вне планов и графиков, не способные сами выбраться и карабкаться дальше по рюшам и отороч-кам. Мы сидим в теплой бархатной мгле, пахнущей чем угодно от гари до карри, и *самое время*, кажется, фанта-зировать, грезить. И думать. У меня часовой карман это-го *самого времени*, думай не хочу. Но не хочу же! Не по-лучается. Хватает только на то, чтобы доползти до кухни, уворовать бутерброд и пачку сахарных галет, налить себе еще горячего чаю, вернуться в кресло и млеть в предвку-шении ночи, и провожать тонущий в пучине вечера год, и отчаянно отбрыкиваться от мысли, что завтра неиз-бежно наступит.

А в начале восьмого ворота — с моей помощью — снова впустили гостей. Точнее, двух гостей. Но их я встречала в одиночестве. Сверху не доносилось ни звука.

Локира вошла первой, я ожидала ее в дверях — она оказалась сухонькой пожилой феей с неожиданно юной кожей и девичьим блеском в светло-зеленых глазах, с гладкой, в пояс, сверкающей гривой цвета старого серебра. А следом за ней всплыла Ирма. За прошедшие полгода от Ирмы осталось три четверти и так-то невеликого веса, но тугой кокон невыразимой силы и какой-то яростной радости неслышно пульсировал вокруг этой человеческой иглы. Как смерть Кощеева в яйце. Локира молча кивнула мне, будто мы вчера расстались, и сразу, не снимая короткого пальтишка, прошла в кухню, предоставив нас с Ирмой друг другу. Я лихорадочно сообщала, с чего начать разговор.

— Здравствуйте, Саша. Идите-ка сюда скорей. — Ирма сама неожиданно широко шагнула ко мне, и этот ее кокон сомкнулся за моей спиной. Меня с плеском омыло странным вибрирующим электричеством, я слышала, как в грудь негромко, но настойчиво постучало Ирмино сердце.

— Все хорошо? Правда? — Мне хотелось, чтобы она меня за что-нибудь простила.

— Все прекрасно, правда.

Мы очнулись, скорее почувствовав, нежели увидев, что Локира вернулась, неся сразу три здоровенных кружки в руках — так, будто это были три наперстка.

— Прозит, меды! Потом дообнимаетесь. — И она протянула нам выпить. — Ну как, похожа я на то, что там Ирма про меня понаписала? — Голос, какой голос!

— Нет, меда Локира. Вы гораздо неописуемое. Я и не пыталась соответствовать, — ответила вместо меня Ирма. — За это и пьем.

Мы чокнулись и отпили. В кружках оказался мятный чай с медом. «Бражничать будем позже», — услышала я где-то между ушами, и голос был не мой. Локирин. Я чуть не подпрыгнула на месте. Глянула на Локиру. Та залилась счастливым смехом: «Добро пожаловать домой, меда».

— Что это было, меда Локира?

«Молчите и говорите».

— Я не умею.

«Меда Локира, ну что вы в самом деле. Не мучайте Сашу».

И это я услышала! После первой точки я обернулась к Ирме, но та и до второй договорила, не открывая рта.

«Вы что творите?!»

«Надо спешно учить вас хотя бы базовым навыкам, иначе эта ночь не станет тем, чего вы от нее ждете, Саша».

Мне уверенно показалось, что я сейчас свихнусь.

«Без паники. От нее только хуже. Просто постарайтесь не разговаривать. Слушайте. Смотрите в глаза собеседнику. Доверяйте. Открывайтесь. Увидите, что будет происходить. Прием?»

«Прием!!!»

«Не шумите так. Думайте шепотом, как будто выдыхаете через зажатую гортань. Пробуйте».

Все это они будто говорили хором, в оба мои уха — одна слева, другая справа.

«Что говорить?»

«Что хотите. Только несложное. И поменьше вопросов. Расскажите, как ваши дела, для начала».

И я рассказала им про издательство. А потом — немало — про Федора. И про катавасию с билетами. Получалось медленно и неуклюже, все больше картинками, словарь, когда всё — молча, истощался настолько, что я впервые ощущала себя дислексичкой или гукающим

младенцем. Но Ирма показала мне картинку из своей же книги, когда она сама впервые пыталась общаться без устных слов, и это меня сильно взбодрило. Но хватило меня ненадолго: через полчаса я почувствовала себя так, будто всю ночь напролет редактировала очень плохой перевод.

— Все, пока достаточно. Очень, очень толковая вы, Саша, поверьте. — И Локира погладила меня по голове, как маленькую. Сверху послышались голоса, и по лестнице ссыпалась вся компания. Деррис шел последним, и стоило ему увидеть, кто пришел, пока они там «репетировали», как он кубарем скатился вниз, растолкав остальных, и сгреб Ирму в охапку: «Пожалуйста, не оставляй меня так больше», — заскворчало в воздухе. В ответ — тишина, Ирма целовала его вслепую, куда придется, и гладила по спине. Герцог обменялся с Локирой короткими многозначительными взглядами.

Деррис наконец выпустил Ирму, хотя кто кого выпустил — большой вопрос: пространство вокруг Ирмы теперь почти зримо светилось и электричества в нем было едва ли не больше, чем в физической фигуре Дерриса. Все смогли наконец поздороваться, как здесь принято — лучшими в мире объятиями. Локиру многие не видели несколько лет, но она словно сморгнула эти годы — и для себя, и для остальных.

— Ну что, все в сборе? — Герцог остался стоять на лестнице, словно на трибуне.

— Да! — ответили мы нестройным хором.

— Тогда — сорок минут на последние приготовления. Съешьте мигом все бутерброды. Встречаемся здесь... — он взглянул на часы, — ...ровно в десять.

Все растащили настряпанное и исчезли наверху. Деррис уволок Ирму с собой, меня отвела за руку к себе в комнату Амана — по каким-то их внутренним законам

расселения меня прописали к ней. Закрыв за нами дверь, Амана оглядела меня с головы до пят, подошла к моему рюкзаку, порылась в нем, извлекла прихваченное термобелье и толстые шерстяные носки, а из своей сумки добыла необъятную, колючую парку с капюшоном — домашней вязки, с иероглифом на животе. Синюю, понятно. Подчиняясь бездумной стыдливости, я отвернулась, чтобы стянуть свитер и заменить его на «терму», в спину мне прилетел тихий смешок, но тут в недрах рюкзака загомонил телефон, и я, разом заплутав в рукавах, развернулась и полезла доставать аппарат. Амана откровенно разглядывала меня и при этом изрядно веселилась. Звонил Федор.

— Ты как доехала? Чего не пишешь?

— Прости, пожалуйста, забегалась. Я бы тебе позвонила ближе к полуночи.

— Ну хорошо. Тебя встретили? Все нормально? Веселитесь?

— Собираемся на прогулку, судя по всему.

— Одевайся там, холодно ж, небось. У нас тут метель.

— Тут без снега. Но свежо, да. — Не снятый свитер болтался у меня на шее. Амана, склонив голову на бок, слушала мою тарабарщину и улыбалась.

— Ты, если потерялась во времени, имей в виду: в Москве без пятнадцати двенадцать.

Я спохватилась:

— С наступающим, дядь Федор.

— Спасибо.

— Ты хоть не один?

— Спасибо что спросила. — Хмыкает. — Нет, не один.

И тоже собираюсь гулять. Антон позвал разливать проходим глинтвейн. — Антоша любил играть новогодней ночью в доброго волшебника; за Федором, однако, подобных гуманитарных замашек не числилось. Но я

решила не уточнять, что такое вдруг произошло у него в голове.

— Ну отлично тогда! Молодцы! Не забудь поглядеть на подарок. Обнимаю, Федор, осторожнее там... — Я осеклась, потому что финал этой реплики подразумевался вполне программным, но отчего-то его никак было не выпихнуть наружу. Федор подождал немного и сказал за меня:

— В общем, я скучаю.

— Извини, что вот так вышло. Пожалуйста. — Последнее — уже шепотом.

— Андрюха меня предупреждал, что с тобой все не как у людей. — Вроде шутит. Хорошо все, значит.

— Ну да, точно.

— Иди уже давай. С Новым Годом, дурында.

— Сам балда. С Новым Годом!

Отбой.

А в телефоне уже — пачка сообщений: в Москве следующий год уже всюю наступал. Экипировавшись, я по инерции сунула телефон в карман штанов, но Амана, заметив это мое нежелание терять связь с внешним миром, решительно извлекла аппарат и выпустила его, как рыбу в аквариум, обратно в рюкзак. Глянула на меня и помотала головой: с собой не бери. Воля ваша, господа заговорщики.

Важные резные стрелки на часах в гостинной еще не успели встать в назначенную позу десяти, когда мы все уже сидели внизу, как школьники перед экскурсией, и ждали стартового флажка. На всех была более-менее спортивная экипировка. Поскольку я понятия не имела, что они задумали, волноваться и фантазировать уже физически не могла, а остальные были в меру возбуждены, но без излишней торжественности, мы трепались об уходящем годе, как ни в чем не бывало. Я заметила

несколько скатанных в плотные трубки гимнастических ковриков, а прямо у входа — три старинных масляных фонаря. Ровно в десять входная дверь открылась и показала нам Герцога — он, оказалось, уже стоял на крыльце, одетый в плотную короткую куртку со множеством карманов и в лыжные штаны.

Дальнейшее происходило в полном молчании. Все поднялись, разобрали приготовленное снаряжение и двинулись гурьбой за Герцогом. Мы проделали обратный путь в центр города, протолкались через густую, мощно подогретую предновогодним ажиотажем и горячим вином толпу празднующих, свернули налево и начали взбираться по пологому травянистому склону на скалы. Я хорошо знала эту дорогу: не раз и не два мы гуляли тут с той моей компанией, которая с *нормальными* именами. Пора, видимо, сказать, что эту классификацию придумал Федор, после того как я впервые показала ему свой перевод и рассказала об этих людях, что могла. Федор не впечатлился, назвал Ирмин текст «восторженной обсессивной антинаучной прозой», сказал, что нас всех надо спасти из оккультного тумана, и ехидно поинтересовался, не продал ли кто из героев квартиру в пользу Герцога. Чуть не поссорились тогда, но как-то утрясли: Федору хватало чувства юмора и общего пофигизма, чтобы говорить такие вещи не всерьез. Я же, назло ему, распечатала на принтере рисунок из Ирминых дневников, где она попыталась изобразить Герцога, и прилепила в кухне над раковиной — в знак демонстративного театрального фанатизма. Федор похмыкал, но портрет висит себе там же до сих пор.

Хоть и знакомая была дорога, но бродить по ней ночью мне приходилось впервые. Проекторная подсветка преобразила многометровые алебастровые скальные стенки в патрицианский зал. Амфитеатр бухты замер

на одном басовом органном аккорде — чуть приоткрыв внутренние уши, можно было даже попытаться и его услышать. Ветер стих так же внезапно, как и проснулся несколько часов назад, океан бодрствовал, но в абсолютном штиле. Чайки спали. Мы поднимались все выше, гул города мелел и истончался, и минут через двадцать неспешного хода нас забрала в свое нутро практически полная тишина. На гребне первой скалы мы остановились, и Мелн зажег фонари. Дальше двигались гуськом, Герцог освещал дорогу, идя в голове колонны, Богран — где-то посередине, Деррис — замыкающим.

Между первой и второй скалой разлог почти не ощущался, и я невозбранно предавалась путаным, но приятным мыслям. А вот между второй и третьей земля сложилась ладони лодочкой, и пришлось отвлечься от грез и начать смотреть под ноги. Мы ссыпались на дно, а потом опять взобрались наверх. Дальше тропа начала петлять по ежевичнику, догола ошипанному туристами и птицами, по курткам зашелестели колючие ветки. Движение сильно замедлилось: приходилось ступать осторожно, чтобы не налететь на впереди идущего или что-нибудь себе не сломать. Но в своих спутниках я не заметила никакой суеты: у нас либо навалом времени до неведомого мне назначенного, либо важно было просто дойти — неважно, когда.

На бетонные плиты, ведущие вниз, на дикий пляж, мы сошли примерно в одиннадцать. Дно в этой бухте было устлано мелкой трескучей галькой. Компания заметно прибавила шаг, свет фонарей запрыгал по камешкам. Мы приближались к скале со сквозной промоиной в виде замочной скважины, и меня затопляло отстраненное любопытство. Куда и зачем мы хотим прийти? Как ночью, только при свете наших коптилок, без веревок или иного оборудования, мы собираемся

штурмовать мокрую, заросшую осклизлой зеленой накипью стенку, если в наших планах — попасть зачем-нибудь в соседнюю бухту? Интересно, кому из компании, исключая меня, все это так же неведомо? И вот еще что: они ведь, небось, всю дорогу обсуждали, что, куда и зачем, но на что я гожусь как безмолвный собеседник? Да ни на что, понятно.

Стенка под «замочной скважиной» встретила нас сонным недоумением. Герцог приблизился и бегло ошупал поверхность, некоторое время задумчиво смотрел в океан, а потом жестом подозвал Бограна. Остальные стояли и спокойно ждали дальнейших распоряжений. Герцог с Бограном покопались в неглубокой трещине и вытянули на свет разлохмаченную синтетическую веревку с большой палец толщиной, уходящую куда-то наверх. Приглядевшись, я увидела, что на много бугрящихся узлов она привязана к уставшему от соли металлическому кольцу, вбитому в скалу и заляпанному для прочности цементом в месте крепления. До кольца было метра четыре, не меньше. Нижний конец веревки болтался где-то на уровне моего лица.

Герцог кивнул, и Богран повис на тросе, поджав ноги. Наверху узлы закрипели от трения о шершавую ржавчину, но в остальном все вроде было в порядке. Герцог, как в детской считалке, ткнул указательным пальцем поочередно в Ирму, меня, Локиру, Аману, Алис и Йамиру. Сначала — женщины. Ирма взялась за конец веревки, Богран подхватил ее за бедра, приподнял, Ирма уперлась ногами в стену и, рывками выбирая трос, забралась наверх, в два рывка залезла на плоскую поверхность внутри промоины, встала в полный рост и оттуда показала нам «окей».

Я не успела испугаться, а могучие ручищи Бограна мигом проделали ту же манипуляцию со мной, — и вот я уже рядом с Ирмой, и мы, как заправские альпинисты,

даем друг другу «пять». Через несколько минут всех дам перекидали наверх. Далее — Дерейн, Мелн, Деррис и Герцог. Следом подняли фонари. Последним из темноты к свету взобрался сам Богран, и, когда его седина сверкнула в дымном свете и весь он выбрался, пачкая живот мелом, к нам, руки у него слегка тряслись от напряжения.

Скала, внутри которой мы теперь находились, была метров двадцать в толщину. Под ногами было сухо, но в продольной трещине, глубоко внизу, шипела вода. Мы прошли насквозь на другую сторону, и там нас ждала длинная и довольно узкая полка по-над бухтой, и пляж здесь лежал заметно ниже, чем позади: до белеющих внизу валунов было метров десять, не меньше. В скальной стенке вдоль полки на равном расстоянии чернели петли, похожие на ту, которая помогла нам сюда забраться. Первым, держась за эти условные поручни, двинулся Герцог, а дальше мы все выстроились в цепочку и очень медленно начали спускаться к пляжу. И только прыгнув на плоские белесые камни, каждый — со стол величиной, я глянула на часы. Без четверти полночь.

Все, что происходило дальше, обложено в моей голове ватой, как спящий елочный шарик. Герцог побродил по пляжу и выбрал место, где каменные плиты смыкались в одну довольно обширную площадку, на ней молниеносно раскатали коврики, фион Коннер пальцем описал в воздухе круг, и все немедленно расселись, как было молча велено. Я не поняла, распространяется на меня приглашение или нет, но Герцог указал мне место прямо перед ним, внутри круга, спиной к нему и лицом к Атлантике. Я повиновалась, словно впад в легкий полупрозрачный транс. Фонари погасили, и наступила рябая темнота безлунной, но

очень звездной ночи. В затылок мне мерно дышал Герцог. И вот он заговорил, хрипло и медленно:

— Слушайте внимательно. Говорю специально для нашей внешней гостии. Все, кроме Саши, знают, что надо делать. Новогодняя полночь лучше любой другой только потому, что очень много людей думают про нее так. Иначе для подобных экспериментов годится любое время суток. Меда Саша, — обратился он к моему затылку, — вы сидите там, где сидите, по одной простой причине: как бы ни старались барышни оперативно натаскать вас общаться без слов, вам все-таки пока рано. Вам нужно будет делать только одно: ничего не делать. И ничего не бояться. И помалкивать. Договорились?

Очень захотелось сказать что-нибудь короткое, но ритуальное, желательно — на дерри. Но и в сознании у меня тоже, видимо, погасили весь свет, и ничего, кроме собственного бешеного пульса, я уже не осознавала. Поэтому я просто кивнула, рассчитывая, что Герцогу достаточно будет жеста.

— Прекрасно.

В круге возникло небольшое шевеление: все выпростили руки, постыгивали перчатки и варежки и приложили ладони к коврикам — так, чтобы накрыть ладонь рядом сидящего. Круг замкнулся. Со мной внутри. «Не закрывай глаза», — просвистело у меня от уха к уху, а дальше — полное молчание.

Я смотрела в почти невидимый океан перед собой, между головами Локиры и Дерриса. Понятия не имея, что происходит и происходит ли что-нибудь, я ничего не ждала, никуда не торопилась, ничего не вспоминала, не ерзала, не глазела на окружавших меня людей, — и давалось это легко и просто. Взгляд ли Эгана мне в спину, сюрреальность времени и места ли успокоили и очистили мне сознание — не знаю. И не могу сказать, в какой именно момент в этом лишенном временных

координат пространстве, возникла — сначала смутно и неотчетливо, а затем все ярче и яснее, где-то в промежутке между неосязаемой в темноте линией горизонта и моими зрачками — трехмерная неяркая картинка. Я увидела, как вокруг своей оси медленно вращается гигантская подзорная труба, будто невидимая рука исполинского бога развлекает меня трюками калейдоскопических узоров. Труба покоилась в воздухе вдоль линии прибоя, и мне привиделись полотняные ленты цвета ночи, обвивавшие колена этой диковины. Стоило мне как следует рассмотреть медные кольца, винты и резьбы трубы, как та неторопливо развернулась в горизонтальной плоскости на прямой угол и теперь упокоилась широким раструбом ко мне, а окуляром — к проглоченному тьмой горизонту. И замерла. Я почувствовала — никак не зрением, — что перед моим взором плотно и тягуче вращается какое-то горячее густое вещество, и это движение порождало еле слышное гудение, как будто через небольшой стеклянный бублик под давлением пропускают подогретый глицерин. Реальность — пляж, прибой в полуночной мгле, замершие черные силуэты моих друзей — не фокусировалась, плыла и рябила, но не могу сказать, что я всерьез пыталась всматриваться: видение подзорной трубы и ее эволюций поглощало мое внимание целиком, как в детстве — новая игрушка. Стоило мне полностью сосредоточиться на этом чудесном телескопе, как он едва приметно задрожал и... внезапно схлопнулся, как шапокляк, стал, неописуемым образом, не толще листа бумаги, оставаясь при этом — необъяснимо — собою. И со следующим моим заполюшным вдохом он, не менее внезапно, стремительно приблизился и оказался в нескольких сантиметрах от моего лица — лупой в кунсткамере, полупрозрачным иллюминатором. Я зачарованно впиалась глазами в изображение, и оно ожило. Сразу не

разобрав, что происходит, я сморгнула — и ахнула: перед моим взором кипела вся моя жизнь, еще до рождения, сквозь все мои без малого сорок лет и вперед, до самой смерти — и после нее. Вне времени, вне пространства, в плоскости с нулевой толщиной, происходящая единомоментно, лишенное линейной временной развертки, схлопнутое до плоскости с нулевой толщиной, единомоментно происходящее, вечная в каждой секунде, которых там не было ни одной. Там, в этой судьбе, прописанной до всех деталей всех вариантов, ничего не происходило, потому что не было ни «начала», ни «потом», нуль-каузальность ставила на-попа привычный календарный вектор, материя жизни взмывала, как истребитель, без разгона вверх, перпендикулярно, но и в этом взлете не было, не было «ключа-на-старт»: старт был взлетом был посадкой. Я видела себя пятилеткой в замурзанной футболке, а поверх — себя в школьной форме, себя вчера в Париже, себя три года назад на улице Наметкина, на велике, у которого слетела цепь, себя два года спустя в какой-то пыльной южной деревне, себя двадцать лет спустя на юру под сильным дождем, себя лежащую в постели в нерегулярном кружеве редеющих седых прядей, стальную урну с прахом в чьих-то руках, и поверх — себя на ступенях Университета, смеющейся, с бутылкой чего-то в руках, и поверх — себя же, с закрытыми глазами, в чьих-то объятиях, и еще раз — в море цветов свое замершее, с закрытыми глазами, отчего-то задумчивое лицо. Вокруг затейливой виньеткой завихрялись люди, машины, самолеты и поезда, дома и улицы, движение пешком и на трамвае, слезы, смех, сон, ссоры, примирения, смятения, мгновения полного покоя и полного отчаяния, ожидания и вспоминания, встречи и прощания, в последний раз пожатые руки, в первый раз поцелованные губы, одежды и маски, лукавства и откровения...

Время пожрало себя без остатка. От уробороса осталась кипящая всем тварным во вселенной дырка. И в этой точке, где я все это смогла втиснуть в тесный дощатый короб собственного сознания, все прекратилось так же внезапно, как и началось. С турбинным шумом, слышимым только мне одной, запустилось время. Еще сколько-то минут все сидели неподвижно. А потом раздался обший неровный беззвучный выдох: «Сулаэ фаэтар». И голос Герцога из-за моей спины:

— Ну что же, а вот теперь с Новым Годом, меда и медары! Вы, Саша, молодцом. Можете пересесть, если хотите. Кто желает глоток порто? Мелн, сходите к тайнику, притащите запасы. И дайте огня, Дерейн, дело сделано, можем забулдыжничать. Даешь потеху!

До рассвета мы пили портвейн, ели обязательный в этих краях сыр, гоняли в салки по пляжу, болтали, смеялись, чудили. Мелн с Деррисом продемонстрировали молодецкую удаль и влезли в ледяную воду — не искупаться, так хоть обмакнуться. Остальным тоже оказалось не слабо, и один за другим мои компаньоны стаскивали с себя многослойную шерстяную и нейлоновую амуницию и крещались в изумленном океане. А когда под утро пришла высокая вода и поднялся ветер, забрались в скважину и стали играть в игру, которую на ходу изобрел придумщик Деррис, — «Снимаем кино про тебя»: все вместе мы сочиняли сценарии фильмов для каждого из присутствовавших, с ним же в главной роли. Придумывать истории про и для любимых людей — что может быть увлекательнее? Я без труда отбросила все вопросы о своем видении и о том, откуда оно взялось. Оставила на потом. На когда-нибудь.

А к половине девятого, когда макушки скал заржавели от восходящего солнца, мое племя запело, как некогда пообещала мне в своих дневниках Ирма. А я сидела тихо, свернувшись калачиком в нагретой пачкучей

нише, и любила их, любила, любила. И без всяких мистерий, легко и неслышно, время плясало на месте, и не было в этом счастья, потому что счастье казалось падающей в пропасть головней, чадающей и не святящей со всем, — а было что-то несравненно большее, чему я до сих пор не знаю названия.

Одна из двух моих муз сообщает мне,
что история должна завершиться здесь,
и дальнейшее не имеет значения.

Всё так.

Но тогда придется сделать вид, что «долго и счастливо» все-таки имеет место.

Нет, не имеет.

Poco a poco da capo al fino.

Вскоре, без приключений добравшись над морем и по уснувшему городку домой, мы разбрелись смотреть сны, самые странные из возможных. В моем личном кинотеатре показывали высокий, влажный и темный узкий зал с неугадывающимся потолком, под сводами — шорох перепархивающих голубей, и меня, облаченную в одежды цвета ночи, в тесном кольце людей, чьих лиц я не могла разглядеть: они пели мне что-то, слов не разобрать, и я все хотела попросить их петь так, чтобы я могла понять, о чем эта песня, но, как это бывает во сне, язык не повиновался мне.

Утро натекло на меня холодной медленной лавой. Глаза не хотелось открывать совсем, потому что там, по ту сторону век, я чувствовала пыльное дыхание клятого этого «долго и счастливо», хотя, казалось бы, мы все еще вместе, мы все еще здесь, праздник не окончен, — но отчего-то уже было невыносимо скользко стоять в гомонливых, скорых водах *настоящего*. Шепот в ушах, до невыносимости похожий на голос Герцога,

говорил мне, что я сама ускоряю это движение, сама умерщвляю, но поделаться с этим ничего было нельзя. События прошедшей ночи уже стремительно подергивались пеплом, млечный свет утра, как прибывающая вода, подтапливал и размывал четкие угольные контуры, смягчал бритвенные края, зализывал трещины, усмирял тектонику. Чуть погода я услышала, как Амана встала, неслышно проскользила через всю комнату, и мой матрас просел едва-едва под ее невесомостью. И вот уже она гладит меня поверх одеяла, и скучная невидимая картинка, навязанная мне пробуждением, вытесняется ее безмолвной улыбкой. Я открываю глаза. Я хочу ответить. Надо, надо дальше. Жить дальше. «Дальше». Почти задумалась — и слово рассыпалось на буквы.

Часы в гостиной констатировали полдень. Дом все еще сопел и потягивался, в кухне возилась Алис, варя, видимо, уже далеко не первую порцию кофе, судя по запаху — с кардамоном. На крыльце, завернувшись в традиционный синий плед, сидела Йамира с длинейшим мундштуком в одной руке и кружкой горячего и парящего в новогоднем воздухе — в другой. Молча похлопала по деревянной накладке на ступеньках рядом. Я зашла к Алис за кофе, приняла от нее бессловесную же улыбку и чашку и присела с Йамирой. Та, по-прежнему не говоря ни слова, указала мне пальцем на дальнюю скамейку, почти нацело скрытую в терновых зарослях на краю приусадебного парка. Я проследила взглядом за ее рукой и увидела две головы — пепельную и черную. Деррис и Ирма. Хорошо.

В таком же полном, совершенно блаженном молчании меня, один за другим, встречало все мое племя, просыпаясь, выбираясь в гостиную и на лужайку перед домом. Никто никуда не собирался, не торопился, а пребывал, просто пребывал — так, как летом рядом

со мной покоилась Ирма. Привычная внутренняя егозливість, пробудившаяся было во мне, начала невесть как растворяться, вытесненная вот этим динамическим покоем людей, с которыми я за полсуток пережила больше, чем с некоторыми старинными друзьями за всю жизнь.

Разговаривать начали все и одновременно — когда вся честная компания, в том же молчаливом единении, выдвинулась обедать в город, добралась до ресторана на променаде и вдруг разом загомонила. Мы умяли по кастрюле мидий. Мы обсуждали, не сговариваясь, только «светскую» часть ночного приключения. Я изо всех сил старалась делать вид, что пережитое ночью и для меня — в порядке вещей, что я — такая же, как они, «своя». Сознание расслоилось на две несмешивающиеся части: одна жаждала обернуть в слова каждый жест, мысль, событие прошедших суток, которые я лишь по привычке продолжала называть как раньше, потому что, хоть труба и осталась мультиком-воспоминанием, убедить себя в существовании времени я не могла, хотя нельзя сказать, что силилась; другая же наслаждалась редкой свободой от каких бы то ни было формулировок. Один только раз я краем уха услышала, как Локира вполголоса спросила у Ирмы: «Теперь совсем все понятно, м-м?», — и увидела Ирмин довольный кивок. Герцог тоже уловил этот диалог и подмигнул. Мне.

А после, уже в густых сумерках, я отделилась вдруг от компании и ушла на пляж, легла прямо в куртке на гальку и попыталась самостоятельно вызвать образ подозрительной трубы. Но как ни пыталась, ничего, кроме неба, дышавшего мне соленой изморосью в лицо, не разглядела. Меж тем мое племя уже отправилось гурьбой к дому, и я возвращалась одна по темно-синему городу в янтарных брызгах огней, и он был мой, до последнего дома, и снова не стало никакого «после» — оно

пока все не наступало и не наступало, вопреки утренней унылой панике.

До глубокой ночи играли в «крокодила», горячась и хохоча, и я подарила все, что привезла, и получила подарки в ответ. А наутро Герцога и Локиры уже не было. Остальные разъехались днем, медлил только Богран. Он и пошел проводить меня к автобусу. Полчаса мы молча пили чай в кафе на площади перед мэрией, и я получила свою дозу лучшего в мире наркотика от своего уникального дилера: он смотрел на меня, и все вставало и вставало на свои места, и в этом неумолимом движении к правильности правильность уже состояла. Подзорная труба снова и снова схлопывалась — даже теперь, когда я могла ее себе только придумывать заново. И опять, в который раз, я не осмелилась ничего сказать Бограну напрямую. «До следующего раза терпит, ничего», — шепнул он, подсаживая меня в автобус.

Ирма вернулась к себе в мансарду. Деррис ушел с ней. Ключи от дома хозяину сдавала Йамира. Она же передала мне — с тридцатизначной ухмылкой — маленький запечатанный конверт. На конверте ничего не было написано, а внутри ощущался некий объемный сложный предмет, и я, не желая выказывать детского изумления при Йамире, спрятала его в рюкзак и распечатала только в самолете. В конверте оказался толстый витой шнурок с нанизанными одиннадцатью бусинами: десять рядом и одна, стиснутая меж двух узлов, — отдельно. На внутренней поверхности клапана расплывшимся фломастером было написано одно слово, которое я не сразу разобрала: «*Shaen*». Значение этого слова я знала только на дерри: так назывались самые непроизносимые и неназываемые, самые беспредельные отношения между мужчиной и женщиной. Наша «любовь» — бледная и бессмысленная тень деррийского «*shaen*». Никакой подписи, разумеется, я не обнаружила, а шнурок

повязала на запястье. В авиатреме мне время от времени казалось, что бусины мерцают, как новогодняя гирлянда, и по очереди греют мне пульс.

В Москве мороз и январский полый, бестолковый вакуум. Федор. Он — за мной в Домодедово, рейс — с опозданием в три с лишним часа, и Федор со невесть каким по счету стаканом кофе. Объятия, поцелуй в аморфный рот, пахнувший самолетной едой и жвачкой, из-за пазухи — маленький продолговатый футляр. В нем, на синем фиктивном бархате — заспанные наручные часы с двумя циферблатами, на одном — время московское, на втором — полночь. «Мне отчего-то показалось, что это имеет для тебя значение, — вдруг донесся до меня отчетливо Федоров голос, но ни одного слова он не произнес, — во втором циферблате нет батарейки».

В феврале я постаралась хоть как-то записать всю эту историю и даже дала ее почитать Даше, той самой, художнице, и Даша сама вдруг нарисовала, как увидела, лица тех, о ком я написала. Рисунки получились странными, портретного сходства ожидать было попросту глупо, но, когда она мне их показала, я долго разглядывала их, молча: мне вдруг подумалось, что, быть может, *на самом деле* выглядят все они именно такими, а зрение меня сильно подводило. Под большим впечатлением от этих картинок я послала их всем изображенным, в том числе и фиону Коннеру, — и не получила ни одного ответа.

В марте, сразу после равноденствия, пришли два письма, одно за другим — от Герцога и от Ирмы. Фион Эган сообщал — рассылкой по массе известных мне и не знакомых адресов, — что в ночь равноденствия Локира «стала нам ближе, чем когда бы то ни было»; а Ирма,

тоже рассылкой, поведала: для того, чтобы в книге не было ни одного «долго и счастливо», ее либо попросту не надо писать, либо одержать «фиалковую победу» над воображаемой неизбежностью — предусмотреть ее в самом начале, в каждом абзаце, растворить в тексте еще до наступления кульминации (Йамира в ответном письме удостоила только этот пассаж хоть какой-то реакции: «Да, правильно, кончим до наступления оргазма, друзья!»). И что она, Ирма, «отныне и навсегда», нашла идеальную формулу отношений с Деррисом — приезжать к нему, а не уезжать от него. Затейливая линия Ирминой судьбы все же совершила квантовое сальто. Ни я, ни Деррис не обманулись.

На письмо Герцога я не нашла, что ответить: я прекрасно понимала, что означает эта витиеватая деррийская фраза в его сообщении, а в новогоднюю ночь заметила на пальто у Локиры некрупную и почти незаметную под отложным воротником камеею с узнаваемым носатым профилем на ней. Я просто сидела и смотрела в развернутое на мониторе письмо и тщетно пыталась уговорить себя видеть вечно юную зеленоглазую пугливую красавицу, кружащуюся в вихре Локиры. Почти удалось, но изображение почему-то растеклось акварелью и закапало клавиатуру соленой водой. Соленая эта вода размыла одну застарелую нерешительность: я пообещала себе признание Бограну. Пока мы оба... тут.

В тот же вечер, в изумрудных лихорадочных сумерках, я позвонила Мелну. Он подключил в нашу телеконференцию Алис, потом Дерриса, Аману и Дерейна. Богран уже встал к Рассветной Песне и тоже оказался на линии. Не дозвонились только до Ирмы и Йамиры. Повиснув через тысячи километров в неисповедимых тенетах телефонии, мы замолчали. Я слушала, как они дышат, каждый в свою трубку, и время существовало лишь как субстанция, отделяющая выдох Аمانы от

вдоха Дерейна, вдох Дерриса от выдоха Алис. Всхлип Алис от полной тишины Бограна.

К письму Ирмы я вернулась несколько дней спустя и, назовившись с формулировками, отправила ей три вопроса: раз — для одной ли меня Герцог устроил демонстрацию фокуса с природой времени? два — в одиночку ли Герцог провернул этот фокус? три — удалось ли Ирме остановить события за проведенное в уединении время? Примерно через неделю прилетел ответ: тройное «нет», без комментариев, — а в почтовом ящике в подъезде Федор обнаружил открытку с исключительно московскими штемпелями. На лицевой стороне было пусто, если не считать крошечной синей розы в правом нижнем углу, а на тыльной крупно, Ирминым почерком, надпись на дерри: «Фаэтар с'ат», — и постскрипту: «Даша в игре вместо Локиры. Можете навестить».

— Что это значит? Не про Дашу. Эти ваши сектантские игры меня не интересуют.

— Если очень приблизительно — *«всегда есть»*. Но я, Федор, плохой переводчик с дерри.

Меня же куда острее занимала именно ремарка про Дашу. Позвонила. Абонент временно не обслуживался. Абонент, который никогда, в отличие от меня, не рвался в замок, не знал и не стремился узнать Герцога. Абонент просто сказал в воздух, безадресно, без цели, кое-что получше, чем слова, чем словами. И вот она уже в игре и раздает контрамарки таким, как я, которые *всегда хотели*, — но не умеют апельсин без рук.

Голова закружилась. Сощурившись на закатное солнце, я грезила, как бесшумно и плавно поворачивается вокруг вертикальной оси и постепенно складывается у меня перед глазами гигантская подзорная труба. Земля уходила из-под ног и прекращала иметь значение. Амана, позвони и сыграй мне на скрипке, пожалуйста. Иначе я совсем потеряюсь.

В апреле пришла открытка, идентичная Ирминой, — пустая на лицевой стороне, за вычетом синей розы. «Навестите Дашу. Богран проводит. С.ф. К. Э.». Без обратного адреса.

Ирма Трор, Саша Збарская

Вас пригласили.

Роман с послесловием

Редактор: Максим Немцов
Компьютерная верстка: *Lunteg*
Подписано в печать 22.08.2011
Формат 140×200 мм
Заказ №

Отпечатано в типографии «Вишневый пирог»
115114, Москва, 2-й Кожевнический пер.,
д. 12, стр. 5, подъезд 10

© ДАША ГАЙДАН



Ирма Троп

© СЕРГЕЙ ГРАБОВСКИЙ



Саша Збарская

Внутреннее устройство романа «Вас пригласили» – вроде матрёшки: любое миропонимание в нём объято другим, много более точным. Важно только помнить, что читатель не вертит эту метафизическую матрёшку в скучающих руках, а находится в самой её глубине на правах наименьшей из куколок с надеждой вылупиться из бесконечных скорлупок. Добро пожаловать, или Удачного перерождения!

Александр Гаврилов, основатель Института книги

Конечно же, с приветом Хайнлайну, «Пятница, которая убивает» (ну и "Stranger...", да). Отличный приём, когда собственно «доктрина» подаётся в жанре фэнтези – у читателя не включается сопротивление, он читает, как сказку, и принимает идеи с открытым сердцем.

А потом, когда начинается «реальная часть», никаких вопросов и требований что-то доказать и уточнить не возникает, все уже поверили.

Легко допустить, что всё это правда. Здесь даже не нужно делать маленьких допущений (что «магия существует», например) и как-либо насиловать логику – очевидно, что чудо разлито в воздухе и вполне доступно из нашего мира. И, да, хочется к ним.

Марта Кетро, писатель